АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ГОД ИЗДАНИЯ
VII

3

~~МАЙ—~~ИЮНЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА—1958

СОДЕРЖАНИЕ

В. В. Виноградов (Москва). Лингвистические основы научной критики текста (окончание) 3
И. И. Мещанинов (Ленинград). Синтаксические группы 24

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Материалы к IV Международному съезду славистов 38
С. Д. Кацнельсон (Ленинград). К фонологической интерпретации протоиндоевропейской звуковой системы 46

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Из переписки А. А. Шахматова с Ф. Ф. Фортунатовым 60

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

Л. В. Копецкий (Прага). Двуязычный словарь славянских языков (На материалах русско-чешского и чешско-русского словарей) 76
Г. Конечна (Варшава). Ассимиляция и диссимиляция 90
М. Вей (Сен-Клу). К этимологии древнерусского *Стрибогъ* 96
Е. П. Лебедева (Ленинград). Лингвистический анализ родовых названий маньчжуров 100

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Р. Р. Гельгардт (Пермь). Некоторые вопросы теории и практики изучения языка и стиля писателей 110
В. М. Солнцев (Москва). Новый китайский филологический журнал . . 120
В. М. Иллич-Свитыч (Москва). Венский славистический ежегодник 122

Рецензии

А. В. Федоров (Ленинград). *А. И. Ефимов*. Стилистика художественной речи 126
Т. Н. Молошная (Москва). *J. B. Carroll*. The study of language. A survey of linguistics and related disciplines in America 130
Т. М. Николаева (Москва). *K. Baldinger*. Die Semasiologie. Versuch eines Überblicks 132
Л. А. Новак (Бельцы) и Р. Г. Пиотровский (Кишинев). *H. H. Josselson*. The Russian word count and frequency analysis of grammatical categories of standard literary Russian 133

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

В. В. Иванов (Москва). Комитет по прикладной лингвистике 136
Лингвистическая работа на местах 138
П. Дале (Рига). Обсуждение макета Толкового словаря современного латышского литературного языка 144
М. А. Бородина (Ленинград). Об Институте романского языкознания в Лионе 145
Хроникальные заметки 146

Книги, журналы и брошюры, поступившие в редакцию 151

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1958

В. В. ВИНОГРАДОВ

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАУЧНОЙ КРИТИКИ ТЕКСТА *

IV

Мысль о необходимости развития и укрепления такой отрасли филологии, которая помогала бы организации правильных поисков автора при изучении анонимных и псевдонимных текстов, неоднократно возникала у многих исследователей русской литературы и публицистики XIX в. Некоторые из них, делясь опытом своей работы в этой области, стремились самостоятельно построить на основе собственной практики теоретические обобщения. Так, Ф. И. Витязев, который установил авторство П. Л. Лаврова по отношению к анонимной статье «Письмо провинциала о задачах современной критики», напечатанной в «Отечественных записках» (№ 3, 1868, стр. 123—142), пишет, исходя из этого опыта, этюд «по теории и практике эвристики», «по методологии литературной эвристики»[1].

Ф. И. Витязев предлагает присвоить филологической дисциплине, занимающейся вопросами подлинности и подложности текста, наименование «литературная эвристика». Он считает ее областью литературоведения, в наши дни приобретающей особо актуальный характер. «Ведь, не надо забывать, что советская литература получила в наследство от дореволюционного периода сотни тысяч анонимных статей, заметок и рецензий, авторы которых до сих пор еще не раскрыты. Изучение произведений таких крупнейших писателей, как М. Е. Салтыков, Г. З. Елисеев, В. В. Берви-Флеровский, Н. К. Михайловский, Г. В. Плеханов, и целого ряда других совершенно не мыслимо без знания основных методов литературной эвристики»[2].

В соответствии с давними традициями критики текста Ф. И. Витязев различает среди средств литературной эвристики формальный и внутренний анализ. К области формального анализа он относит язык и стиль произведения, характер заглавия его и псевдонимной подписи (если она есть). С формальным анализом почему-то связывается также изучение автобиографических замечаний, имеющихся в тексте произведения, и редакционных примечаний к нему (если такие оказываются налицо). «Внутренний анализ или анализ по существу,— по словам Ф. И. Витязева,— имеет целью обследование самого содержания литературного произведения. Здесь обычно применяется метод сравнения идей, и вопрос об авторстве решается на основании их полного совпадения или близкого сходства. При применении этого метода надо

* Начало статьи см.: ВЯ, 1958, № 2.

[1] Ф. Витязев, Анонимная статья «О задачах современной критики» как материал по методологии литературной эвристики [вступит. статья и примеч. к публикации: «П. Л. Лавров, О задачах современной критики. (Письмо провинциала)»], «Звенья», VI, М.— Л., 1936, стр. 749 и сл.

[2] Там же, стр. 749.

брать, как правило, наиболее основные, характерные и оригинальные идеи какого-либо автора и с их помощью производить анализ анонимной статьи, т. е., другими словами, идти от известных и вполне проверенных уже работ к неизвестному» [1].

Однако самые принципы идеологического анализа и его, так сказать, техника, направленная на раскрытие образа автора, Ф. И. Витязевым не определяются и не описываются. Между тем собственные наблюдения Ф. И. Витязева над двумя «оригинальными идеями» Лаврова [а) патетизм и б) литературная адвокатура], наведшие его на предположение о принадлежности статьи «О задачах литературной критики» П. Л. Лаврову, возбуждают целый ряд принципиальных вопросов эвристики. Прежде всего возникает вопрос, в какой мере убедительно и доказательно для эвристики абстрактное и схематическое сопоставление сходных или более или менее однородных «идей», но воплощенных в далекие или стилистически разнотипные словесные формы. Не следует ли в таких случаях придавать больше всего значения самим речевым способам выражения идей, словесным, фразеологическим формам их воплощения? Используя общий литературный язык, его стили для художественного, научного или публицистического творчества, писатель вырабатывает свой индивидуальный стиль с присущими ему устойчивыми приемами фразеологического оформления тех или иных мыслей, с специфической, так или иначе индивидуализированной системой образов, с более или менее последовательным употреблением тех или иных конструктивных принципов литературного синтаксиса, с определенными приемами отбора лексики и терминологии. В этом отношении внутренний анализ Ф. И. Витязева явно недостаточен и с методологической точки зрения мало удовлетворителен, хотя приводимые им сопоставления и цитаты из сочинений П. Л. Лаврова в высшей степени показательны. Вот иллюстрации.

В качестве одной из основных идей Лаврова Ф. И. Витязев выделяет мысль о «патетическом действии художественных произведений». «Это заветная и любимая мысль Лаврова, которая красной нитью проходит через все его работы. Для Лаврова,— говорит Ф. И. Витязев,— не существует ни эстетики, ни искусства без патетического воздействия их на человека»[2]. Эта мысль находит в разных сочинениях П. Л. Лаврова совершенно однородные, совпадающие формы выражения. Например, в статье «Наука психических явлений и их философия» он пишет:«„ ...художественное произведение имеет в виду область эффектов: оно создается под влиянием патетического настроения и не будет художественным, если не произведет патетического действия“ („Отеч. зап.“, 1871, № 3, стр. 81—82)»[3]. Та же терминология и та же фразеология характерна для статьи «О задачах современной критики» (стр. 125): «„Надо быть слепым и глухим в истории..., чтобы не заметить, что патетическое действие художественных произведений зависит от требований жизни...“ „Критика..., которая бы оценила произведение без всякого отношения к его патетическому действию, была бы... довольно жалкой критикой...“ „...все художественные произведения... заключают в себе элементы прогрессивный и консервативный, не только по содержанию, вносимому в произведение умственным, нравственным и гражданским развитием художника, но и по патетическому действию на публику...“»[4].

Еще более стилистически своеобразна индивидуальная система обра-

[1] Ф. Витязев, указ. соч., стр. 758—759.
[2] Там же, стр. 759.
[3] Там же.
[4] Там же, стр. 760.

зов и соответствующих фразеологических оборотов, связанных с идеей «литературной адвокатуры». В представлении П. Л. Лаврова, пишет Ф. И. Витязев, литературный критик — «„это не более, не менее, как адвокат, который выступает перед присяжными, роль которых играет в данном случае читающая публика. Критик — отнюдь не судья. В роли судьи выступает история“ ...„В литературной адвокатуре клиент никогда не личность..., не тот или другой автор, но определенное теоретическое миросозерцание, определенный практический идеал; авторы же и их произведения суть лишь разбросанные документы и свидетели, на которые опирается адвокат и которые имеют значение лишь в той мере, в какой они ясно выражают надлежащее миросозерцание и надлежащий идеал“ („Библиограф“, 1869, № 1, стр. 3—4; см. также стр. 1, 2 и 5)»[1]. Тот же образ «адвокатуры» переносится П. Л. Лавровым в сферу понимания и изображения политической борьбы. В своих «Исторических письмах» П. Л. Лавров (под псевдонимом «П. Л. Миртов») пишет: «„Каждый мыслящий человек, вошедший в организм партии, становится естественным адвокатом не только того, кто уже теперь к ней принадлежит, но и того, кто завтра может войти в нее... Как единая мысль, единая цель составляют внутреннюю силу партии, так взаимная адвокатура составляет ее внешнюю силу“ („Неделя“, 1868, № 16, стр. 485—486. Отдельное изд.— СПб., 1870, стр. 117—119)»[2].

Тот же строй образов, связанных с темой общественно-идеологических отношений и взаимодействий, говорит Ф. И. Витязев, наблюдается и в статье «О задачах современной критики». Здесь читаем: «„Журнал никогда не произносит приговора: Его произносит публика... „Правда“ журнала не может и не должна быть правдою судьи; это — правда адвоката, выбирающего себе клиента по своим убеждениям и, во имя вечных начал истины и справедливости, разъясняющего права своего клиента. Без правды адвоката правда судьи невозможна в литературном процессе“ (стр. 138, а также 139)»[3].

В других случаях Ф. И. Витязев, говоря о «побочных идеях», вынужден анализировать способы употребления терминов и их индивидуальное осмысление в языке Лаврова. «В чисто лавровском понимании,— пишет он,— введено в „Письмо“ и слово *цивилизация*... Всякий другой писатель здесь бы сказал слово *культура*, но Лавров, как известно, противопоставлял эти понятия. Для него *цивилизация* — понятие прогрессивно-динамическое. *Культура* же — элемент, связанный с преданием, привычкой, застоем»[4]. Таким образом, «внутренний анализ» произведения не может быть оторван от изучения языка и стиля автора, от наблюдений над способом выражения идей и их связей, типичным для стилистической манеры исследуемого писателя. Рекомендуемые же Ф. И. Витязевым методические приемы «анализа языка и стиля статьи» для определения ее автора должны быть признаны весьма случайными. Они ни в какой мере не соответствуют собственным требованиям и представлениям Ф. И. Витязева. По его словам, «в нашей литературе слишком часто злоупотребляют ссылками на „стиль или язык“ автора. Сказать вообще, что такая-то статья „по стилю и языку“ Салтыкова, Михайловского или Лаврова, значит ровно ничего не сказать. Подобные общие и притом глубоко безответственные заявления давно пора сдать в архив, какими бы громкими именами они ни прикрывались»[5]. Именно путем таких общих бездоказательных

[1] Там же.
[2] Там же, стр. 761.
[3] Там же.
[4] Там же, стр. 762.
[5] Там же, стр. 758.

ссылок на стиль и язык автора произведен целый ряд ошибочных атрибуций, и сочинения некоторых писателей пополнились чужими произведениями.

Ф. И. Витязев выдвигает совершенно верное, но трудно выполнимое требование: «Анализ языка любого писателя должен быть так же точен, как анализ любой математической формулы». Однако сюда же Ф. И. Витязев присоединяет странное и туманное замечание: «Но даже при наличии подобного самого точного анализа ограничиваться одним внешним исследованием „стиля и языка" статьи при определении ее автора отнюдь нельзя. Подобный формализм таит в себе большие опасности. Дело в том, что у некоторых писателей бывает очень много общего в стиле и языке, не говоря уже о влиянии самой эпохи, оставляющей на них один и тот же отпечаток»[1]. Совершенно ясно, что, рассуждая о стиле и языке, Ф. И. Витязев не обнаруживает отчетливого понимания ни того, ни другого. И действительно, проблема стиля и языка писателя сводится у Ф. И. Витязева к индивидуальному набору слов. «Каждый крупный писатель,— пишет он,— обязательно имеет свой набор слов, к которым он особенно сильно тяготеет и которые довольно часто употребляет в своей речи. Сюда же относится особая транскрипция (? — *В. В.*) отдельных слов, целый ряд специальных только одному ему свойственных оборотов речи и т. п. Этот чисто инстинктивный подбор любимых „словечек" является, несомненно, результатом двух скрещивающихся влияний. С одной стороны, здесь сказываются индивидуальные особенности и наклонности писателя, а с другой — здесь имеется вполне определенное влияние исторической эпохи, в которой он слагался и работал... Вот почему перед тем, как говорить о „языке и стиле" того или иного писателя, надо прежде всего составить словарь его любимых, специфически ему свойственных, слов. Подобный словарь и должен явиться тем ключом, которым безошибочно можно расшифровывать авторство любого писателя»[2]. Итак, ключом к языку и стилю писателя, а следовательно, и к определению автора неподписанных или подписанных псевдонимом произведений является лексикон любимых «словечек», «типических для того или иного автора слов и выражений». Ф. И. Витязев рекомендует опираться при установлении авторства произведения не на анализ языка и стиля писателя, а лишь на некоторые характеристические „приметы" лексики, на совпадение в отдельных „излюбленных" словечках и выражениях.

Каковы же те индивидуально лавровские словечки и выражения, по которым Ф. И. Витязев определяет принадлежность этому публицисту анонимной статьи? Сюда относятся слова, выражения и обороты разной значимости, разной показательности. Вот их перечень: *тому несколько лет* (*назад*) (вместо *несколько лет тому назад*); *касаться до чего-нибудь* (вместо *касаться чего-нибудь*); *характеристичный* (вместо *характерный*); *определительно* (вместо *определенно*); *уяснить* и производное *уяснитель*; частое употребление слов *индиферентизм*, *достоинство* в самых различных модуляциях (*достоинство человеческое*, *достоинство личности*, *достоинство литературы* и т. д.); *выработать* (в «Исторических письмах» — 60 раз, в статье «Знание и революция»—19 раз и т. п.). Кроме этих будто бы чисто лавровских слов, Ф. И. Витязев отмечает еще ряд других, которые «взятые во всей своей совокупности, да еще при наличии других типично лавровских выражений..., также приобретают свой вес и значение при определении автора анонимной статьи»[3]. Сюда относятся: *важный*, *воплотить*,

---

[1] Ф. Витязев, указ. соч.
[2] Там же, стр. 754—755.
[3] Там же, стр. 758.

вносить, обработка, обусловливать, отстаивать, прогресс, прогрессисты, прогрессивный, усвоить, установлять, установление, усомниться.

Нельзя не признать этот «набор слов» довольно случайным. И трудно представить себе возможность достоверного «узнавания» сочинений П. Л. Лаврова по этим «приметам». Об этом догадывается и сам Ф. И. Витязев, так как он встретил «много типично лавровских слов» в языке Ю. Г. Жуковского. «Вот почему анализ „языка и стиля" статьи должен обязательно дополняться другими формальными признаками и, как правило, еще исследованием произведения по существу»[1].

Легко заметить, что во взглядах Ф. И. Витязева на принципы атрибуции литературных произведений есть неясность в двух направлениях или отношениях. Прежде всего, это касается изучения приемов и способов обнаружения тождества идей, выраженных в произведении, для которого подыскивается автор или которое приписывается тому или иному писателю, с мировоззрением соответствующего литературного деятеля. Методика сопоставления или отождествления содержания анонимного сочинения с тематикой произведений подходящего писателя — самый слабый пункт современных атрибуций, направленных по пути бездоказательного пополнения сокровищницы творчества передовых представителей русской литературы XIX, а отчасти и XX в. всякого рода сомнительными анонимными сочинениями.

Вот показательный пример. В «Литературной газете» от 29 мая 1951 г. было опубликовано сообщение доктора филол. наук В. Нечаевой «Неизвестная повесть В. Г. Белинского». В. Нечаева, ссылаясь на совпадение идей, доказывала, что повесть «Человек не совсем обыкновенный», напечатанная в журнале «Телескоп» (ч. XVII, 1833) и подписанная фамилией «Лесовинский», принадлежит перу великого критика и революционного демократа В. Г. Белинского.

Предположение В. Нечаевой вызвало возражения. Читатель «Литературной газеты» Ю. Калугин (Одесса) обратился в редакцию с письмом, в котором доказывал, что Белинский не мог быть автором этой повести, написанной в «чувствительном» духе. Ю. Калугин напомнил, что всего несколько месяцев отделяют выход в свет этой повести от появления «Литературных мечтаний», в которых молодой критик поднял голос против приторной чувствительности, слезливости, против нагромождения разных ужасов, против всякой фальши, против риторических стилей.

«Как выяснилось,— писала „Литературная газета",— эти и другие возражения имели основания. Недавно литературовед Л. Крестова-Голубцова установила, что повесть „Человек не совсем обыкновенный", помещенная в „Телескопе", была перепечатана и вошла в книгу А. Т. „Повести о том, о сем, а больше ни о чем" (1836 г.). Под инициалами А. Т. скрывается забытый ныне писатель Алексей Григорьевич Тепляков. Таким образом, приписывать повесть „Человек не совсем обыкновенный" перу В. Г. Белинского нет оснований»[2].

В большинстве литературоведческих исследований по атрибуции для доказательства принадлежности анонимного сочинения тому или иному крупному писателю чаще всего ограничиваются лишь указаниями на совпадение или близость идей, даже без детального семантико-стилистического сопоставления и анализа форм их выражения. Именно таким образом приписана Белинскому значительная часть неподписанных рецензий в тех журналах, в которых он был руководящим критиком (см., например, XIII т. «Полного собрания сочинений В. Г. Белинского», ред. В. С. Спи-

[1] Там же.
[2] «Лит. газета» 2 IX 52.

ридонова, Л., ГИХЛ, 1948). Те же принципы применялись и по отношению к публицистическим статьям, в которых нашим литературоведам захотелось увидеть «руку» Салтыкова-Щедрина [см., например, VIII т. «Полного собрания сочинений Н. Щедрина (М. Е. Салтыкова)», М., ГИХЛ, 1937]. Нередко на той же основе устанавливается авторство Герцена по отношению ко многим материалам «Колокола». Правда, иногда, кроме совпадения, сходства или близости идей, для большей убедительности мысли об авторстве какого-нибудь крупного писателя в отношении того или иного произведения в нем выделяются характеристические языковые приметы в виде единичных слов, оборотов, иногда даже грамматических конструкций (без глубокого конкретно-исторического обоснования их индивидуального своеобразия). Сюда относится одно из типичных рассуждений, задача которого доказать, что Н. Г. Чернышевский был автором напечатанного в № 64 герценовского «Колокола» от 1 марта 1860 г. «Письма из провинции» за подписью «Русский человек»: «Чернышевскому свойственно употребление родительного падежа после глагола *надеяться*... Пример такого же употребления находим и в письме»[1]. Далее цитируется это место из письма «Русского человека», где автор говорит о либералах, которые «еще надеются мирного и безобидного для крестьян разрешения вопроса». В подтверждение же, что Чернышевскому действительно была свойственна такая форма управления при глаголе *надеяться*, делается ссылка на его статью «„Русская беседа“ и ее направление», где находится, между прочим, такая фраза: «Нет, этого нельзя надеяться» («Полное собр. соч.», т. II, СПб., 1906, стр. 421)[2].

Б. П. Козьмин, отвергая возможность приписать письмо «Русского человека» Н. Г. Чернышевскому, справедливо замечает, что употребление родительного падежа после глагола *надеяться* (вместо винительного с предлогом *на*) не было индивидуальной особенностью Чернышевского, что оно было широко распространено и у других писателей того времени. Характерно, что в «Словаре Академии Российской» (ч. III, 1814, стр. 1061) при глаголе *надеяться* обе конструкции — *надеяться чего* и *надеяться на кого, что* — признаны равноправными: «надеяться успехоь в чем. Он надеется лучшего счастия. На его честность, слово, верность, правосудие можно надеяться». Однако Б. П. Козьмин из факта неосведомленности наших литературоведов в области истории русского литературного языка делает странный вывод: «Этот пример служит яркой иллюстрацией того, с какой осторожностью надлежит относиться к „стилистическим особенностям“ при установлении авторства...»[3]

Между тем такое заключение не только нелогично, но и фактически неверно. Ведь история падежных конструкций с глаголом *надеяться*, привлекавшая внимание еще А. А. Потебни, филологом не может быть использована для показательной характеристики индивидуальных стилей русской литературы второй половины XIX в. Нельзя пренебрегать фактами истории языка и стилистики только потому, что литературоведы их не знают или не умеют ими пользоваться. Например, были попытки определения автора не только с помощью анализа «сходства стиля и хода мыслей» соответствующего анонимного произведения и сочинений какого-нибудь писателя, но и посредством указаний на общность отдельных диалектизмов в языке сопоставляемых произведений. Так, В. П. Семенников, дока-

---

[1] Г. Берлинер, Н. Г. Чернышевский и его литературные враги, М.—Л., 1930, стр. 78 [см. сообщение Б. П. Козьмина «Был ли Н. Г. Чернышевский автором письма „Русского человека“ к Герцену?» («Лит. наследство», № 25—26, М., 1936, стр. 580)].

[2] Берлинер, указ соч., стр. 78.

[3] Б. П. Козьмин, там же.

зывая принадлежность «Отрывка путешествия в*** И*** Т***» (из новиковского «Живописца» на 1772 г.) перу А. Н. Радищева, ссылался на слово *одонье* (*одонье*) — «местное народное, не употребительное в литературном языке»[1]. Между тем оно встречается и у Радищева, и в «Отрывке путешествия...». Как указано в словаре Даля, это выражение встречается в Новгородской, Саратовской, Тамбовской, Тульской и Воронежской губерниях. Отсюда, по мнению В. П. Семенникова, «делается понятным, почему Радищев знает это неупотребительное в литературном языке слово: он родился в Саратовской губернии, а это выражение распространено на его родине. Но если тем же характерным словом пользуется и автор „Отрывка", то мы можем считать этот факт очень важным для нас указанием»[2]. Конечно, все это очень наивно и ошибочно. Если слово *одонье* не входит в лексическую систему современного русского литературного языка, это вовсе не значит, что в XVIII и в начале XIX в. оно было неупотребительным в литературном обиходе. В «Словаре Академии Российской» оно не сопровождается никакой стилистической пометой[3]. Оно помещено в «Русско-французском словаре... или этимологическом лексиконе русского языка» Ф. Рейфа (т. I, СПб., 1835, стр. 253) и в академическом «Словаре церковнославянского и русского языка» (т. III, СПб., 1847, стр. 32). Следовательно, нельзя из употребления слова *одонье* в анонимном «Отрывке путешествия в*** И*** Т***» делать вывод об авторстве Радищева[4]. Таким образом, доказательство общности автора на основе сходства идей в сопоставляемых произведениях не получает достаточного подкрепления в случайных указаниях на совпадения в них отдельных выражений и конструкций. Ведь этим способом вовсе не устанавливается единство системы выражения идентичных мыслей.

Традиционное понимание задач критики текста в этой сфере соотношений недиалектично. В основу поисков адекватного текста или доказательств общности, единства стиля кладется принцип раскрытия отношений «между сообщаемым и внешними формами сообщения»[5], как будто сообщаемое или выражаемое нам дано или заранее известно вне этих «внешних форм сообщения». На такой почве возникает отрыв идеологии писателя от его стиля. Характерно в данном смысле рассуждение проф. Г. О. Винокура о недопустимости введения в текст «Русских ночей» В. Ф. Одоевского позднейших, относящихся к 60-м годам XIX в. идеологических исправлений и дополнений автора и о целесообразности использования чисто стилистических поправок того же времени. «Идеологические» изменения, по мнению проф. Винокура, «искажают основной смысл и своеобразие „Русских ночей"» как памятника нашей литературы и общественности в период 30-х гг. Но «что можно возразить,— спрашивает Г. О. Винокур,— против чисто стилистических поправок, которых не так-то мало, а может быть и большинство? Так, например, конец первого абзаца „Бала" в первой редакции читался: „...в полупотухших, остолбенелых глазах мешалась горькая зависть с б е ш е н ы м воспоминанием прошедшего,— и все вертелось, прыгало, бесновалось в сладострастном безумии...." Позднее Одоевский поправил: „горькая зависть с г о р ь к и м воспоминанием про-

[1] В. П. Семенников, Когда Радищев задумал «Путешествие», М., 1916, стр. 27.

[2] Там же, стр. 28.

[3] См. «Словарь Академии Российской», ч. IV, СПб., 1822, стр. 227: «*Одóнье*, нья и умал. Одóньице... Кладь снопов не молоченого хлеба наподобие сенного стога на столбах и помостах, но гораздо менее скирда. Скласть снопы в одонье».

[4] Именно данные языка и стиля свидетельствуют о том, что этот «Отрывок» не принадлежит Радищеву. Вопрос же о принадлежности его Новикову нуждается в дополнительных историко-стилистических исследованиях.

[5] Г. Винокур, Критика поэтического текста, М., 1927, стр. 25.

шедшего“»[1]. Доводы Г. О. Винокура в пользу последней поправки основаны на его личном вкусе, произвольны и антиисторичны: «Авторский замысел здесь совершенно ясен: гораздо удачнее здесь параллелизм „горькой зависти и горького воспоминания“, чем параллелизм „бешеного воспоминания с беснующимся сладострастным безумием“. Нет решительно никаких оснований отвергать эту поправку, нисколько не нарушающую общую идеологию „Русских ночей“ и улучшающую чтение»[2].

Ссылка на совпадение идей, выраженных в анонимном или псевдонимном сочинении, с мировоззрением, со взглядами того или иного автора может быть доказательной лишь в том случае, если будет убедительно показана общность стилистических принципов воплощения одинаковых идей. Здесь уместно напомнить высказывания Флобера о соотношении, связи идей и формы в литературно-художественном произведении: «Для меня же, как бы мне за это ни попало, сказать, что в такой-то фразе отделена форма от сущности, значит сказать,— я это утверждаю,— что оба эти слова лишены смысла... Идея существует лишь благодаря форме. Представьте себе идею, которая не имела бы формы: это невозможно,— как невозможна форма, которая не выражала бы какой-нибудь идеи»[3]. В качестве попытки именно такой постановки проблемы атрибуции анонимного текста и его истолкования могу сослаться на свою статью «Неизвестное стихотворение Н. М. Карамзина»[4].

Другое затруднение, которое связано с применением метода узнавания автора, а также определения подлинности текста по индивидуальному «набору» слов, по «ключевым» словам («Les mots clés») и выражениям, касается принципов выделения, собирания и систематизации таких слов[5]. Ф. И. Витязев руководствуется общим впечатлением о частоте употребления излюбленных слов, сложившимся на основе изучения творчества данного автора, убеждением в наличии соответствующего лексического набора или его основной части в каждом из произведений этого писателя. Однако в этом случае всегда грозит опасность принять социально-групповое или жанровое за индивидуальное. Ведь соответствующий «набор» слов может быть типичным не только для индивидуального стиля отдельного писателя, но и для целой группы представителей того или иного жанра в литературе того времени.

Мало того: некоторые из языковых компонентов такого индивидуального набора могут оказаться общим достоянием соответствующего стиля литературного языка в эту эпоху. Ведь самый процесс отграничения или обособления серии лексических элементов, характерных для того или иного индивидуального литературного стиля, исторически последовательно может осуществляться лишь на фоне глубокого и отчетливого, точного изображения или воспроизведения всей лексико-фразеологической системы литературного языка этого времени во всем многообразии его стилей и жанровых вариаций. Вот почему при опоре на субъективные, хотя бы и очень проверенные на опыте представления о типичном для того или иного писателя «наборе» или «подборе» слов нередко бывали ошибки и ложные атрибуции. Правда, возможен и другой — математический или статистический

---

[1] Г. Винокур, указ. соч., стр. 49. Ср.: В. Ф. Одоевский, Соч., ч. 1, СПб., 1844, стр. 81; его же, Русские ночи, под ред. С. А. Цветкова, М., 1913, стр. 111.

[2] Г. Винокур, указ. соч., стр. 49.

[3] Flaubert, Correspondance, 1, 157 (цит. по кн.: А. М. Евлахов, Реализм или ирреализм? Очерки по теории художественного творчества, т. I, Варшава, 1914, стр. 213).

[4] «Сб. статей, посв. проф. А. Скафтымову» («Уч. зап. Сарат. гос. ун-та»), 1958.

[5] Ср. G. Matoré, La méthode en lexicologie, Paris, 1933, стр. 65—70.

метод выделения «ключевых слов» в творчестве того или иного писателя[1]. Но здесь данный способ узнавания подлинности текста или имени его автора уже сближается с серией других методов — методов статистических.

V

Знаменитый революционный деятель Н. А. Морозов напечатал в 1915 г. статью «Лингвистические спектры» с подзаголовком «Средство для отличения плагиатов от истинных произведений того или другого известного автора. Стилеметрический этюд»[2]. Термин «стилеметрия» Н. А. Морозов заимствует у тех филологов-классиков, которые занимались исследованием стилистических примет и стилистических отличий слога Платона и других писателей античного мира. Особенно заинтересовали Н. А. Морозова работы Гомперца, В. Лютославского, Кампбелля (Кэмпбела), Диттенбергера, Гефера, Дросте и других исследователей творчества Платона, доказывавших принадлежность Платону, подлинность текста разных диалогов посредством статистического изучения употребительности разных форм, слов, в том числе и служебных, а также выражений, фразеологических оборотов, иногда дублетных, синонимических слов[3].

По мнению Н. А. Морозова, работы этого типа интересны как попытки найти объективный метод определения типических особенностей индивидуального склада речи или слога, хотя самый выбор в качестве материала для стилеметрического исследования диалогов, приписываемых Платону, казался Н. А. Морозову сомнительным. «Различия в слоге различных произведений „Платона“ (т. е. приписываемых Платону и не вызвавших у стилеметристов сомнения в их подлинной принадлежности греческому философу.— *В. В.*) оказались так велики,— пишет Н. А. Морозов,— что покрыли собою колебания в слоге других однородных с ним авторов, и таким образом сразу лишили зарождавшуюся стилеметрию всякого практического значения. Этому же способствовало и то, что границы ее области были отодвинуты платонистами далеко за их естественные пределы. Вместо того, чтоб подсчитывать общеупотребительные, часто встречающиеся в языке служебные частицы, начали наоборот обращать внимание на редкие выражения, на необычные формы, да и в подсчете обычных служебных частиц не соблюдалось никакого общего масштаба. Подсчеты вели обыкновенно на страницу того или иного издания и цифры давались в таком виде, что соотношения их по величине не представлялись наглядными»[4].

Н. А. Морозов стремился пойти своим путем. Он решил, «отбросив все редкие слова, ограничиться наиболее частыми и общими для всех родов литературы»[5] и воспользоваться для открытия стилеметрических законов наблюдениями над русскими классиками XIX в. Он исходил из убеждения, что в языке «все... элементы имеют определенную пропорцию», так как «в природе и в обычной жизни человека все очень многократные

---

[1] Ср. P. Guiraud, Bibliographie critique de la statistique linguistique, Utrecht—Anvers, 1954.

[2] Н. А. Морозов, Лингвистические спектры, ИОРЯС, т. XX, кн. 4, 1915. В сокращенном виде то же учение о «лингвистических спектрах» изложено Н. А. Морозовым в главе IV (стр. 110—139) III книги его исследования «Христос» (М.—Л., 1927).

[3] См., например, C. Ritter, Die Sprachstatistik in Anwendung auf Platon und Goethe, «Neue Jahrbücher für das klassische Altertum», Bd. XI, 1903. Ср. также Const. Ritter, Neue Untersuchungen über Platon, München, 1910.

[4] Н. А. Морозов, Лингвистические спектры, стр. 96—97.

[5] Там же, стр. 97.

события, кажущиеся случайными, принимают при достаточном числе повторений закономерный характер...»[1] Отсюда делался вывод, что статистические закономерности существуют и в явлениях нашей живой устной и письменной речи. «...Самые слова должны иметь в ней различную частоту своей повторяемости»[2]. Этот принцип лежал в основе стилометрических работ, посвященных анализу слога Платона и других античных писателей. Но, по мнению Н. А. Морозова, слабая сторона трудов Гомперца, Лютославского и других состояла именно в том, что они придавали значение частоте употребления обычных знаменательных слов, зависящей в значительной степени от темы, от предмета речи, от содержания книги. «В зоологии будут часто встречаться имена животных и частей их тела, в химии имена реагентов и химических реакций, совсем не употребительные в обычном языке. В истории народов будут часты собственные имена различных деятелей и географические названия... Местоимение *я* будет чаще встречаться в рассказах, излагаемых от имени первого лица. Местоимения *он* и *она*, во всех их падежах, будут часты в обычном романе»[3].

Н. А. Морозов полагал, что гораздо более, чем слова, относящиеся к знаменательным частям речи, определяют склад или слог писателя служебные или распорядительные частицы человеческой речи. «Это прежде всего союзы, предлоги и отчасти местоимения и наречия, а затем и некоторые вставные словечки, вроде *то-есть*, *например*, или *и так далее*. Затем идут деепричастные и причастные окончания, как задние приставные частицы, характеризующие среднюю сложность фразы у того или другого автора»[4]. С лингвистической точки зрения этот перечень не может не показаться странным и внутренне противоречивым. Но то, что здесь сказано о деепричастных и причастных конструкциях, в дальнейшем не находит никакого развития[5]. Все внимание и весь интерес Н. А. Морозова сосредоточены на «распорядительных частицах», различия в употреблении которых представляются ему наиболее характерными для индивидуального склада речи (ср., например, своеобразия в употреблении таких синонимических служебных слов: *так как* и *потому что*; *между* и *среди* или *средь*; *иной-другой* и т. д.).

Естественно, перед Н. А. Морозовым встал вопрос: «Нельзя ли по частоте таких частиц узнавать авторов, как по чертам их портретов?»[6]. Конечно, необходимо учитывать исторические изменения в составе и употреблении этих частиц. «Возьмем хотя бы частицу *ибо*, часто встречающуюся в русском языке еще в первой четверти XIX века. Очевидно, что вместо нее, на графике современных нам писателей будет зияющая зазубрина... Точно так же слово *весьма* оставит вместо себя пустоту, потому что оно заменилось теперь почти нацело словом *очень* и т. д. и т. д. Даже у современных друг другу писателей должны появляться свои оригинальные зазубрины, свойственные лишь им одним, благодаря антипатии того или другого автора к той или другой служебной частице»[7].

Н. А. Морозов считает самым верным средством определения подлинности или подложности текста составление графиков частоты употребления распорядительных частиц в языке произведений и сопоставление показаний таких графиков. «Все это,— по словам Морозова,— делает такие гра-

---

[1] Н. А. Морозов, указ. соч., стр. 97.
[2] Там же, стр. 100.
[3] Там же, стр. 100—101.
[4] Там же, стр. 101.
[5] Впрочем ср. там же, стр. 94: «У одних фраза длинная, с постоянными придаточными предложениями, у других — короткая; у одних очень часты деепричастия, а у других их почти совсем нет».
[6] Н. А. Морозов, указ. соч., стр. 102.
[7] Там же., стр. 102.

фики подобными световым спектрам химических элементов, в которых каждый элемент характеризуется своими особыми зазубринами, так что астроном легко и надежно определяет по ним химический состав недоступных нам небесных светил»[1]. Отсюда и название — «лингвистические спектры», а исследование по этим спектрам авторов Морозов склонен был считать лингвистическим анализом, соответственно спектральному анализу состава небесных светил. Чтобы не давать очень сложных общих спектров, Морозов различал спектры «предложные, союзные, местоименные... и т. д., судя по тому, что они представляют»[2]. Само собой разумеется, что нельзя решать вопроса по какому-либо одному недостаточно показательному спектру, например по совпадению показателей частоты употребления предлогов *в*, *на* и *с*. Так, по утверждению Морозова, этот «главный предложный спектр» однороден у Пушкина и Тургенева, хотя и очень отличен от соответствующего предложного спектра у Гоголя (преобладание предлога *на* над *в*, у Пушкина же, наоборот, сильное преобладание предлога *в*). Характерно, что предлоги *в* и *на* Морозов «брал для простоты счета суммарно, не расчленяя на падежи, перед которыми они стоят»[3].

Для получения вполне достоверных показаний, по мнению Н. А. Морозова, «необходимо составить очень длинный многочисленный спектр, или несколько коротких, но разнородных по своему содержанию спектров, и это тем более необходимо, что не всякий член спектра постоянен у данного автора по частоте своего употребления»[4]. Так, «у каждого автора, писавшего более полувека, лингвистический спектр не может оставаться все время совершенно неизменным. Он должен подвергаться медленной эволюции, как и световые спектры физических тел, изменяющиеся по мере повышения температуры»[5]. Для составления спектров берется тысяча слов из сочинений разных писателей или целые произведения — более или менее соразмерные. Н. А. Морозов составляет также «естественные» спектры и по употреблению союзов *и*, *а* в языке Пушкина, Гоголя, Л. Толстого. Однако отсутствие специальной языковедческой подготовки иногда резко сказывается у Морозова в приемах выделения союза и сопоставления разных значений или функций.

Вот некоторые из спектральных наблюдений Н. А. Морозова: отсутствие *будто* у Тургенева («Бригадир», «Перепелка», «Малиновая вода»), избыток этой частицы у Гоголя («Майская ночь», «Страшная месть», «Тарас Бульба», «Нос»); полное отсутствие *ибо* у Тургенева и Л. Толстого («Три смерти», «Три старца», «Смерть Ивана Ильича», «Корней Васильев»); *может* без *быть* — у Гоголя, *может быть* — у Карамзина; *всё*, как наречие, редко у Пушкина, часто у Гоголя и Толстого; местоимение *всякий* у Гоголя заменяется через *каждый*; то же, по-видимому, у Толстого, а у Тургенева наоборот, и т. п. Приводятся в таблицах цифровые данные, статистические подсчеты.

Этого рода лингвистический анализ, по мнению Н. А. Морозова, дает «объективные основы для суждения об одноавторности и разноавторности произведений. Что же касается до применимости этого метода ко всякому языку и ко всякой эпохе, то в этом не может быть сомнения. Все различие в слоге у разных писателей, одинаких по языку и по роду своего творчества, именно и заключается в средней длине и сложности их фразы и

---

[1] Там же.
[2] Там же, стр. 104.
[3] Там же, примеч. на стр. 105.
[4] Там же.
[5] Там же, стр. 106.

в различном употреблении ими служебных частиц речи»[1]. Это обобщение, относящееся к проблемам сущности стиля и стилистических различий, наивно и не выдерживает ни малейшей научной критики. Но для стилистической концепции Н. А. Морозова оно было очень существенно, так как лексико-фразеологическим различиям стиля, а также различиям конструкций и словорасположения Морозов не придавал большого значения. Метод стилистического исследования, основанный на подсчете частоты употребления «конструктивных частиц», кажется Морозову очень ценным. «В своем окончательном виде этот метод еще нов, а потому и целесообразное и объективное применение его, как и всего нового, может привести к неожиданно важным результатам»[2].

Несостоятельность точки зрения Н. А. Морозова на принципы определения подлинности и подложности платоновских текстов отмечена в статье В. Э. Сеземана о лингвистических спектрах Морозова[3]. Как указал В. Э. Сеземан, Н. А. Морозов не считается с эволюцией стиля писателя, с возможными изменениями в способах отбора слов при длительном сроке литературной деятельности автора. «Литературное наречие автора, писавшего в течение полустолетия, и при том, вероятно, с многолетними перерывами, и испытавшего на себе разнообразнейшие влияния, не могло не претерпеть весьма значительных изменений; при чем более естественно предположить, что эти изменения совершались не плавно, а скачками»[4]. Кроме того, Н. А. Морозов упускает из виду ритм художественной прозы. Между тем «стилистические особенности писателя — его словарь, предпочтение им тех или других распорядительных частиц, а также расстановка слов в предложении,— все это в значительной мере обусловлено ритмическим строем его речи»[5]. Вместе с тем были отмечены недостатки выдвинутого Н. А. Морозовым применения статистического метода к изучению стиля (прежде всего лексики) разных писателей и с точки зрения математической статистики.

Образец статистического исследования литературного текста еще раньше был дан акад. А. А. Марковым[6]. В качестве обязательного условия успешности применения математического метода автором было выдвинуто положение, что постоянство итогов, другими словами — устойчивость их, не принимается на веру, а устанавливается в самом исследовании, причем должен быть выяснен и размер колебаний. Ссылки же на постоянство других итогов, если бы даже они были совершенно верными, и на общий закон больших чисел нисколько не доказывают устойчивости рассматриваемых итогов. Между тем это условие в работе Н. А. Морозова не соблюдено.

Критике морозовского применения статистического метода А. А. Марков посвятил еще одну статью[7]. По словам А. А. Маркова, в статье Н. А. Морозова «Лингвистические спектры» «нет и попытки доказать, что при-

---

[1] Н. А. Морозов, указ. соч., стр. 113.

[2] Там же, стр. 127.

[3] В. Сеземан, «Лингвистические спектры» г. Морозова и Платоновский вопрос, ИОРЯС, т. XXII, кн. 2, 1918, стр. 70 и сл.

[4] Там же, стр. 78.

[5] Там же, стр. 79.

[6] А. А. Марков, Пример статистического исследования над текстом «Евгения Онегина», иллюстрирующий связь испытаний в цепь, «Изв. Имп. Акад. наук». Серия VI, т. VII, № 3, 1913, стр. 153—162. [Это исследование, как пишет автор, относится к «последовательности 2 тыс. русских букв, не считая ъ и ь, в романе А. С. Пушкина „Евгений Онегин“, которая заполняет всю первую главу и шестнадцать строф второй»

[7] А. А. Марков, Об одном применении статистического метода, «Изв. Имп. Акад. наук», Серия VI, т. X, 1916, стр. 239—242.

поденные итоги характерны для русских писателей, а не относятся только к тем немногим отрывкам (по тысяче слов в каждом), которые были подвергнуты подсчету»[1]. Произведенные А. А. Марковым подсчеты употребления тех же самых «распорядительных» частиц, например, отрицания *не*, предлогов *в* и *на*, на других отрывках в тысячу слов из сочинений тех же писателей привели его к совсем иным результатам, к иным цифрам. «Примеры большого разногласия итогов, относящихся к одному и тому же писателю,— пишет А. А. Марков,— встретились и автору „Лингвистических спектров", но он приписал такое разногласие воображаемой особенности писателя (графа Толстого): какой-то специальной корректурной обработке»[2]. «Итак, подсчеты немногих тысяч последовательных слов в произведениях различных писателей... представляют шаткое основание для заключений об особенностях речи каждого из этих писателей; замена одних тысяч слов другими может превращать такие заключения в противоположные, что и указывает на сомнительность их. Только значительное расширение поля исследования (подсчет не 5 тысяч, а сотен тысяч слов) может придать заключениям некоторую степень основательности, если только границы итогов различных писателей окажутся резко отделенными, а не обнаружится другое весьма вероятное обстоятельство, что итоги всех писателей будут колебаться около одного среднего числа, подчиняясь общим законам языка»[3].

Однако неудача морозовского метода «лингвистических спектров» не свидетельствует о том, что применение статистического метода к определению подлинности или подложности литературного текста, а также в целях его атрибуции не может привести к точным и доказательным выводам, к успешному решению этих вопросов. Широкое развитие статистического исследования словарного состава языка, изучение частотности употребления разных групп слов в речевом общении начинают все больше и больше влиять и на стилистическое изучение лексики не только литературного языка, но и языка художественной литературы. См., например, многочисленные работы проф. П. Гиро по статистическому изучению словаря произведений классиков французского театра и стихотворного творчества французских поэтов-символистов[4]. Проф. Ж. Маторе полагает, что работы П. Гиро помогут обнаружить некоторые законы, которым подчинена стилистика писателя[5]. Однако надо прямо сказать, что словари или лексикологические исследования, стремящиеся воспроизвести и отразить статистическую структуру лексики того или иного национального языка (немецкого — словарь Ф. Кединга, французского, английского, русского — работа Г. Иоссельсона, испанского — словарь В. Оса и др. под.)[6], еще недостаточно четки и точны в распределении лексической системы языка по группам слов в отношении частоты употребления, в определении количественных закономерностей функционирования словаря, лишены ясной стилистической перспективы и пока не могут служить базой для выяснения динамики или исторических тенденций развития лексики языка.

Следовательно, предстоит еще очень большая работа в области статистического изучения лексики, для того чтобы на основе данных об индивидуальных различиях в частоте употребления тех или иных разрядов

---

[1] Там же, стр. 239.
[2] Там же, стр. 240.
[3] Там же, стр. 241—242.
[4] Ср. также P. Guiraud, Les caractères statistiques du vocabulaire, Paris, 1954 (тут же: La poétique de Valéry).
[5] G. Matoré, указ. соч., стр. 81.
[6] См., например, ВЯ, 1957, № 4, стр. 117—118.

слов, тех или иных лексических дублетов, синонимов и т. п. делать выводы о специфике индивидуальных стилей той или иной эпохи и решать вопросы о приурочении анонимных произведений к определенным авторам. Вместе с тем применение статистического метода в области научной критики текста и эвристики должно быть признано очень ограниченным. Ведь даже в том случае, если этот метод на основе точного решения вопроса о количественных закономерностях индивидуального словоупотребления будет приводить к правильному выводу об авторской принадлежности текста, о его подлинности, он не в состоянии приблизить нас к глубокому пониманию экспрессивно-семантической и эстетической специфики индивидуального стиля, его соотношения с другими стилями, его места в историческом движении художественной литературы и его значения в общем развитии культуры народа. Математико-статистический механизм дифференциации стилей по количественным признакам лишь в самой малой степени может раскрыть перед нами законы их внутреннего развития, а также их связи и взаимодействия. Ведь в данном случае при решении вопроса отсутствует главное условие научно-филологической критики текста — исчерпывающее понимание содержания, ясное знание широкого культурно-исторического контекста.

Кроме того, статистический механизм атрибуции никак не связан с решением основной задачи филологической критики — воссоздания критически проверенного текста произведения. Само понятие конъектуры, т. е. гипотетически восстановленного подлинного выражения в тексте вместо ошибочного, искаженного, неисправного, в общем чуждо статистическому методу. Следовательно, этот метод может быть лишь важным вспомогательным средством при решении вопросов авторства, подлинности и подложности текста. Подсказывая ответы на эти вопросы, он нуждается в историко-филологической опоре, в критике и оценке полученных ответов по их существу — как литературно-эстетическому, так и историко-литературному. В этой связи становится понятным, почему теория «лингвистических спектров» Н. А. Морозова не получила у нас дальнейшего развития, усовершенствования и уточнения. Напротив, она была неправомерно переведена или перенесена некоторыми нашими филологами совсем в другую плоскость и сблизилась с приемом или методом субъективно-избирательной характеристики стиля писателя.

Термин «лингвистический спектр» стал иногда употребляться в расширенном смысле. Понятие «лингвистического спектра» применяется к совокупности тех признаков языка и стиля, которые признаются наиболее типичными для того или иного автора. Так, проф. А. Ф. Ефремов в работе «Язык Н. Г. Чернышевского» пишет: «В результате изучения языка Чернышевского устанавливается его „лингвистический спектр“: логизация синтаксических конструкций и наличие заключительных союзов *итак*, *значит*, *следовательно*, *стало быть* и др., наличие специальных логико-синтаксических расчленителей и пояснительного союза *т. е.*, повторение слов без перечисляющей интонации, самоотрицание и самоутверждение, языковые средства выражения высшего напряжения, отяжеление номинативных конструкций, согласование нечленного прилагательного в единственном числе с местоимением *вы* вежливости, именительный предикативный при неидеальных связках, внутрифразовые вопросы, объединение сложноподчиненных предложений, мнимая интимизация, архаичность синтаксического управления, компаратив на *-ейш-*, наличие наречия *гораздо* при компаративе с приставкой *по*, деепричастие несовершенного вида на *-ши* и *-вши*, глагол прошедшего времени совершенного вида с частицей *-сь* (*-ся*) в роли сказуемого, форма тв. п. на *-ию*, плюрализация, суффиксальные образования на *-ние* с значением совершенного вида,

употребление некоторых слов, некоторые особенности произношения и т. д.“...»[1]

«Лингвистический спектр» в этом смысле, по убеждению А. Ф. Ефремова, «дает возможность установить авторство Чернышевского в отношении некоторых работ. Так, на основании лингвистических данных можно считать его автором прокламации „Барским крестьянам“ и критической статьи о пьесе Островского „Бедность — не порок“,— статьи, помещенной... в собрании сочинений Чернышевского и в собрании сочинений Добролюбова. По лингвистическим данным есть возможность судить и о степени активности Чернышевского в его редакторской работе над статьями, какие проходили через его руки, особенно над наиболее важными в идеологическом отношении. Безымянная, напр., рецензия на книгу Бруно Гильдебранда „Политическая экономия настоящего и будущего“ („Современник“, 1861, № 3) подверглась с его стороны такой сильной переработке, что она по своему содержанию, по приемам композиции, по текстологическим соответствиям и по языку приобрела характер, присущий индивидуальному стилю Чернышевского. Юридически, по показаниям самого Чернышевского в письме к И. А. Панаеву от 10/IV — 1861 г., автором рецензии был не Чернышевский, а по конторским книгам от 11/IV— 1861 г.— Самоцветов, по существу же автор ее — Чернышевский, так что фамилия „Самоцветов“ звучит как подставная фамилия»[2].

Приемы определения «лингвистического спектра» писателя в понимании А. Ф. Ефремова сводятся к выделению характеристических, отличительных «языковых особенностей» автора, специфических примет его индивидуального стиля. «Изучение языковых особенностей Чернышевского при учете его лингвистических высказываний и при сопоставлении его языковых особенностей с языковыми особенностями его современников, а где нужно, и с языковыми особенностями его предшественников,— пишет А. Ф. Ефремов,— выясняет стилевые позиции его как революционного демократа, вскрывает его языковую специфику, его „лингвистический спектр“, его отношение к традициям и языковой современности, а также уясняет его место в общей перспективе истории развития русского литературного языка»[3].

А. Ф. Ефремов признает, что отбор языковых особенностей писателя, показательных для познания его творческой индивидуальности,— дело сложное и тонкое. «...языковое своеобразие у Чернышевского,— пишет он,— двояко: одно вытекает из идейно-стилистических установок, а другое — из индивидуальных привычек, социально не противопоставлено и может быть в какой-то мере сопоставлено с подобными особенностями языка тех или других писателей и литературного языка его времени вообще, а в некоторых случаях и с особенностями языкового прошлого. Своеобразие проявляется во всех разделах языка Чернышевского, но, конечно, не все моменты этих разделов своеобразны и входят в его „лингвистический спектр“. Не все языковые особенности сознательно, преднамеренно использованы им, предпочтительно перед другими: некоторую долю их следует объяснить крепко усвоенной привычкой»[4]. В этой интерпретации понятие «лингвистического спектра» сближается с принципами литературной эвристики Ф. И. Витязева и входит в круг субъективно-избирательных приемов определения автора анонимного литературного текста.

---

[1] А. Ф. Ефремов, Язык Н. Г. Чернышевского, «Уч. зап.» [Сарат. гос. пед. ин-та], вып. XIV, Кафедра русского языка, 1951, стр. 378.

[2] Там же, стр. 379.

[3] Там же, стр. 5.

[4] Там же, стр. 9.

VI

Задачи и приемы научной критики текста и эвристики безмерно расширяются и усложняются, когда мы вступаем в стилистически необъятную, почти беспредельную сферу проблем восстановления и издания правильного литературного текста. Однако избежать хотя бы поверхностного и частичного соприкосновения с этой сферой — даже при суженном изложении методов эвристики, способов узнавания подлинности и подложности текста — невозможно. Ведь работа над установлением правильного текста писателя и историко-стилистическая (а также культурно-историческая) оценка степени его правильности — лучшая школа познания стиля писателя в широком историческом — языковом и литературном — контексте. В самом деле, не всегда даже обозначение автора под текстом (или над текстом) того или иного произведения служит несомненной гарантией принадлежности ему этого сочинения. Нужны историко-документальные и историко-стилистические доказательства. Вот характерный пример из истории издания сочинений Е. А. Баратынского. В первом томе академического издания его стихотворений под редакцией М. Л. Гофмана помещено стихотворение «Романс» («Не позабудь меня»)[1]. Оно извлечено из «Полного новейшего песенника в тринадцати частях.., собранного И-м Гурьяновым», ч. 12 (М., 1835, стр. 50—51). Здесь оно напечатано с подписью «Баратынский». Между тем впервые оно было опубликовано в «Невском альманахе» на 1825 г. (СПб., 1825, стр. 52—53) с подписью «Князь Цертелев»[2]. Стиль этого «Романса» очень далек от стиля Баратынского. Кроме того, текстолог, подобно влюбленной женщине, нередко видит то, что ему хочется и чего в действительности нет. Тот же М. Л. Гофман поместил в первом томе академического издания стихотворений Е. А. Баратынского стихотворение «Смерть Багговута» (стр. 111—112) с примечанием, что оно «напечатано в „Северном Архиве“ 1829 г., № 5, стр. 171, под заглавием „Смерть Багговута 6 октября 1812 г.“ и с подписью „Баратынский“» (стр. 279). Стихотворение это, чрезвычайно слабое в художественном отношении, имеет очень мало общего со стилем и творчеством Баратынского. Сделанная П. Филипповичем проверка приведенных в академическом издании «фактов» показала, что, действительно, стихотворение «Смерть Багговута» находится в «„Сыне Отечества“ и „Северном Архиве“» (т. I, СПб., 1829, стр. 171—172), но без подписи автора и снабжено примечанием: «Сочинение юноши, еще находящегося в одном из казенных учебных заведений. Талант виден»[3].

Критерий подлинности может быть применен и к тексту неточному, контаминированному, искаженному лишь в отдельных словах, фразах. Например, в пушкинском стихотворении «С Гомером долго ты беседовал один» стих «Разбил ли ты свои скрижали» долгое время печатался так: «Разбил (разбив) листы своей скрижали».

Правильное чтение литературного текста зависит не всегда только от внимательного и острого глаза, но и от понимания стиля писателя. Вот характерный пример. В пушкинской заметке о «Путешествии В. Л. П.» до последнего академического издания сочинений А. С. Пушкина печаталось: «„Для тех, которые любят поэзию не только в ее лирических поры-

---

[1] Е. А. Боратынский, Полное собр. соч., т. I, под ред. и с примеч М. Л. Гофмана («Акад. б-ка русск. писателей», вып. 10), СПб., 1914, стр. 147.

[2] См. статью П. Филипповича «Об академическом издании стихотворений Е. А. Боратынского», ЖМНП, Новая серия, 1915, март, стр. 194.

[3] Там же, стр. 195.

нах или в дивном вдохновении элегии...“ Следует: „в унылом вдохновении элегии“»[1].

Изучение литературного произведения в его созидании, в процессе его оформления опирается на семантический и стилистический подход к рукописям, прежде всего к черновикам, а затем и к печатным текстам. «„Новая манера“ чтения пушкинских черновиков,— писал проф. С. М. Бонди,— характеризуется именно стремлением понять смысл, значение и место каждого написанного слова, отдельной буквы (разрядка моя.— *В. В.*). Осмыслить всякое написание в двояком смысле: с одной стороны — с точки зрения окончательного результата работы Пушкина над данным местом: в какой мере приближается данное чтение к этому окончательному, удовлетворившему автора результату; с другой стороны — с точки зрения того, в какой момент работы возникло данное написание, после каких других, в какой последовательности вообще писался текст, дающий в результате сложный, перечерканный и перемаранный черновик. Обе эти точки зрения — телеологическая и хронологическая— в сущности представляют собой две стороны одного и того же, а именно — исследования сплошного, целеустремленного процесса написания данного произведения или части его»[2]. Такое изучение связано с последовательным изложением всего хода работы поэта, всех написаний, зачеркиваний, колебаний, возвращений к первоначальному чтению. Это изложение осуществляется в виде связных, осмысленных вариантов к словам, стихам, фразам и т. д.

В рукописях, как в своеобразной стенограмме или словоулавливающем аппарате, отражаются тончайшие оттенки и колебания авторского замысла и форм его стилистического воплощения. Варианты словесно-художественного оформления, извлекаемые из рукописей, представляют драгоценнейший источник для понимания и изучения процесса творчества данного произведения, изменений и роста творческого замысла, для исследования языка и стиля писателя. Ту текстологическую точку зрения, те принципы воспроизведения текста, которые были выработаны в академическом издании сочинений Пушкина, удобнее всего можно назвать стилистико-семасиологическими. Главная задача — «все понять в рукописи, осмыслить ее форму»; отдельные слова, фразы и т. д. должны читаться «на основании понимания всего целого», расшифровываться «в данном конкретном контексте и с помощью этого контекста»[3]. Воспроизводя работу автора над текстом, мы «повторяем вслед за автором весь ход его работы, воспроизводим в своем сознании все варианты, придуманные автором (и отброшенные им), и именно в той последовательности, в которой они придумывались и отбрасывались, для нас становится яснее смысл всех его поправок, мы начинаем как бы изнутри видеть весь текст, понимая его в его становлении, и потому это понимание легко подсказывает нам и расшифровку вовсе неразборчивого слова, и простое и естественное заполнение недописанного второпях автором»[4].

Это движение «по следам творившего поэта», «по течению его мыслей» представляется С. М. Бонди как процесс текстологического «сопереживания» авторского творческого акта. Текстолог этого типа до некоторой (правда, несоизмеримо малой!) степени наталкивается «на те же ассоциа-

---

[1] См. В. Гиппиус, О текстах критической прозы Пушкина, «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии», 4-5, М.—Л., 1939, стр. 568.

[2] С. М. Бонди, Неосуществленное послание Пушкина к «Зеленой лампе», «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии», 1, М.—Л., 1936, стр. 33—34.

[3] С. Бонди, О чтении рукописей Пушкина, «ИАН СССР. Отд-ние обществ. наук», № 2—3, 1937, стр. 570.

[4] Там же, стр. 585.

ции, которые возникали у поэта». «Конечно, нам,— пишет С. М. Бонди,— не придет в голову именно тот самый эпитет, то самое слово, которое пришло в голову в этом месте Пушкину. Но глядя на неразборчиво или с искажающей опиской написанное слово, фразу, мы, подготовленные всей последовательностью предыдущего хода мыслей поэта, всей совокупностью отвергнутых и принятых вариантов, гораздо легче поймем, расшифруем его, догадаемся о его смысле»[1]. Текстолог должен «ухватить нить создания произведения», хотя бы «небольшой кончик» ее, и с ее помощью дойти до окончательного текста. Может возникнуть сомнение: не слишком ли большая роль — при такой интерпретации текста — отводится художественной интуиции филолога в ущерб его конкретно-исторической исследовательской деятельности? Любопытно, что и сам С. М. Бонди отмечает некоторые недостатки и ограниченные возможности новых принципов текстологической реконструкции работы писателя над своим произведением. Он видит два основных недостатка: 1) полностью вся последовательность работы писателя этим способом «показана быть не может прежде всего потому, что мы далеко не всегда можем быть вполне уверены, что точно знаем эту последовательность. В большинстве случаев она видна из анализа рукописи, но есть случаи, когда рукопись ничего не дает в этом смысле»; 2) «в нашем способе подачи черновика текст дается, как правило, в последовательности самого произведения (от первых его строк к последним), между тем как иной раз (и нередко) пишется оно не подряд, а то, что ближе к концу,— раньше предыдущего и т. п.»[2]

Филологи, увлеченные изучением рукописей избранного писателя и скептически оценивающие степень достоверности печатных текстов прижизненных изданий, ссылаются на невнимательность авторской правки и на обилие ошибок и искажений со стороны переписчиков и корректоров. Правда, количественные соотношения правильного и испорченного текста произведений разных авторов, хотя бы XIX и XX вв., никем не приводились. Тем не менее существует такая точка зрения, что подлинный текст любого литературно-художественного произведения прошлого — это не реально-исторический факт, не реальная данность, а только искомое, которое нужно установить, или задача (почти — загадка), которую следует разрешить, и что каждое слово такого произведения должно быть подвергнуто испытанию и оправдано. Выдвигается как основное условие реконструкции окончательного текста требование обязательной проверки текста «по в с е м рукописям, с тем чтобы, по возможности, довести проверку до автографического написания каждого слова»[3].

Таким образом, у нас в некоторых кругах филологов распространен крайний скептицизм в оценке достоверности и подлинности печатного авторского текста, даже помещенного в прижизненном авторизованном издании. Считается, что вполне правильным и адекватным является лишь «автографическое написание». Слепая вера в показания рукописи затемняет значение исправленного и проверенного автором печатного произведения. По мнению таких филологов, истинный, подлинный текст произведения можно восстановить и получить, только «идя от прижизненного издания к рукописям (автографам и авторизованным копиям), с тем чтобы, по возможности, каждое слово классического творения было подтверждено автографическим написанием его или другой рукописью, заменяющей автограф (если имеются прямые тому доказательства). Лишь при таком

[1] С. Бонди, Новые страницы Пушкина, М., 1931, стр. 6.

[2] Его же, Отчет о работе над IV томом [акад. изд. Пушкина], «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии», 2, М.—Л., 1936, стр. 462.

[3] Н. К. Гудзий, В. А. Жданов, Вопросы текстологии, «Новый мир», 1953, № 3, стр. 236.

анализе устанавливается действительно неискаженный текст»[1]. Никаких разъяснений того, какими преимуществами обладают «авторизованные копии» или «другие рукописи, заменяющие автограф», по сравнению с авторизованным печатным текстом произведения, не искаженного цензурой, нет. Между тем даже наличие «автографического написания слова» не обеспечивает безусловных прав этого слова или выражения на включение в подлинный текст.

В академическом издании первого тома «Мертвых душ» в текст внесен из первоначальной черновой рукописи Гоголя целый ряд «автографических написаний», которые не были включены ни в одну из последующих редакций, ни в первопечатный текст, а заменены там другими выражениями или вовсе изъяты. Например, в речи Коробочки первоначально содержалось такое описание мер борьбы с болями в пояснице и ломотой в ноге: «Я-то мазала свиным салом и скипидаром тоже смачивала»[2]. Но затем — во всех последующих рукописях (даже в той, которая была написана в большей своей части под диктовку Гоголя) и в первоначальном тексте — глагольная форма *мазала* иронически заменена, очевидно, для стилистической симметрии со словом *смачивала*, формой несовершенного вида другого глагола — *смазывала*: «Я-то *смазывала* свиным салом и скипидаром тоже смачивала»[3]. Никаких оснований для возвращения к самому первому варианту не было, кроме субъективного ощущения редактора, что с точки зрения современного литературного словоупотребления глагол *мазать* в сочетании со «свиным салом» к ноге и пояснице более применим, чем глагол *смазывать*. Но с этой же точки зрения редактору следовало бы забраковать и глагол *смачивать*. Скипидаром поясницу теперь не смачивают, а натирают.

Вот еще один пример немотивированного возвращения к самому раннему рукописному варианту в академическом издании «Мертвых душ» Гоголя. Речь идет об описании внешнего вида Коробочки. «Минуту спустя вошла хозяйка, женщина пожилых лет, в каком-то спальном чепце, надетом наскоро, с фланелью на шее»...[4]. На следующий день после приезда Чичикова она является перед ним уже в несколько улучшенном виде: «Она была одета лучше, нежели вчера,— в темном платье, и уже не в спальном чепце, но на шее все-таки было что-то навязано»[5] (в одной из первоначальных редакций *намотано*)[6]. Вместо слова *все-таки* во всех последующих редакциях стоит выражение *все также*: «... и уже не в спальном чепце, но на шее *все также* было что-то навязано»[7].

Несомненно, что *все также* здесь более оправдано. Оно воспроизводит в памяти читателя первоначальное описание убора Коробочки. Противительное *все-таки*, напротив, намекает на комическую, но внутреннюю, как бы постоянную связь между чепцом и чем-то намотанным, навязанным на шее. Во всяком случае, воспроизводить самый ранний вариант этого места в академическом издании не было никаких оснований, кроме субъективных домыслов о порче, произведенной переписчиком.

В первой, черновой редакции речь Плюшкина, обращенная к Прошке, звучала так: «Поставь самовар, слышь! да вот, возьми ключ да отдай Мавре, чтобы пошла в кладовую... Там на полке есть сухарь от кулича, который привезла Александра Степановна, чтобы подала его к чаю... Постой,

---

[1] Там же, стр. 232.
[2] Н. В. Гоголь, Полное собр. соч., т. VI, Изд. АН СССР, 1951, стр. 49, 278.
[3] Там же, стр. 371; см. также стр. 718 и 910.
[4] Там же, стр. 45.
[5] Там же, стр. 48—49.
[6] Там же, стр. 371.
[7] Там же, стр. 718.

куда же ты? Дурачина!.. Эхва, дурачина!.. Э, какой же ты дурачина!.. Чего улепетываешь? Бес у тебя в ногах, что ли, чешется? Ты выслушай прежде...»[1] Но уже в копии первоначальной рукописи (а эта копия создавалась при участии автора, «изменявшего текст») Гоголем были выброшены из этой речи два предложения: «Э, какой же ты дурачина!.. Чего улепетываешь?»[2]. Можно догадываться и о тех стилистических мотивах, которые побудили Гоголя выбросить эти две фразы. После междометного восклицания с народно-областной окраской «Эхва, дурачина!» синонимичное литературно-разговорное предложение «О, какой же ты дурачина!» звучало диссонансом. Его экспрессия — скорбно-укоризненная — не соответствовала грубому и резкому тону приказаний и окриков в обращении Плюшкина к Прошке. Точно так же последующая фраза «Чего улепетываешь?» вызывала представление о стремлении Прошки ускользнуть, скрыться от барина, увильнуть от исполнения его приказаний. Ведь *улепетывать* означает не просто «бежать» или «убегать», а именно с желанием избавиться, освободиться от чего-нибудь неприятного. Поэтому нет никаких достоверных оснований считать пропуск этих фраз ошибкой переписчика и восстанавливать их в окончательном тексте «Мертвых душ».

Очень интересна рукописная эволюция такой фразы из IV главы «Мертвых душ»: «Взобравшись узенькою деревянною лестницею наверх, в широкие сени, он встретил отворившуюся со скрипом дверь и вместе с нею исходивший свет и толстую старуху в пестрых ситцах, проговорившую „Сюда пожалуйте!“»[3]. Так было в римской рукописи, написанной под диктовку Гоголя. Здесь применен типичный для гоголевского стиля прием присоединительного перечисления названий предметов разных функциональных рядов («встретил... дверь... свет... старуху»). Однако выражение «вместе с нею (дверью) исходивший (свет)» было двусмысленно и противоречиво (дверь не *исходила* и свет исходил не вместе с дверью, а вместе с ее *отворением*). Вот почему уже в следующем списке «Мертвых душ», подвергнувшемся авторской правке, *исходивший свет* был выброшен, и соответствующие части фразы приняли следующую форму: «...встретил отворившуюся со скрипом дверь и вместе с нею толстую старуху в пестрых ситцах...»[4]. В цензурной рукописи и первопечатном тексте отсутствует и сочетание *вместе с нею*: «Он встретил отворившуюся со скрипом дверь и толстую старуху в пестрых ситцах, проговорившую: „Сюда пожалуйте!“»[5]. В академическом издании «Мертвых душ» восстановлена первоначальная черновая редакция текста этого отрезка[6], хотя для такой реконструкции не было уважительных причин.

Привязанность к «автографическим написаниям» побуждает текстологов включать в окончательный текст из рукописей все те слова и фразы, относительно которых не видно, что они были вычеркнуты автором собственноручно. Так, в последней цензурной рукописи «Мертвых душ» и в первоначальном тексте реплика Чичикова о ценах на мертвые души и покупателях их, обращенная к Коробочке, имела такой вид:

«— Страм, страм, матушка! просто, страм! Ну, что вы это говорите, подумайте сами! Кто ж станет покупать их! Ну, какое употребление он может из них сделать?»[7]. Но в двух предшествующих рукописях (*РК*, *РП*) последние фразы звучали так: «Кто ж станет покупать их. Н а ч т о

[1] Н. В. Гоголь, указ. соч., стр. 317.
[2] Там же, стр. 434.
[3] Там же, стр. 62.
[4] Там же, стр. 723.
[5] Там же, стр. 911.
[6] Там же, стр. 62.
[7] Там же, стр. 53.

они им? Ну, какое употребление он может из них сделать?»[1]. Можно предполагать, что предложение «На что они [т. е. мертвые души] им?» выброшено самим Гоголем, так как оно создавало несвязность речи. В самом деле, форма местоимения *им* соответствовала предшествующему вопросительному *кто* («Кто ж станет покупать их!»). Но в последней фразе с тем же местоимением *кто* была связана форма единственного числа *он*: «Ну, какое употребление *он* может из них сделать?». Получалась грамматическая несообразность. Между тем в академическом издании выпущенное вопросительное предложение «На что они им?» включено в состав авторизованного, окончательного текста.

Возможно, что в главе XI устранение эпитета *искаженный* при слове *веселье* в выражении «предался дикому, искаженному веселью, какому предается разбойник в пьяную минуту» вызвано стремлением Гоголя избежать семантических оттенков, связанных с украинским словом *скаженный*[2].

Иногда в рукописных вариантах, отличающихся от предшествующих написаний только начертанием двух-трех букв, а часто и одной, с одинаковым основанием можно видеть и ошибку переписчика, и поправку автора. Найти те или иные основания для решения вопроса в пользу авторского улучшения стиля нетрудно, но сделать их бесспорно доказательными во многих случаях очень трудно. Так, в рукописях «Мертвых душ» Гоголя: в ранних (*РЛ*, *РК*) — «все ободрительные и *понудительные* крики, которыми потчевают лошадей», в позднейших (*РП*, *РЦ*) и в первопечатном тексте — «все ободрительные и *побудительные* крики»[3].

От гипноза автографа и от доверчивой слепоты при чтении печатного текста предохраняет только глубокое знание стиля писателя, хорошая осведомленность в области истории литературного языка и исторической стилистики художественной литературы во всем многообразии ее разновидностей.

С изучением литературного языка и языка литературно-художественного творчества неразрывно связаны проблемы научной критики текста и эвристики. Здесь языкознание и литературоведение, поддерживая друг друга, сплетаются в тесном и глубоком единстве — на исконной родственной почве филологии и истории речевой культуры.

---

[1] Там же, стр. 910 и 720.

[2] Но см. в академическом издании «Мертвых душ» восстановление первоначального текста (там же, стр. 229, 920 и 845).

[3] Там же, стр. 715.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1958

И. И. МЕЩАНИНОВ

СИНТАКСИЧЕСКИЕ ГРУППЫ

Содержание, вкладываемое мною в понятие «синтаксическая группа», лишь частично сближается с тем, которое придается Ш. Балли понятию «синтагма»[1]. Последняя, по его словам, обязательно состоит из двух элементов — из темы и повода. Под темой имеется в виду то, «о чем говорят», а то, «что об этом говорят», составляет «повод или (в широком смысле) предикат». «Член же, представляющий собой причину повода, является темой или (в широком смысле) субъектом», что соответствует всякому высказыванию, логически состоящему из двух членов. Наличие в синтагме субъекта и предиката обращает ее в предложение. Такая синтагма, по устанавливаемой Ш. Балли схеме, является полной. Ей противопоставляется редуцированная (частичная) синтагма, в которой «тему принято заменять определяемым, а повод — определяющим» (§§ 154—155). Полная синтагма, по словам Ш. Балли, «представляет собою, естественно, предложение, а частичная синтагма — часть предложения» (§ 161).

Рассматриваемые в таком виде синтагматические отношения исключают сочинение и происходящие от него сочетания [два или несколько членов, соединенные по способу сочинения в одном предложении (например, в форме перечисления или противопоставления), считаются за один член]. Ш. Балли отмечает, что «грамматический субъект и предикат только случайно совпадают с психологическим субъектом и предикатом. В связанном предложении тема и повод определяются либо исходя из ситуации и контекста, либо из характера выраженной мысли» (§ 105).

Ш. Балли вводит сокращенные обозначения используемых им понятий. Тема (субъект) отмечается буквой A, повод (предикат) передается буквой Z. «Любая совокупность знаков, отвечающая формуле AZ, называется синтагмой; следовательно, синтагмой являются как предложение, так и любая бóльшая или меньшая группа знаков, которую можно свести к форме предложения» (§ 155).

Ш. Балли приводит материал из различных языков, из которого видно, что недостающий член монаремы, соответствующий значению субъекта, может передаваться своим собственным грамматическим оформлением такой монаремы [например, *amo*, *amas*, *amat* (§ 190, прим.)]. Привлеченный материал позволяет прийти к выводу о том, что в подобных вербальных построениях имеется понятие субъекта высказывания. Оно, в особенности в первых двух лицах, устанавливается с достаточной точностью. Субъект при этом не воспроизводится, а выражается определенной грамматической формой, в данном случае окончанием лица, что и дает требуемую Ш. Балли формулу AZ, необходимую для синтагмы. При единичном использовании таких глаголов подлежащее отсутствует. Следовательно,

[1] См. Ch. Bally, Linguistique générale et linguistique française, Paris, 1932. Ссылки на этот труд делаются по 3-му изданию (Berne, 1950; см. русск. перевод — Ш. Балли, Общая лингвистика и вопросы французского языка, М., 1955).

субъект может быть передан не только им одним. Подлежащим, при таком понимании субъекта, оказывается не всякое его выражение, а лишь такое, которое выступает отдельным членом предложения при диремном построении предикативной синтагмы.

Ссылаясь на индоевропейские, семитические и многие другие языки, Ш. Балли приходит к утверждению о «пребывании субъекта в составе глагола или, другими словами, о невозможности употребления глагола без его субъекта» (§ 190, прим.). Делаемому Ш. Балли выводу о невозможности употребления глагола без его субъекта не противоречат и те языки, в которых глагол не изменяется по лицам (ср. лезгинский, аварский и ряд других). Если субъект отсутствует в составе самой глагольной формы, неизменяемой по лицам, то все же предикативное содержание глагола связывается тут с субъектом, поставленным вне глагола. Полнота субъектного выражения выступает здесь в синтагме, передаваемой диремой. Следовательно, вопрос сводится не к построению одного только глагола, а к выражению субъектно-предикативных отношений. Связь предиката с субъектом сохраняется и в диреме, и в указанной монореме (*amo*, *amas*, *amat*).

Приведенное выше утверждение о тесной связи глагола с субъектом Ш. Балли расширяет признанием невозможности употребления предиката без его субъекта и, обратно, субъекта без его предиката. Оба эти элемента синтагмы выступают как в спрягаемом по лицам глаголе, так и в двучленной предикативной синтаксической группе и даже в одночленной монореме (§ 155). Ш. Балли имеет в виду элементы высказывания, передающие отношения, «обнаруживаемые во всех типах синтагм». Те же два элемента выступают также при передаче субъекта и предиката упомянутыми глаголами.

Французское соответствие латинскому *amo* (*j'aime*) признается Ш. Балли единой глагольной формой, а не сочетанием знаменательных слов. И *j'aime*, и *amo* оказываются моноремой, но эти же формы отвечают формуле AZ, т. е. предикативной синтагме. Значит, такая синтагма обусловлена наличием субъектно-предикативного выражения, которое может быть передано также и одним словом. Между тем Ш. Балли в описании современного строя французского языка утверждает, что в нем «синтаксической единицей является не слово, а сочетание слов» (§ 438). Отсюда можно было бы заключить, что *j'aime*, не являющееся сочетанием слов, не относится также и к числу синтаксических единиц, хотя, отвечая формуле AZ, *j'aime* соответствует синтагме. Значит, синтагма, при том ее определении, которое дано Ш. Балли, выступает в синтаксическом построении только тогда, когда та же формула AZ передается сочетанием слов.

В первой части своего труда, посвященной основам общего языкознания, Ш. Балли уделяет значительное место характеристике бинарной синтагмы. Отмечая обязательную двучленность элементов высказывания и именуя их бинарной синтагмой, Ш. Балли прослеживает особенности этих двух элементов в их совокупности и каждого в отдельности в соответствующих конструктивных типах предложений, передающих оба элемента или только один из них. Ш. Балли исследует расширение и сжатие различных типов предложений, в частности переход моноремы в более сложное построение предложения. В связи с этим из области синтаксиса берутся лишь приемы сочетания предложений путем сочинения (соединение предложений, из которых одно передает субъект, а другое — предикат), сегментации (образование одного предложения из двух сочиненных) и сращения (полное объединение грамматически передаваемых субъекта и предиката). Эти три приема используются как по отношению к диремам,

так и к монорема м (§ 61 и сл.). Выделяя их как типичные конструкции предложения, Ш. Балли в то же время не останавливается более детально на тех различных группировках сочетаемых слов, которые выступают в этих конструкциях предложений и которыми передаются соответствующие синтагмы.

Противопоставление дирем монорема м недостаточно для характеристики синтаксических единиц, образуемых сочетанием слов. Диремы и монорема м являются признаком двусоставности и односоставности самого предложения, а не синтаксических построений отдельных его членов. Между тем бинарная синтагма выступает не в одних только главных членах предложения. Монорема, равным образом, может быть выражена также и сочетанием слов, когда ее член синтагматизируется, передавая атрибутивные отношения. В самом составе предложения получаются свои синтаксические группировки, объединяющие сочетанием слов как весь остов предложения, так и отдельные его членения, что подтверждает и Ш. Балли, противопоставляя полную синтагму частичной (§ 161).

*

Закончив с обзором высказываний Ш. Балли, имеющих отношение к сочетаемым словам в предложении, остановимся специально на грамматических построениях синтаксических групп, положенных в основу настоящего сообщения. Этими группами передаются в двучленных грамматических формах сочетаемых слов предикативные, атрибутивные и объектные отношения. Можно выделить соответствующие синтаксические группировки: предикативные с полным содержанием целого предложения (ср. полные синтагмы у Ш. Балли), атрибутивные и объектные, выступающие в составе предложения (ср. частичные или редуцированные синтагмы). Эти синтаксические группы находятся во взаимоотношениях друг с другом. Члены предикативной группы могут синтагматизироваться, образуя атрибутивные и объектные группы, входящие в состав предикативной. Члены объектной группы могут образовывать при себе атрибутивную.

Предикативная синтаксическая группа передает субъектно-предикативные отношения двумя членами предложения — подлежащим и сказуемым. Данная синтаксическая группа, как и всякая другая, двучленна и по содержанию передаваемых отношений, и по их грамматическому выражению. При этом подлежащее заключает в себе субъект высказывания, а сказуемое совпадает с его предикатом. Эти два члена предложения могут обрастать своими признаками, образуя атрибутивную группу подлежащего и атрибутивную группу сказуемого, а также объектную. Предикативная синтаксическая группа соответствует содержанию целого предложения. Передавая оба его члена, она также совпадает с диремой (двучленным предложением). Выражая подлежащим и сказуемым субъект и предикат, она двучленна, как и передаваемые ею отношения, но те же два элемента этой группы могут сосредоточиваться и в одночленном предложении (в монореме).

Привожу несколько примеров, уточняющих положение предикативной синтаксической группы, ее отношения к другим синтаксическим группам и к передаваемым ими бинарным элементам высказывания.

Молния сверкнула — предикативная синтаксическая группа с подлежащим и сказуемым, передающими субъект и предикат высказывания. По своему грамматическому построению эта группа соответствует строю двучленного предложения (диреме).

Молния ярко сверкнула — та же синтаксическая группа с атрибутивной в составе сказуемого.

Дачник видит ярко сверкнувшую молнию — такая же синтаксическая группа с объектной в составе сказуемого и атрибутивной при объекте.

Дачник видел, как ярко сверкнула молния — две синтаксические предикативные группы; из них последняя получает значение объекта при переходном глаголе первой. Союз *как*, оттеняемый предшествующей паузой и интонацией, усиливает степень яркости, т. е. признака в атрибутивной группе сказуемого.

Как ярко сверкнула молния! — предикативная синтаксическая группа с атрибутивной в составе сказуемого. По построению она, как и в предыдущих примерах, соответствует диреме и передает предикативные отношения, в которые включаются атрибутивные.

Как ярко сверкнула! — одна атрибутивная группа сказуемого передает те же предикативные отношения. Субъект не выражен соответствующим членом предложения, но имеется в виду говорящим лицом. Выступает одночленная монорема (один член предложения, сказуемое с его признаком). Она передает то же содержание, что и синтаксическая предикативная группа.

В таком же положении находится атрибутивная синтаксическая группа. Она, равным образом, двучленна. Составляющие ее два члена (определение и определяемое) находятся в тех же отношениях взаимной зависимости, но они получают не предикативное, а атрибутивное содержание, что и отражается на занимаемой ими позиции в общей группировке слов предложения. В то время как предикативная группа передает субъектно-предикативные отношения, ложащиеся в основу всего предложения, атрибутивная группа образуется у одного из его членов и включается вместе с ним в состав предложения. Как замечает Ш. Балли, «всякий член предложения может быть синтагматизирован путем прибавления к нему определяющего, что не вносит никакого изменения в грамматическое значение этого члена» (§ 161)

Здесь в синтаксическую группу разворачивается не само предложение, образующее предикативную группу, а один из ее членов. В таком синтагматизируемом виде член предложения сохраняет свое прежнее значение. При нем образуется своя синтаксическая группа, которая включается в состав предложения вместе с ее ведущим членом. Определяющее при этом остается в тесной связи с определяемым им словом, как два элемента одного синтаксического целого. В таком развернутом, но все же едином члене предложения ведущее значение сохраняется за определяемым. Присоединяемый к нему признак уточняет его и в то же время сам обусловливается его содержанием настолько, что выступает в его же синтаксическом положении, когда само определяемое слово опускается; ср. *Сильные позиции благоприятны для выполнения фонемой ее функции, а слабые неблагоприятны.* Слово *позиции* синтагматизировано словом *сильные.* Подлежащим здесь выступает его атрибутивная группа, состоящая из определяемого и его определения, тогда как слово *слабые* вышло из состава такой же группы, но сохранило ее содержание. Тем самым это слово оказалось в грамматическом построении не определением, а самим подлежащим. Следовательно, определения и обстоятельства относятся не к членам предложения, а к членам синтаксической группы, получающим в ней зависимое положение.

В более сложном положении, чем показатели атрибутивных отношений, оказываются прямые дополнения, но и они, равным образом, подчиняются тем же принципам взаимной обусловленности. Косвенные дополнения с их обстоятельственным значением входят в состав атрибутивных группировок, связанных со сказуемым. Некоторое своеобразие представляет и прямое дополнение: оно оказывается определяющим членом объектной

группы, ведущим членом которой выступает переходный глагол. По утверждениям Ш. Балли, «не может быть переходного глагола без объектного дополнения и, наоборот, объектного дополнения без переходного глагола» (§ 155). Значит, и тут выступает та же бинарная схема. Переходный по своей семантике глагол сохраняет свое полное содержание только в двучленном построении.

Такое положение объектной группы наиболее ясно выступает в построениях эргативного предложения. Наличие в нем объектной группы и ее отсутствие при глаголе одной и той же основы отражается на падеже подлежащего, различаемого по переходности и непереходности действия. Например, в кабардинском: = *щIалэм тхылъыр йытхащ* «Юноша письмо написал»; *щIалэр тхащ* «Юноша писал». В первом из этих предложений стоит прямое дополнение *тхылъы-р* (в падеже на *-р*), включаемое в одну синтаксическую группу с глаголом *йы-тхащ*, имеющим субъектный префикс 3-го лица *-йы*, которым он согласуется с подлежащим *щIалэ-м* (в падеже на *-м*). Здесь имеется предикативная группа, в которую входит объектная, отделяющая комплекс сказуемого от подлежащего: *щIалэ-м/ тхылъы-р йы-тхащ* «Юноша/ письмо написал». Во втором предложении объектная группа отсутствует и остается одна предикативная с глаголом, лишенным субъектной префиксации, и с подлежащим в падеже на *-р*: *щIалэ-р тхащ* «Юноша писал». Получается предикативная группа непереходного действия с его падежом подлежащего; ср. *щIалэ-р жэйащ* «Юноша спал». Здесь в падеже на *-р* ставится именной член синтаксической группы (в первом примере объектной, а в других — предикативной в связи с отсутствием объектной).

Наличие прямого дополнения в эргативном строе предложения отражается на всем его построении. Это послужило основанием Н. Ф. Яковлеву, А. С. Чикобава и автору настоящей статьи для отнесения прямого дополнения к числу главных членов предложения наряду с подлежащим и сказуемым. Если подходить к строю предложения, учитывая выступающую в нем синтаксическую группировку слов, то в наше прежнее высказывание придется внести значительные уточнения. Взаимоотношения, устанавливаемые между переходным глаголом и связанным с ним объектом, прослеживаются во всех языках, но в эргативном строе предложения, при различных падежах подлежащего, объектная группа приобретает особое значение, так как в связи с нею подлежащее ставится не в именительном, а в одном из косвенных падежей или в специальном активном.

В основу кладется не прямое дополнение, а та непосредственная связь с именем, которая характерна для глагола. В объектной группе он входит в одну синтаксическую единицу с прямым дополнением; предикативные отношения между такой синтаксической группой и подлежащим устанавливаются особой грамматической формой подлежащего и соответствующим оформлением глагола (в приведенном примере из кабардинского языка — субъектным префиксом). При отсутствии прямого дополнения глагол лишается содержания объектной группы и входит сам в непосредственные взаимоотношения с подлежащим, т. е. в те же, как и с прямым дополнением в объектной группе. При отсутствии объектной группы глагол утрачивает значение переходности. В итоге падеж прямого дополнения и падеж подлежащего безобъектного действия совпадают. В таком же положении выступает именительный падеж в других языках с эргативной конструкцией предложения. В этих языках как прямое дополнение, так и подлежащее при непереходной форме глагола оформляются одинаково.

В упомянутых построениях эргативного предложения с полной отчетливостью выступает та бинарность содержания синтаксической группы, о которой говорит Ш. Балли. Слово, выражающее предмет, на который

направлено действие, сочетается с переходным глаголом. Следовательно, объект, наличный при непереходной форме глагола, не выступает в качестве объектного (прямого) дополнения.

Подтверждением сделанного вывода могут служить материалы языков, использующих инкорпорирование при эргативной конструкции предложения[1]; ср. чукот. *Гым торвыпэлягъак эмнун'кы* «Я нарты оставил в тундре». Здесь имеется объект *орвыт* «нарты», но он сливается с глаголом *пэля* «оставлять», стоящим в прошедшем времени с показателями субъекта в префиксе и суффиксе: *Гым т-орвыпэля-гъак* «Я нарты оставил» (показатели субъекта 1-го лица ед. числа *т-гъак*); ср. *Мури мыт-орвыпэля-мык* «Мы нарты оставили» (показатели субъекта 1-го лица мн. числа *мыт-мык*). Функция объекта в этих построениях не соответствует той, которая выполняется прямым дополнением. Тут выступает не предмет, на который направлено действие, а предмет, который характеризует совершаемое действие, передаваемое непереходной глагольной формой с ее субъектным строем спряжения.

В таких инкорпорированных построениях объект получает атрибутивное содержание и включается в одну атрибутивную (обстоятельственную) группу с глаголом, не изменяясь по числам (так, в приведенных выше примерах речь идет о действии, связанном с нартами вообще, а не с конкретной нартой). Эта группа входит в состав сказуемого. Во всем предложении выступает предикативная группа с подлежащим, стоящим в именительном падеже (*гым* «я», *мури* «мы»), и комплексом сказуемого, в котором глагол согласуется с подлежащим своими субъектными префиксом и суффиксом (непереходная форма). Прямого дополнения здесь нет, так как объект, получив атрибутивное содержание признака, сливается с глаголом. Нет, следовательно, и отдельной объектной группы.

Когда объект в том же чукотском языке не включается в инкорпорирование, строй предложения меняется: *Гымнан тыпэлянат орвыт эмнун' кы* «Я оставил нарты в тундре». Объект занимает место прямого дополнения, ставится в именительном падеже (*орвыт* «нарты») и, образуя объектную группу, согласуется с глаголом своим падежным окончанием и объектным глагольным суффиксом, передающим также число объекта (*-нат*). Объект *орвыт* стоит во множественном числе [ср. с тем же прямым дополнением в ед. числе (*оргоор* «нарта»): *Гымнан тыпэлягъан оргоор эмнун'кы* «Я оставил нарту в тундре»]. Выступающая тут объектная группа сказуемого сочетается с подлежащим при помощи субъектного глагольного префикса *ты-* (*ты-пэля-нат*, *ты-пэля-гъан*). Получается субъектно-объектное спряжение глагола: «я-оставил-их, я-оставил-его». Подлежащее стоит в эргативном творительном падеже (*гым-нан*), противополагая переходное действие непереходному. При непереходной форме глагола объект получает атрибутивное содержание. При переходной глагольной форме объект выделяется, вступая в связь с глаголом и образуя объектную группу сказуемого. Тем самым объектная группа противопоставляется атрибутивной. Последняя образуется при любом члене предложения и даже члене синтаксической группы, тогда как объектная встречается только при сказуемом переходного действия.

Особое положение прямого дополнения выступает также и в языках с номинативным строем предложения, в которых подлежащее ставится в одном и том же именительном падеже как при переходных, так и непереходных глаголах. Объектная группа выделяется тут особой грамматической формой прямого дополнения (винительный падеж) и неотделимостью его от глагола. Такая тесная связь прямого дополнения с переходным гла-

[1] Пользуюсь здесь примерами П. Я. Скорика и П. И. Инэнликей.

голом выступает также и тогда, когда в языках с таким же номинативным строем предложения именительный падеж совпадает с винительным; ср. франц. *Paul — bat Pierre* (пример взят у Ш. Балли).

Имеются языки, в которых при едином именительном падеже подлежащего прямой объект получает разное падежное оформление. Здесь его отношения к глаголу имеют свои варианты, оттеняющие более самостоятельное положение объекта или более тесную его связь с глаголом в пределах той же объектной группы. Тем самым уточняется содержание объектных группировок. Например, в самодийских и тюркских языках объект или примыкает к глаголу неоформленной падежом основой, или ставится в винительном падеже [ср. узб. *Ўқучи китоб ўқийди* «Ученик читает книгу (читает книги)» и *Ўқучи бу китобни ўқийди* «Ученик эту книгу читает»].

В последнем примере имеется объектная группа сказуемого, в состав которой включена атрибутивная при прямом дополнении (*бу китобни* «эту книгу»). Объект, предваряемый признаком, придающим ему определенное значение, ставится всегда в винительном падеже (*китоб-ни*). Но в этом же падеже может стоять прямое дополнение и без сопровождающего признака. Само падежное окончание уже выражает определенность предмета (именно книгу). Тут, равным образом, выступает объектная группа с глаголом и тем же винительным падежом прямого дополнения (*китобни ўқийди* «книгу читает»); ср. синтаксические группировки в развернутом предложении, образующем одну предикативную группу с тремя атрибутивными, входящими в нее: *Ёш ўқучи /бу китобни/ яхши ўқийди* «Молодой ученик /эту книгу/ хорошо читает». Две последние образуют синтаксическую группу сказуемого при одной атрибутивной группе подлежащего. Их совокупность образует предикативную группу.

В первом из приведенных выше примеров объект занимает иное положение: *ўқчи/ китоб ўқийди* «Ученик/ книгу читает». В синтаксической группе, развернутой при сказуемом, к глаголу примыкает неопределенный объект, стоящий в основном падеже (абсолютном), совпадающем с основой имени (*китоб* «книга» с ее общим, абстрактным содержанием); ср. *ўқучи/бир китоб ўқийди* «Ученик/ одну (какую-то) книгу читает». Здесь к глаголу примыкает объект вместе со своим «признаком», но вместо признака выступает неопределенный член, в связи с чем примыкающий объект продолжает оставаться неуточненным. Все же он уточняет собою описываемое действие («занимается чтением книги»). Этим примыкаемый объект, до известной степени, сближается по своему содержанию с приведенным выше инкорпорированным объектом в составе сказуемого.

В тех языках, в которых прямое дополнение всегда выступает в форме винительного падежа, объектная группа ясно выделяется в своем двучленном составе. Оба ее члена оказываются тесно связанными. В русском языке переходное действие требует наличия прямого дополнения: *Юноша/ писал письмо*. Отсутствие объектной группы придает тому же глаголу содержание состояния: *Юноша писал* («был занят писанием»); ср. *Юноша спал*. Тем самым уточняется значение объектной синтаксической группы, связанной с двучленностью переходного действия. Переходный глагол требует наличия прямого дополнения, и, наоборот, прямое дополнение сочетается только с переходным глаголом. Последний, при отсутствии прямого дополнения, утрачивает полноту своего содержания. Получается взаимная обусловленность членов синтаксического построения.

Такая взаимная обусловленность членов синтаксической группы выступает в ином положении, когда вместо прямого дополнения с глаголом сочетается косвенное, не получающее атрибутивного содержания обстоятельственного слова. Косвенное дополнение с атрибутивным содержанием может быть включено в общую серию атрибутивных группировок, посколь-

ку такое дополнение выступает с функцией определяющего члена. Но когда косвенное дополнение подобной функции не выполняет, оно занимает в своих соотношениях с глаголом особое место. Такое косвенное дополнение, управляемое глаголом, включается в одну с ним синтаксическую группу, но входит с ним в другие отношения, чем прямое дополнение (последнее соединяется с переходным глаголом двучленностью своей взаимной связи).

Косвенное дополнение не находится в такой же тесной связи с глаголом. На семантике глагола не отражается отсутствие косвенного дополнения, тогда как грамматическая форма последнего управляется глаголом. Устанавливаемые между ними отношения остаются односторонними; ср.: *Он читал книгу* (предикативная группа с включением в нее объектной), *Он читал* (одна предикативная группа, в которой глагол, лишенный прямого дополнения, сочетается только с подлежащим); *Он читал сестре* (та же группа с косвенным дополнением при глаголе; это дополнение указывает на направленность действия). Получившуюся тут группировку глагола с косвенным объектом, в отличие от группировки с прямым дополнением, можно было бы, используя терминологию Ш. Балли, назвать «редуцированной» (редуцированная объектная группа).

Эта синтаксическая группа выступает, когда косвенное дополнение сочетается с глаголом, при котором нет прямого дополнения. При его наличии косвенное дополнение включается в состав объектной группы без изменения своего содержания, отличающего его от атрибутивного; ср. *Он читал книгу своей сестры* (предикативная группа с объектной, в состав которой вошла атрибутивная *книгу своей сестры*), *Он читал книгу своей сестре* (в объектную группу с прямым дополнением включилась атрибутивная при косвенном дополнении *своей сестре*). Переходность действия передается переходным глаголом с прямым дополнением. Это переходное действие уточняется косвенным дополнением, отмечающим, для кого или чем оно выполняется. Отсутствие прямого дополнения ставит косвенное в непосредственную связь с глаголом: *Он читал сестре*, *Он писал пером* (редуцированная объектная группа в составе предикативной).

Выделяются, таким образом, синтаксические группы: предикативная, атрибутивная (с определяющим членом, выражаемым определением и обстоятельством), объектная (с прямым и косвенным дополнениями). В предложении, передаваемом предикативной группой, остальные две с их разновидностями распределяются по ее главным членам, образуя синтаксические группировки, связанные с подлежащим и со сказуемым; ср. *Брат отца быстро писал своей племяннице длинную записку хорошо отточенным карандашом* (предикативная группа с атрибутивной в составе подлежащего и с объектной в сказуемом; в эту группу вошли атрибутивные группы при глаголе, при прямом дополнении и при двух косвенных). Оканчивая на этом разбор различных построений синтаксических групп, позволю себе сделать по ним некоторые выводы.

*

Выделяемые мною синтаксические группы рассматриваются как двучленные построения, передающие предикативные, атрибутивные и объектные отношения. Первая из них по своему содержанию соответствует предложению. Вторая и третья представляют собой двучленные по своему составу части предложения. Такие синтаксические группы оказываются двучленными и по содержанию указанных отношений, и по их грамматической передаче. Так, субъектно-предикативные отношения получают свое выражение в главных членах предложения, в подлежащем и сказуемом.

В атрибутивных группах атрибуту и определяемому отвечают определение и определяемое. В объектных — переходное действие и объект передаются переходным глаголом и прямым дополнением, образующими вместе одну объектную группу сказуемого.

Те отношения, которые являются основой предикативной синтаксической группы, выступают в парных сочетаниях элементов высказывания, отмечаемых Ш. Балли (субъект и предикат). Для их выражения в строе предложения используются его грамматические категории (подлежащее и сказуемое). Между последними и первыми устанавливается определенная связь. Субъект и предикат не тождественны подлежащему и сказуемому, хотя последние и являются выразителями субъекта и предиката в грамматическом построении предложения. Субъект может быть передан и вне подлежащего. Следовательно, субъект и подлежащее не отождествляются, а сопоставляются. Субъект содержит понятие, являющееся основой высказывания; в подлежащем это понятие получает свое грамматическое выражение. Отсюда можно прийти к выводу, что синтаксическая группа, двучленная по содержанию упомянутых выше элементов высказывания, также двучленна по их передаче в грамматических построениях сочетаемых слов.

Когда Ш. Балли постулирует двучленность высказывания, он имеет в виду не само синтаксическое построение, а те понятия («тема» и «повод»), которые ложатся в его основу. Само высказывание, как указывает Ш. Балли, может выступать и в одночленном составе предложения. Подлежащее может в нем отсутствовать, но наличие субъектно-предикативных отношений обязательно. Предложения бывают по их синтаксическому построению двучленными и одночленными, но и теми и другими передаются имеющиеся в высказывании всегда двучленные отношения. Субъект высказывания связан с предикатом («тема» с «поводом») так же, как атрибут с определяемым, переходное действие с объектом. Они, как говорит Ш. Балли, бинарны.

Такая бинарность относится к указываемым Ш. Балли элементам высказывания, которые выступают как в двучленных синтаксических построениях, так и в одночленных. За такими бинарными элементами высказывания можно было бы закрепить термин «б и н а р м а», в отличие от с и н т а к с и ч е с к о й г р у п п ы, передающей ее посредством двух лексических единиц. Эти две различаемые мною категории (понятийная и грамматическая), т. е. указанные выше элементы высказывания (субъект, предикат и т. д.) и передающие их грамматические единицы, рассматриваются в данной статье везде в их взаимоотношениях.

В такие бинармы включаются субъект и предикат, признак при определяемом, объект при переходном действии. Одни и те же предикативные отношения сохраняются как в двучленных предложениях с грамматической передачей субъекта и предиката подлежащим и сказуемым, так и в одночленных предложениях с грамматической передачей только одного из них. Грамматические построения предложения выделяются особенностями своей собственной структуры. Последняя, при сравнении ее с бинармами, сопоставляется с ними как грамматическая форма с вложенным в нее содержанием предикативных отношений.

Для обозначения этих грамматических построений можно воспользоваться вводимыми А. Сэшеэ и повторяемыми Ш. Балли терминами «дирема» (двучленное грамматическое построение) и «монорема» (одночленное грамматическое построение); ср. *Дождь идет* — дирема, в которой субъект и предикат передаются соответствующими членами предложения. Тут выступает двучленная дирема (грамматическая единица) и двучленная бинарма (единица высказывания), что и составляет синтаксическую группу.

Ср. те же слова, употребленные отдельно с особой интонацией: *Дождь*! *Идет*!— монаремы. Синтаксическая группа отсутствует, так как имеется лишь один не синтагматизированный член предложения, содержание же бинармы остается тем же.

В первом примере опущено сказуемое, констатирующее действие обозначенного тут субъекта («дождя»), во втором передается действие без упоминания самого субъекта. В таких одночленных предложениях содержится законченное высказывание, в котором выступает всегда двучленная бинарма. Недостающие грамматически оформленные члены предложения (в одном случае предикат, а в другом субъект) восполняются интонацией и наличием самого утверждаемого факта, имеющегося в виду говорящим лицом. Поэтому субъектно-предикативные отношения выступают полностью в обоих примерах, так же как и в приведенной диреме.

Еще А. А. Потебня указывал на то, что «грамматическое предложение вовсе не тождественно и не параллельно с логическим суждением. Названия двух членов последнего (подлежащее и сказуемое) одинаково с названием двух из членов предложения, но значения этих названий в грамматике и логике различны. Термины „подлежащее", „сказуемое" добыты из наблюдения над словесным предложением»[1]. О таком же их совпадении с психологическими субъектом и предикатом говорит и Ш. Балли (§ 105). Основываясь на этих высказываниях и развивая их, можно прийти к выводу, что не только подлежащее и сказуемое, но и такие используемые здесь нами термины, как субъект и предикат, передают чисто языковые понятия. Они устанавливаются анализом грамматического строя, содержания выступающих в нем языковых единиц, а также способов передачи существующих между ними отношений.

Выступающие в грамматическом построении субъект и предикат не тождественны ни с психологическими субъектом и предикатом, ни с выделяемыми в грамматике подлежащим и сказуемым. Разберем несколько подробнее содержание терминов «субъект», «предикат», «подлежащее» и «сказуемое». Под подлежащим разумеется субъект, переданный отдельным членом предложения. Здесь языковая понятийная категория сопоставляется с грамматической категорией. Субъект и предикат — члены предикативной бинармы, состоящей из этих двух языковых элементов (языковых понятийных категорий); подлежащее и сказуемое — главные члены предложения (языковые грамматические категории).

То, что субъект и предикат, в таком их понимании, являются языковыми единицами, подтверждается также и тем, что они выступают в членах предикативных синтаксических групп, передающих взаимоотношения между этими двумя единицами. В таких же взаимоотношениях находятся и члены атрибутивной группы, т. е. двусоставной синтаксической единицы. В ней атрибут передает отношения между определяющим и определяемым, совпадающими в этом смысле с положением, которое занимают в строе предложения определение и определяемое. Но поскольку атрибут (определитель) входит в состав атрибутивной бинармы и выступает членом соответствующей синтаксической двусоставной группировки, постольку и определение, так же как и обстоятельство, выступает не самостоятельным членом предложения, а членом названной синтаксической группы.

«Целью сообщения,— говорит Ш. Балли,— может быть чувство восхищения, но это восхищение должно иметь свою причину; недостаточно сказать „великолепно!", нужно, чтобы знали, что именно находят великолепным» (§ 61). Тут выступает бинарма. Передаваемая в строе речи опре-

[1] А. Потебня, Из записок по русской грамматике, т. I, Воронеж, 1874, стр. 80—81.

деленным синтаксическим построением, она может выступать в своем полном составе; ср. *Она великолепно поет*. Бинарма может выступать и в виде одного предиката, состоящего из атрибутивной группы: *Великолепно поет*. Она может выступать также одним атрибутом: *Великолепно!* Атрибут, восполняемый здесь интонацией и соответствующей обстановкой, замещает всю атрибутивную группу сказуемого, которое, в этом его виде, передает содержание всей предикативной группы. В итоге *Великолепно!* оказывается законченным высказыванием, т. е. предложением, но перестает быть синтаксической группой.

Синтаксические группы передают двучленные отношения (предикативные, атрибутивные и объектные). По способу передачи этих отношений они тоже двучленны. В них используются сочетания слов, вступающих в устанавливаемые взаимоотношения. Подлежащее без сказуемого и, наоборот, сказуемое без подлежащего не образуют предикативной синтаксической группы. Такая же двучленность сочетаемых слов имеется также в атрибутивных и объектных синтаксических группах. Передавая атрибутивные и объектные отношения, они выступают в сочетаниях определения с определяемым, переходного глагола с прямым дополнением. Выпадение одного из этих членов нарушает цельность синтаксической группы. Для нее требуется двучленность в лексическом составе и наличие бинармы, всегда двучленной.

Бинармой передаются те отношения, которые существуют между субъектом и предикатом, между признаком и определяемым словом, между переходным действием и предметом его направленности. Эти отношения бинарны по составу понятий, положенных в их основу. Такие парные понятия, объединяемые бинармой, выступают в качестве элементов передаваемых отношений, получающих различное грамматическое выражение в строении предложения. Следовательно, под бинармой понимается содержание отношений предикативных, атрибутивных и объектных. Они не могут рассматриваться оторванно от их формального выражения в синтаксических построениях, по которым они и устанавливаются. Это обусловливает отнесение их также к числу языковых категорий. Выступая в сочетаниях слов, они образуют синтаксические группы.

Такие синтаксические группы соответствовали бы тем, которые Ш. Балли именует синтагмами, если бы последние не отождествлялись им с упомянутыми выше элементами бинарных отношений, а рассматривались бы как их выразители в грамматических построениях сочетаемых слов. Нам кажется, что за указанными синтаксическими построениями необходимо сохранить наименование «синтаксической группы», поскольку под ними понимаются сочетания слов, соединяемых между собой теми отношениями, с которыми они выступают в предложении, образуя в нем одну двучленную или многочленную синтаксическую единицу. В настоящем обзоре мы останавливаемся специально лишь на тех отношениях, которые обусловливают собой синтаксические конструкции и образуют в них различного вида синтаксические группировки слов. В основу этих группировок ложится функциональное назначение, выполняемое грамматической формой в соответствующих синтаксических построениях. В них сочетаниями слов передаются отношения между этими, используемыми синтаксисом, лексическими единицами. Функцией выступает выражение указанных отношений, ее грамматической формой оказывается синтаксическая группа.

Тем самым оправдывается более детальное рассмотрение синтаксических построений, назначением которых является выражение в грамматической форме отношений, которые положены в основу всей конструкции предложения. Такими передатчиками соответствующих отношений, при использовании в предложении сочетания слов, являются синтаксиче-

ские группы. На них мы и останавливаемся. Мы рассматриваем не различные выражения бинарных элементов высказывания, именуемых Ш. Балли «синтагмой», а виды синтаксических конструкций, функцией которых является передача бинарных отношений сочетаемыми словами. Основой структуры предложения являются предикативные отношения. В составе предложения слова группируются по атрибутивным и объектным отношениям. Предикативная синтаксическая группа соответствует диреме с ее законченным содержанием. Атрибутивная и объектная группы, образуясь внутри такой диремы, того же законченного содержания не имеют, но они же выступают и в монореме, когда такое одночленное предложение составляется из сочетаемых слов.

Ф. Ф. Фортунатов называет такие синтаксические группы словосочетаниями, разделяя их на законченные и незаконченные, что соответствует предикативным и атрибутивным группировкам [1]. Наименование их словосочетаниями сохраняется и в изданной Академией наук СССР «Грамматике русского языка» [2]. Проводимое здесь приравнивание синтаксических групп к словосочетаниям представляется недостаточным для их характеристики, так как оно не дает точного определения тех функций, которые выполняются синтаксической группой. Под последней разумеется не всякое сочетание слов, а лишь такое, которым передаются упомянутые выше бинарные отношения, тогда как под словосочетания подойдут также фразеологические единицы и даже лексические.

Более подходящим наименованием рассматриваемых нами синтаксических группировок была бы синтагма, которая по внутренней форме самого термина связывается с синтаксисом. Но широко используемый в научной литературе термин «синтагма» получает в ней самое различное содержание, причем придаваемое синтагме значение не везде ограничивается одной синтаксической единицей и не всегда соответствует группировке сочетаемых слов.

И. А. Бодуэн де Куртенэ придает синтагме содержание синтаксической единицы, но связывает ее с различным положением слова. Он противопоставляет слово в его синтаксической позиции отдельно взятому слову как обособленной лексической единице. Последнее он называет лексемой, а первое синтагмой.

Равным образом и Л. В. Щерба в своей работе «О частях речи в русском языке» именует синтагмой «простейшее синтаксическое целое» [3]. Но он же в «Фонетике французского языка», учитывая высказывания М. Граммона и П. Пасси, определяет синтагмы, исходя из их фонетических особенностей. Л. В. Щерба выделяет ритмические группы, синтагмы и фразы. Синтагмой он называет «фонетическое единство, выражающее единое смысловое целое в процессе речи-мысли и могущее состоять как из одной ритмической группы, так и из целого ряда их» [4].

В. В. Виноградов определяет синтагму как семантико-синтаксическую единицу речи, отражающую «кусочек действительности», наполненную живой экспрессией и интонацией данного сообщения [5]. Такая синтагма «ни по объему, ни по составу, ни по функциональному употреблению в речи может не совпадать с словосочетанием» [6]. Ср. приводимый пример: «пред-

[1] Ф. Ф. Фортунатов, Избр. труды, т. I, М., 1956, стр. 182—183.

[2] «Грамматика русского языка», т. II, ч. 1, М., Изд. АН СССР, 1954, стр. 10.

[3] Л. В. Щерба, О частях речи в русском языке, сб. «Русская речь», под ред. Л. В. Щербы, Новая серия. II, Л., 1928, стр. 22.

[4] Л. В. Щерба, Фонетика французского языка, 5-е изд., М., 1955, стр. 86—87.

[5] В. В. Виноградов, Понятие синтагмы в синтаксисе русского языка, сб. «Вопросы синтаксиса современного русского языка», под ред. акад. В. В. Виноградова, М., 1950, стр. 253.

[6] Там же, стр. 255.

ложение *усталая, она нуждалась в отдыхе* представляет собою сочетание двух синтагм: *усталая,/ она нуждалась в отдыхе*. Синтагма *усталая*, выдвинутая на первое место, приобретает особенный экспрессивный вес»[1].

На синтагме специально останавливается и Ф. де Соссюр, придавая ей более широкое значение. К синтагмам он относит сочетание двух или нескольких элементов языка, противопоставляемых друг другу[2]. Такой подход к синтагме он обусловливает тем, что «материальная единица существует лишь в меру своего смысла, в меру той функции, которой она облечена... И обратно... смысл, функция существует лишь благодаря наличию какой-то материальной формы». Формулируя эти положения, Ф. де Соссюр имеет в виду распространенные синтагмы, синтаксические типы, так как «есть тенденция рассматривать их как нематериальные абстракции, парящие над элементами фразы»[3].

Столь же широкое значение придает синтагме и А. А. Реформатский[4]. К синтагмам он относит «сочетание двух членов, связанных тем или иным подчинительным отношением». Такими членами-синтагмами он считает сочетание как слов (внешняя синтагма), так и морфологических частей слова, например *дом-ик*, где *дом-* выступает определяемым, а суффикс *-ик* определяющим (внутренняя синтагма). Тут же упоминаются одночленные предложения, состоящие из одного слова (скрытые синтагмы), а также лексикализованные выражения и отдельные случаи, когда в качестве синтагмы выступают сложные предложения, члены которых имеют свою предикацию.

Даваемое Ш. Балли определение синтагмы, ограниченное выражением предикативных и атрибутивных отношений, приведено выше. Синтагматические отношения усматриваются Ш. Балли также и в имплицитном построении синтагмы, даже в грамматическом оформлении слова (§§ 157, 301). О синтагматических отношениях упоминается и в тезисах Пражского лингвистического кружка. В них говорится о свободном сочетании слов, возводимом к синтагматической деятельности, причем указывается, что «эта деятельность проявляется иногда и в форме отдельного слова»[5].

Синтагма не получила в научной литературе устойчивого содержания. Она отождествляется не только с синтаксическими группировками слов, передающих предикативные и атрибутивные отношения, но и с ритмическими группами. Она же получает наименование «словосочетания», имеющего не одно только синтаксическое значение. К синтагмам отнесены также всякого рода сочетания противоположных единиц, в число которых лишь частично включаются синтаксические построения. Такое разнообразие содержания, придаваемого синтагме, затрудняет использование данного термина для обозначения выделяемых в предложении синтаксически группируемых слов.

Ж. Вандриес, выдвигая типологические сравнения разносистемных языков, ставит целью выявление на их основе наиболее существенных языковых категорий, оказывающихся общими для всех языков[6]. В число таких общеязыковых категорий включаются отмеченные синтагматические отно-

---

[1] В. В. Виноградов, Понятие синтагмы в синтаксисе русского языка, стр. 256.

[2] Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, [перевод с франц.], Н., 1933, ч. II, гл. V, стр. 121—123.

[3] Там же, гл. VIII, стр. 133.

[4] А. А. Реформатский, Введение в языкознание, М., 1955, стр. 252—259.

[5] См. Thèses, Travaux du Cercle linguistique de Prague, 1, 1929, стр. стр. 13.

[6] J. Vendyes, La comparaison en linguistique, «Bull. de la Soeié de li guistique de Paris», t. XLII, (1942—1945), fasc. 1, 1946, стр. 1—18. Критические замечания об этой статье Ж. Вандриеса даны Л. Ельмслевом в «Acta linguistica» (vol. IV, fasc. 3, 1944 [отпечатано в 1948 г.], стр. 144—147).

шения, занимающие ведущее место в строении предложения. Они получают в сопоставляемых языках различную грамматическую форму, но они же во всех языках выделяются общностью функционального назначения. Подобного рода общеязыковые категории поддаются сравнению, если принять во внимание тождество выполняемой функции. В связи с этим обращают на себя внимание выдвигаемые Ш. Балли положения о синтагматических отношениях. Все же, усматривая в синтагме «продукт грамматического отношения взаимозависимости между двумя лексическими знаками, принадлежащими к двум дополняющим друг друга категориям» (§ 155), Ш. Балли относит к синтагмам также и композиты, типа франц. *pot-à-eau*, нем. *Wassertopf* (§ 141). Таким образом, и тут в синтагму включается лексическая единица («виртуальная синтагма»).

Определение синтагмы, которое дается Ш. Балли, не отступает от синтаксиса только тогда, когда в основу синтагмы он кладет содержание синтаксически передаваемых предикативных отношений, а также атрибутивных, образующих редуцированную синтагму. Материалом для выражения синтагмы служат лексические единицы и их грамматические формы, в число которых включается также и интонация с выражением живой экспрессии. Ср. *Великолепно!* (*усталая* в примере, приводимом В. В. Виноградовым). Такая синтагма, выступающая в качестве языковой категории, может быть передана одной лексической единицей и сочетанием их. Наиболее приемлемыми определениями синтагмы представляются мне те, которые даются в трудах Л. В. Щербы и В. В. Виноградова.

Синтаксическая группа и при таком понимании синтагмы займет свое особое положение как семантико-синтаксическая единица, передающая предикативные, атрибутивные и объектные отношения соответствующими сочетаниями слов.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1958

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

МАТЕРИАЛЫ К IV МЕЖДУНАРОДНОМУ СЪЕЗДУ СЛАВИСТОВ*

Вопрос № 22. **К каким периодам относятся факты разделения славян на основные ветви?**

При ответе на этот вопрос надо исходить в одинаковой степени из данных как языкознания, так и истории, поскольку ни один из этих разделов науки, взятый обособленно, не дает достаточного материала для разрешения вопроса. За последние двадцать лет лингвистические исследования распада языкового праславянского единства выявили достаточно много фактов, которые позволяют уточнить процессы расслоения праславянского языка на диалекты. Эти процессы, как и все подобные им изменения в группировке диалектов, были следствием разнообразных передвижений и миграций, которые укрепляли или ослабляли первоначальные связи между различными группами славянского населения, что в конце концов привело к распаду старой праславянской общности и к возникновению на территории, заселенной славянами, известных в истории и существующих в настоящее время трех групп славянских языков и народов: западной, восточной и южной[1]. Исторические данные, касающиеся общественно-политических основ этих процессов, слишком незначительны, так что в основном мы вынуждены довольствоваться лингвистическим рассмотрением направления и протекания этих процессов.

На основании всего сказанного о формировании и составных частях праславянского этнически-языкового единства, а также о различных перегруппировках этих составных частей напрашивается вывод, что с са-

---

* «Вопросы языкознания» продолжают публикацию отдельных ответов на вопросы, поставленные перед участниками предстоящего IV Международного съезда славистов.

В этом номере мы помещаем ответы Т. Лера-Сплавинского и Э. Дикенмана на вопрос № 22 «К каким периодам относятся факты разделения славян на основные ветви?», в которых продолжается рассмотрение проблем, связанных со славянской прародиной, и ответ А. В. Исаченко на вопрос № 3 «Какова специфика литературного двуязычия в истории славянских народов?», в котором отражен ряд новых проблем, требующих своего разрешения.

Ответ Т. Лера-Сплавинского печатается в переводе Л. Е. Бокаревой, а ответ Э. Дикенмана — в переводе В. Н. Григорьева.

[1] Вопрос о диалектных различиях праславянского языка рассмотрен мною в нескольких работах. См: «O dialektach prasłowiańskich» («Sborník prací I. Sjezdu slovanských filologů v Praze, 1929», sv. II, Praha, 1932); «Początki Słowian», Kraków, 1946 («Biblioteka Studium Słowiańskiego uniwersytetu Jagiellońskiego», Seria B, № 1—4); «Przegląd i charakterystyka języków słowiańskich» (совместно с В. Курашкевичем и Ф. Славским; Warszawa, 1954). Ср. также рассмотрение этого вопроса при помощи метода математической статистики в статье: J. Czekanowskiego («Sborník prací I. Sjezdu slovanských filologů v Praze, 1929», sv. II).

В последнее время вопрос о фонологической дифференциации праславянских диалектов разрабатывал А. Фурдаль, диссертация которого будет печататься в изданиях Польской Акад. наук.

мого начала в пределах этого единства должны были существовать какие-то, часто, наверняка, непостоянные диалектные различия. Однако мы не располагаем данными о диалектных различиях в языке древнейшей фазы развития праславянства. Все же с достаточным основанием мы можем предполагать, что наиболее глубокая и древняя граница между праславянскими диалектами проходила примерно вдоль правого берега верхнего и среднего Буга, так как на этой линии соприкасались две в какой-то степени генетически различные части праславянского единства: западная, развившаяся на этнической основе лужицкой культуры, и восточная, выросшая в результате лужицкого наслоения на субстрат, связанный с трипольской и другими культурами юго-восточной Европы. Вначале очень отчетливая и только со временем уменьшившаяся разница между культурами двух *областей праславянства, видимо, соответствовала этническому* различию между ними и должна была находить отражение в языковых различиях, представляющих собой, вероятно, наиболее древнее и существенное деление праславянского языка на диалекты. Мы не располагаем, однако, какими-либо конкретными данными, способными показать, на чем основывалось это разделение в языковом отношении.

Первые диалектные различия праславянского языка, которые удалось обнаружить, связаны с группой явлений, объединенных под названием II палатализации заднеязычных согласных в праславянском языке. Здесь речь идет о различной на западе и востоке праславянской территории передаче сочетаний *kv-*, *gv-* в положении перед вторичными гласными переднего ряда *ě* и *i* дифтонгического происхождения: эти сочетания в данной позиции в соответствии с общим процессом II палатализации перешли в *cv-* и *zv-* лишь в говорах востока праславянской территории (из которых произошли восточные и южные славянские языки), а в западно-праславянских говорах (из которых позднее возникли западные славянские языки) эти сочетания сохранились без изменения. Кроме того, различна передача возникшего в результате II палатализации *ś*($\leqslant \acute{x} + \check{e}_2$, i_2):*š* — в западно-праславянских говорах и *ś* — в восточно-праславянских говорах.

Обе эти черты, делящие праславянскую территорию на две части, западную и восточную,— в соответствии с предполагаемым древнейшим разделением — не могут быть старше палатализации заднеязычных согласных, действие которой на основании определенных данных можно датировать периодом времени между II—III вв. н. э.[1], не могут относиться непосредственно к предположенному наиболее древнему диалектному разделению, но могут свидетельствовать о том, что разделение это имело очень продолжительный характер, в пользу чего говорит расположение диалектных изоглосс последующих нескольких веков.

Вскоре после этого система диалектных отношений в праславянстве подверглась далеко идущим изменениям, выражением чего было *появление* языковых различий, свойственных диалектам, которые стали затем основой для возникновения южнославянских языков, в противоположность диалектам, из которых возникли западнославянские и восточнославянские языки. (Например, сочетания типа *ort-*, *olt-* у южных славян во всех случаях развиваются в *rat-*, *lat-*, в то время как у западных и у восточных славян в *rat-*, *lat-* перешли сочетания *ort-*, *olt-* только под так называемой акутовой интонацией, а те же сочетания под циркумфлексной интонацией сохранили первоначальное *-o-*: *rot-*, *lot-*. Параллельно по-разному происходит объединение окончаний род. падежа ед. числа существительных с основой на *-ja* и окончаний им.-вин. падежа мн. числа существительных

[1] Ср. T. Lehr-Spławiński, Próba datowania tzw. II palatalizacji spółgłosek tylnojęzykowych w języku prasłowiańskim, «Studia z filologii polskiej i słowiańskiej», 1, Warszawa, 1955, стр. 375—383.

с основой на *-ja* и *-jo*: в южных говорах существительные получают окончание *-ę*, а в западных и восточных говорах — окончание *ě*. Все это свидетельствует о новом разделении праславянских наречий на южное и северное, из которых северное наречие охватило старое западное и часть восточного, а в состав южного вошла только часть старого восточного наречия.

Период отделения южной части невозможно определить хронологически на основании только языкового материала: несомненно, ее отделение было результатом ослабления языковых связей между двумя группами племен, издавна входивших в состав восточно-праславянского диалекта, в результате того, что эти группы были разделены цепью Карпатских гор и к тому же одна из них начала постепенное продвижение на юг через так называемую Венгерскую котловину вдоль Тиссы и среднего Дуная. Археологические и древнейшие топонимические следы такого передвижения появляются на данной территории в течение III—IV в. н. э. Следовательно, именно к этому периоду должна относиться вторая стадия диалектной дифференциации праславянского единства, существовавшая недолго. Примерно в тот же период началось постепенное распадение западно-праславянской диалектной группы: часть входящих в ее состав племен, предки чехов и словаков, начала продвигаться в юго-западном и западном направлении, переступая пределы западных Карпат и Судет, утрачивая в какой-то степени языковой контакт с остальными западно-праславянскими племенами и усиливая свои связи с южными племенами.

Отражением этих процессов явилась передача сочетаний типа *tort*, *tolt*, *tert*, *telt*, которые в говорах предков чехов и словаков изменились, как и в речи южных славян, в *trat*, *tlat*, *trět*, *tlět*, в то время как в речи остальных западнославянских племен, так же как и у восточных славян, в этих группах сохранились гласные *-o-* и *-e-*, хотя их развитие не было совершенно одинаковым во всех этих севернославянских наречиях. В говорах предков лехитских и лужицких племен произошла обыкновенная перестановка плавных согласных и гласных *-o-*, *-e-* (*trot*, *tlot*, *tret*, *tlet*), а в говорах восточных славян эти сочетания изменились в так называемые полногласия (*torot*, *tolot*, *teret*, *tolot*), которые представляли с древнейших времен одну из наиболее характерных восточнославянских диалектных особенностей. Таким образом, три разных результата развития сочетаний типа *tort*, *tolt*, *tert*, *telt* в праславянском языке свидетельствуют о существовании уже в тот период (видимо, в конце IV в. н. э.) разделения языкового единства на три диалектные группы, из которых две оставались на старой территории за северо-восточной цепью Карпат и Судетов, а третья — очень неоднородная — заполняла котловину, окруженную этими горами, и распространялась все дальше в западном и южном направлении, постепенно просачиваясь на территорию современной южной Германии и все сильнее проникая на Балканский полуостров.

Однако и этот раздел славянского мира пока еще не соответствовал в полной мере более позднему, существующему до сегодняшнего дня делению, так как впоследствии чешские и словацкие племена сближались с южными славянами в большей степени, чем с оставшимися на северных отрогах Карпат и Судет. В таком состоянии эти племена тоже находились недолго: ему положило конец, видимо, нашествие кочевого племени аваров, которые вторглись в пределы Венгерской котловины на рубеже V—VI вв. н. э. и образовали там в VI в. мощное государство, распространяющее свою власть на многочисленные славянские племена от западных берегов Черного моря до подножья Альп и южных склонов Карпат. Это должно было значительно ослабить общественно-экономические и языковые связи между словацко-чешскими и южнославянскими племенами.

К полному разрыву этих связей привело окончательное поселение в IX—X вв. в долине реки Тиссы и среднего Дуная воинственного племени угро-финских мадьяр (славяне называют их венграми), которые создали здесь (на развалинах бывшего Великоморавского государства) сильное и прочное государство. В связи с этим вторжением, видимо, уже между VI — VIII вв., предки чехов и словаков, отрезанные с юга, завязали новые, более прочные контакты со своими северо-восточными славянскими соседями и оказались на пути возвращения в пределы диалектной западнославянской группы. Это нашло свое языковое отражение в образовании ряда новых языковых черт, связывающих их с лужицкими и лехитскими племенами, в первую очередь общего с ними развития звуков, полученных из старых сочетаний *dj*, *tj*, *kt'*; в *ʒ* (⩾чеш.-словацк. *z*) и *c*. Параллельно с этим те же самые сочетания с небольшими отличиями развились в говорах восточных славян (*ž*, *č*) и совершенно отлично и противоречиво у южных славян (хорв. *ʒ́*, *ć*; словенск. *č* — *j*, *č*; болг.-макед. *žd*, *št*).

Из этого можно заключить, что языковой славянский мир распадался в тот период на три диалектные группы, соответствующие по историческому расположению существующим и до сегодняшнего дня трем группам славянских языков: западной, восточной и южной. К тому же не вызывает сомнения, что в ту эпоху — около VI—VII вв. н. э.— эти группы нельзя уже называть праславянскими, так как территориальная экспансия славянских племен охватила настолько широкие пространства, что непосредственная языковая связь, образующая основное условие общности развития, не могла продолжаться между ними. Праславянское языковое единство относилось, следовательно, уже к прошлому.

Т. Лер-Сплавинский (Краков)

Изучение истории народов, соседних с древними славянами, т. е. скифов, сарматов, фракийцев (особенно даков), германцев, балтов, финнов, приводит к выводу о том, что славяне, видимо, довольно долго занимали сравнительно небольшое пространство за Карпатами. Об относительно позднем его расширении свидетельствует также тот факт, что еще в эпоху создания древнейших письменных памятников славянские языки были весьма близки друг другу (ср. хотя бы древнеболгарский и древнерусский). Не случайно и отсутствие более или менее достоверных исторических свидетельств о славянах до VI в. н. э. Несомненно, что расширение занимаемой ими территории находится в тесной связи с так называемым переселением народов, точнее — с многочисленными, охватывающими большое пространство и значительный период времени перемещениями народов. Эти перемещения, начавшиеся еще до н. э., в основной своей массе относятся к III—IV вв. н. э.

Прежде всего следует отметить уход германских племен (готов и др.) с обширной территории между Вислой и Эльбой, а позднее и из соседних более южных областей. Эти постоянные перемещения в южном направлении временно прекращаются после ухода лангобардов с Венгерской низменности в Италию (568 г.). Вследствие сильного запустения указанного пространства для славян возникла возможность относительно быстрого и интенсивного распространения на запад и юго-запад, что и происходит в период с конца IV до VI в. включительно. Расселение по столь обширному пространству приводило к более четкому выявлению первоначальных диалектных особенностей и постепенно — к утрате языкового единства. Этот процесс шел, конечно, очень медленными темпами, поскольку на первых порах контакты оставались еще значительными.

Можно предполагать, что разделение славян на восточных, западных и южных обнаружилось уже в течение V в. Приход южнославянских племен на Балканы вызвал в VII в. установление связей с новым культурным миром — греко-византийским и романским. Кроме того — первоначально в связи с немецкой колонизацией (заселение Австрии вплоть до Словении франками и прежде всего баварцами) и распадением государства аваров — возник широкий барьер, изолирующий западных славян от южных; затем примерно в конце IX в. с появлением венгров он распространяется дальше на восток, а с возникновением молдавско-валашского господарства — достигает Черного моря. Ясно, что соприкосновение с более культурными народами, с одной стороны, и отделение от остальных славянских народов — с другой, должно было привести к дальнейшему диалектному членению и, наконец, к образованию южнославянских наречий: болгарского, сербского, кайкавского хорватского и словенского, которые, видимо, уже в VIII в. отличались друг от друга существенными особенностями. На ходе этого процесса дифференциации, очевидно, не могли не сказаться местные специфические условия: у южных славян он наступает раньше, чем у западных и, особенно, восточных славян, у которых только в XI в. обнаруживаются известные диалектные различия, но еще не самостоятельные наречия.

Э. Дикенман (Берн)

Вопрос № 3: **Какова специфика литературного двуязычия в истории славянских народов?**

1. Термин «литературное двуязычие» целесообразно заменить термином «языковой дуализм», так как само понятие «литературного применения» какого-либо языка до формирования современных национальных языков требует комментариев.

Литературный язык, в современном понимании этого термина, обладает следующими признаками: 1) он поливалентен, т. е. применим для обслуживания всех сфер национальной жизни; 2) он нормирован (в отношении орфографии и орфоэпии, грамматики и словаря); 3) он общеобязателен для всех членов данного национального коллектива и в связи с этим не допускает диалектных вариантов; 4) он стилистически дифференцирован.

Ни один из употреблявшихся на территории славянских народов письменных языков не обладал, до появления современных национальных языков, всеми указанными признаками. Поэтому предпочитаем говорить о письменных языках в применении к донациональным типам графически запечатленной речи.

2. История славянских народов дает возможность изучения самых разнообразных типов языкового дуализма. В дальнейшем мы коснемся специфики этого явления у западных и восточных славян.

С самого появления славянской письменности славянский мир разделяется на две основные сферы: сферу действия латинского языка и сферу действия языка старославянского. На территории Великоморавского княжества, где еще до прихода солунской миссии успел сложиться древнейший тип славянского культурного языка, применяемого в молитвах, проповедях, исповедях, старославянский язык временно вытесняет латинский, сам при этом подвергаясь влиянию этого древнейшего культурного языка славян. Очень непродолжительное время старославянский является на территории Великоморавского княжества и отчасти в Чехии литургиче-

ским языком. Стать языком администрации ему на территории западных славян не удалось. Он был полностью вытеснен латинским языком. Старославянский язык у западных славян не мог стать тем поливалентным языковым орудием, каким стала латынь у романских и германских народов раннего средневековья и каким она стала у западных славян после вытеснения старославянского языка.

3. Латынь, этот международный язык средневековья, сыграла у западных славян несколько иную роль, чем у соседних германцев. У западных славян почти полностью отсутствуют древнейшие, дописьменные латинские заимствования, столь характерные для лексики немецкого языка (типа *Tisch*, *Fenster*, *Dach*, *Pferd*). Единичные слова этого типа (чешск. *víno*, словацк. *tehla* «кирпич») общей картины не меняют. Основной пласт древнейших латинских заимствований попадает в западнославянские языки в результате христианизации (типа чешск. *mše*, *biřmovati*), причем в большинстве случаев через баварский языковой «фильтр».

4. О языковом дуализме у чехов приходится говорить начиная с XIV в., когда, наряду с латинской литературой, появляется богатая средневековая литература на чешском языке. В этот период латынь на территории западных славян перестает быть поливалентным языком, обслуживающим в с е области общественной жизни. В этот же период и вырабатывается чешская графика, значительная часть отвлеченной (т. е. нарочито книжной) лексики, вырабатываются некоторые синтаксические модели. До эпохи национального возрождения чешско-латинский языковой дуализм остается в силе.

5. Вопросы языкового дуализма на территории восточных славян необыкновенно сложны. С появлением письменности здесь возникают три типа письменных языков: старославянский (во многом близкий восточнославянскому, но в своей основе южнославянский), с одной стороны, и два типа письменного языка на восточнославянской основе — с другой: деловой (юридический) и фольклорно-художественный. Каждый из этих письменных языков функционально связан с определенной сферой общественной жизни, каждый из них обладает специфическими чертами в области фонетики, грамматики и лексики. Ни один из этих языков не совпадает с бытовым разговорным языком по той простой причине, что средневековью чужды литературные жанры, включающие бытовую тематику. Необходимо подчеркнуть, что все эти три языка и м е ю т с в о ю и с т о р и ю. Они развиваются самостоятельно (от языка «Русской Правды» к языку современного уголовного кодекса ведет прямая линия), но, разумеется, не в полном отрыве друг от друга. Именно взаимоотношения этих трех языков в каждую конкретную эпоху развития восточнославянской, а позже русской, украинской и белорусской письменности, расширение или сужение сферы употребления каждого из них в разные эпохи и представляют тот круг вопросов, решение которых позволит установить общие закономерности литературного и языкового развития национальной культуры у восточных славян. Говорить об «истории русского литературного языка» (в единственном числе и начиная с XI века) нам кажется пока преждевременным, тем более, что многие ученые (например, Р. И. Аванесов) сомневаются в том, является ли литературный язык вообще субъектом развития.

6. Формирование современных национальных языков у таких славянских народов, как чешский или словацкий, лужицко-сербский и словенский, отчасти также хорватский, теснейшим образом связано с славяно-немецким двуязычием культурной верхушки этих народов в период национального возрождения. Национальные языки указанного типа возникли в результате «будительской» работы молодой национальной буржуа-

зии. Весь пафос языковой политики эпохи национального возрождения определяется народностью (и в значении национальной самобытности, и в значении ориентации на «простой народ») возрождаемого и создаваемого литературного языка, утверждением его способности конкурировать с немецким, устранением нежелательных германизмов (типа *frajle//Fräulein*, *frajtr//Gefreiter*) и созданием нового культурного слоя лексики. Новая лексика создается, естественно, по образцу или, по крайней мере, по подсказке соответствующих немецких слов, но все же влияние немецкого языка нельзя сводить к механическому калькированию немецких выражений. Дело в том, что чешский язык в ряде случаев весьма своеобразно решает вопросы пополнения словаря: немецкие словосложения (типа *Bahnhof*, *Vordergrund*) заменяются в чешском языке аффиксальными образованиями (типа *nádraží*, *popředí*). Таким образом, в этих неологизмах сохраняется лишь часть (обычно первая) «внутренней формы» соответствующих немецких словосложений. Значительное влияние на современный чешский язык было оказано немецкой бытовой и публицистической фразеологией, ср. *nemohu si pomoci//ich kann mir nicht helfen*; *trefiti hřebík na hlavičku//den Nagel auf den Kopf treffen*. В силу почти поголовного билингвизма чешской интеллигенции, немецкий язык продолжал влиять на чешскую лексику и фразеологию до самого последнего времени. Даже понятия, попадающие к чехам из советского быта, иногда именуются словами, образованными не по русскому, а по немецкому образцу, ср. *заочное обучение*— *Fernstudium* — *dálkové studium*.

7. Современный русский литературный язык формируется на протяжении XVIII века. Оставим сейчас в стороне вопросы стилистического и терминологического использования славянизмов в современном русском литературном языке. Старославянские («церковнославянские») элементы являются, конечно, результатом продолжительного языкового дуализма. Специфическим признаком современного русского литературного языка является, однако, не только наличие «диспаратных», т. е. семантически соотнесенных, но формально разнозвучных пар типа: *живот* — *брюшной*, *рот* — *устный*, *склонение* — *деклинационный*, *говор* — *диалектный* и т. п. Такие «диспаратные» пары типичны для французского языка (ср. *la mer*— *maritime*, *la mère* — *maternel*, *la semaine* — *hebdomadaire*).

Спецификой современного русского литературного языка (по сравнению с другими славянскими литературными языками, в том числе и польским) является обилие так называемых галлицизмов. Наличие этих галлицизмов объясняется широко распространенным русско-французским билингвизмом тех слоев русского общества, в которых вырабатывался литературный язык нового типа. Вспомним, что Татьяна Ларина свое письмо Онегину вынуждена была писать по-французски, ибо она «почтовой прозой» не владела. Французские слова-цитаты совершенно естественно внедряются в языковой обиход образованных русских. Формируется своеобразный разговорный язык образованных людей, и этот язык начинает применяться в письме, но пока что лишь в жанрах, не предназначенных к печати. Образцами такого непринужденного русского языка являются, например, записки Н. Б. Долгорукой, записки майора М. В. Данилова, переписка Фонвизина, автобиография А. Т. Болотова и многое другое. Величайшей заслугой Пушкина явились смелость и такт, с которыми он ввел этот непринужденный бытовой язык образованных людей в художественно-литературный обиход. Этот бытовой язык образованных русских был близок народному языку, но он был отшлифован, стилистически многогранен и включал большое количество французских словцитат, словарных, фразеологических и синтаксических галлицизмов. Отсутствие необходимости отстаивать никем не оспариваемую национальн

ную самобытность, отсутствие национально оборонительного пафоса, столь характерного для эпохи возрождения других славянских народов, и предрешило ту терпимость к иностранным (особенно французским и немецким) словам, которая столь характерна для русского литературного языка. Только так и могло случиться, что исконно русское слово *похлебка* могло быть вытеснено на периферию литературного языка французским словом *суп*, что русский язык утратил славянское наименование «фруктов» и т. п. Галлицизмы в русском языке не ограничиваются заимствованиями XVIII и XIX веков, словами, вроде *театр*, *кулисы*, *суфлёр*, *авансцена*, *ложа* и т. п. Русский литературный язык надолго открыл двери широкому потоку галлицизмов. Такие слова и выражения, как *бюро*, *депо*, *кадры*, *экран*, *физкультура* (culture physique), *научный багаж* (bagage scientifique) и многие другие, появились в русском языке сравнительно недавно. Галлицизмами по своему образованию являются чрезвычайно продуктивные многочисленные генитивные наименования типа *генерал армии*, *театр юного зрителя*, *карета скорой помощи*, *парк культуры и отдыха*, совершенно чуждые таким языкам, как чешский или словацкий. Галлицизмами являются и такие словосложения, как *вагон-ресторан* (*wagon-restaurant*), также не свойственные чешскому или словацкому языкам. Сюда же следует отнести выражения и обороты типа *просьба вернуть книгу* (prière de rendre le livre). Французский язык имел серьезное влияние и на русский синтаксис, ср. *русский и французский языки* (*les langues russe et française*), употребление инфинитива после союзов *чтобы*, *прежде чем*, *вместо того чтобы* (*pour écrire*, *avant d'écrire*, *au lieu d'écrire*). К французским образцам восходят вторичные предлоги типа *в силу чего-л.* (*à force de qch*), *ввиду чего-л.* (*en vue de qch*), союз *раз* в условном значении (франц. *une fois*) и многое другое.

Именно наличие французских слов и оборотов, но в первую очередь наличие французских моделей деноминации, и отличает современный русский литературный язык от родственных славянских языков. Таким образом, многочисленные особенности русского языка объясняются наличием продолжительного русско-французского языкового дуализма.

А. В. Исаченко (Оломоуц)

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1958

С. Д. КАЦНЕЛЬСОН

К ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПРОТОИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ЗВУКОВОЙ СИСТЕМЫ

Гипотеза Ф. де Соссюра о происхождении индоевропейской системы гласных[1] дает возможность предположить существование такого состояния языка, когда весь вокализм насчитывал всего лишь одну гласную фонему. Сведéние конкретного многообразия восстановленных для общеиндоевропейской эпохи гласных к одному «основному» гласному было достигнуто путем остроумной догадки о существовании в прошлом особых согласных, так называемых «ларингалов», влиявших на качественную и количественную характеристику соседнего гласного. После того как Е. Куриловичу удалось обнаружить во вновь открытом хеттском языке отражения былых ларингалов[2], гипотеза де Соссюра обрела доказательную силу и завоевала себе признание большинства индоевропеистов. При этом, однако, до сих пор остаются невыясненными многие детали новой теории (например, вопрос о количестве и фонетической природе ларингалов, относительная хронология их исчезновения и др.). К числу спорных вопросов ларингальной теории относится, в частности, и предположение о моновокалическом периоде в развитии общеиндоевропейского языкового состояния. Среди приверженцев ларингальной теории есть немало таких, которые признают важность ларингальной теории для объяснения происхождения исконных долгих гласных, но отрицают значение ларингалов для качественной апофонии, тем самым допуская изначальное существование нескольких основных гласных, независимо от ларингалов.

Скептицизм многих исследователей в отношении моновокалической теории во многом объясняется необычностью связанных с ней представлений: языки с одним гласным до сих пор практически не учтены наукой. Большие трудности представляет фонологическая интерпретация моновокалической системы.

О трудностях фонологического истолкования этой системы говорит виднейший представитель структуральной фонологии Н. С. Трубецкой. Воображаемый язык с одним гласным оказался бы, по мнению Н. С. Трубецкого, и с фонологической точки зрения одногласным лишь в том случае, если бы в таком языке наряду с сочетаниями типа «согласный + гласный» встречались также различные группы согласных. Гласный в таком языке противостоял бы случаям отсутствия гласного («нулевого гласного») в чисто консонантных группах и имел бы в силу этого фонематическую значимость. Если же предположить моновокалический язык, пере-

---

[1] F. de Saussure, Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes, Leipsick, 1879 (книга фактически вышла в свет в 1878 г.).

[2] J. Kuryłowicz, *ə* indoeuropéen et *ḫ* hittite, «Symbolae grammaticae in honorem J. Rozwadowski», vol. I, Cracoviae, 1927, стр. 95—104. См. также его же, Études indoeuropéennes, I, Kraków, 1935, стр. 27 и сл.

межающий всякий раз согласные с гласными и совершенно не допускающий стечений согласных, то с фонологической точки зрения такой язык пришлось бы признать безгласным, поскольку гласный не играл бы в нем никакой смыслоразличительной роли, составляя лишь частный момент реализации согласного. Обе возможности представляются Н. С. Трубецкому настолько невероятными, что он пишет: «Поэтому следует остерегаться допущения подобных отношений для реконструируемых периодов в развитии языка, как это, к сожалению, нередко имеет место»[1].

Другие исследователи более благосклонно восприняли реконструкцию моновокалического периода в развитии индоевропейских языков, но и они не выдвинули дополнительных аргументов в защиту новой идеи. Согласно фонологической интерпретации датского лингвиста Л. Ельмслева, все слоги в протоиндоевропейскую эпоху были открытыми и оканчивались на один и тот же гласный. В таком слоге гласный не мог иметь самостоятельной фонологической значимости и выступал лишь в роли своеобразного просодического придатка к согласному. С другой стороны, и согласные, облеченные такими «просодемами», не могут рассматриваться как подлинные согласные[2]. Отсюда можно сделать вывод, что Л. Ельмслев исходит из факта существования специфической первоначальной фонологической единицы, которая не была еще сама по себе ни гласной, ни согласной фонемой и синкретически совмещала в себе их различные свойства. Нужно заметить, что анализ Ельмслева в значительной мере обесценивается абстрактной расплывчатой манерой изложения, обусловленной «алгебраическим» подходом к звукам речи. Заменяя реальные фонемы абстрактными величинами («кенемами»), определяемыми не на основе конкретных материальных признаков, а исключительно по занимаемому ими «месту» в системе функциональных отношений, Л. Ельмслев произвольно объединяет в одну «сверхфонему» отдельные, друг от друга не зависимые фонемы, выступающие в грамматических чередованиях звуков[3].

Иное решение вопроса предложил Я. Ван-Гиннекен, включивший соссюровскую реконструкцию протоиндоевропейского вокализма в свою

---

[1] N. S. Trubetzkoy, Grundzüge der Phonologie, «Travaux du Cercle linguistique de Prague», 7, Prague, 1939, стр. 86—87. Сходным образом высказался по этому вопросу на последнем международном лингвистическом конгрессе в Осло Р. Якобсон. «Конфликт между реконструированным состоянием языка и общими законами, открываемыми типологией,— писал Р. Якобсон,— делает реконструкцию сомнительной. В Нью-Йоркском лингвистическом кружке в 1949 г. я обратил внимание Г. Бонфанте и других индоевропеистов на некоторые спорные вопросы этого рода. Моновокалическая картина протоиндоевропейского языка не встречает поддержки в зарегистрированных языках мира» (R. Jakobson, Typological studies and their contribution to historical comparative linguistics, «Reports for the Eighth International congress of linguists», Oslo, 1957, Suppl., стр. 9). Необходимо, впрочем, заметить, что Р. Якобсон несколько противоречит здесь самому себе, поскольку в специальном исследовании, посвященном типологическим законам звукового развития, он допускает такой период в существовании языка, когда различие между согласными и гласными не играло еще смыслоразличительной роли и гласный выступал лишь в качестве «сопутствующего согласному явления» (см. R. Jakobson, Kindersprache, Aphasie und allgemeine Lautgesetze, «Språkvetenskapliga sällskapets i Uppsala förhandlingar. Jan. 1940 — Dec. 1942» («Uppsala universitets årsskrift», 1942, 9), Uppsala — Leipzig, 1942, стр. 64, 69, 70.

[2] L. Hjelmslev, Quelques réflexions sur le système phonique de l'indo-européen, «Mélanges linguistiques offerts à M. Holger Pedersen» («Acta jutlandica», IX_1), København, 1937. Замечания К. Боргстрёма по этому вопросу см.: C. H. Borgstrøm, Thoughts about Indo-European vowel-gradation, «Norsk tidsskrift for srpogvidenskap», bd. XV, Oslo, 1949, стр. 137—139; его же, Internal reconstruction of pre-indo-european word-forms, «Word», vol. 10, № 2—3, 1954, стр. 278.

[3] А. В. Десницкая, Вопросы изучения индоевропейских языков, М.—Л., 1955, стр. 231—232.

обширную типологическую схему развития звуков человеческой речи. В отличие от Ельмслева и Трубецкого, Ван-Гиннекен отрицает в протоиндоевропейском не только существование гласных фонем, но и всяких нефонематических (так сказать, «разгрузочных») гласных и изображает древнейшее слово как непрерывное нагромождение согласных[1]. Такая концепция не выдерживает критики ни с фонематической, ни с чисто произносительной точки зрения. В сравнительно-грамматическом плане она возвращает индоевропеистику вспять—от соссюровского учения об индоевропейской апофонии к древнеиндийскому учению о гуне, согласно которому первоначальной была нулевая, или редукционная, ступень чередования гласных. Но если общая схема Ван-Гиннекена весьма уязвима, то несомненного внимания заслуживают его высказывания о роли добавочной артикуляции в виде палатализации, лабиализации и т. д. в формировании гласных фонем.

В русской лингвистической литературе проблема моновокалического языка ставилась безотносительно к вопросам протоиндоевропейской реконструкции. При этом в русском языкознании была выдвинута идея об особого рода слоговых фонемах (силлабофонемах), предшествовавших выделению обособленных гласных и согласных фонем. Впервые, насколько мне известно, эту идею высказал один из основателей современной теории фонем Л. В. Щерба. «...хотя в ближе нам стоящих языках,— писал этот выдающийся ученый,— *s*, *k*, *t*, *š* и т. д. и являются самостоятельными фонемами, но это отнюдь не является обязательным; можно себе представить язык, в котором все слоги открытые и состоят из одного какого-либо согласного и гласного *a*, и в таком языке фонемами будут *sa*, *ka*, *ta*, *ša* и т. д.— *a* не будет отделяться сознанием. В известном отношении к подобному состоянию, по-видимому, приближался древнеяпонский язык, что и отразилось на японском алфавите»[2].

Сходные мысли развивал также известный финно-угровед Д. В. Бубрих в любопытной статье, посвященной происхождению и развитию речи[3]. Как и Л. В. Щерба, он допускал такой этап в развитии фонетической членораздельности, когда гласный был во всех словах один и тот же, а согласный встречался лишь в комбинации с подобным гласным. В таком «фонетическом комке» основная роль смыслоразличения принадлежала, по Д. В. Бубриху, согласному элементу, а гласный элемент выполнял «работу на громкость, высоту, длительность», овеществляя момент «свободного звучания» в качестве обязательного «аккомпанемента согласного». При этом гласный элемент мог видоизменяться, отражая воздействие соседних согласных или ударения, все еще не вычленяясь в качестве самостоятельной фонемы. Гласные фонемы появляются лишь тогда, когда вариации гласных, отражающие воздействие соседних согласных или ударения, отрываются от воздействия позиционных факторов и получают собственные качества. Такой отрыв становится неизбежным при редукции

---

[1] J. van Ginneken, La reconstruction typologique des langues archaïques de l'humanité («Verhandelingen der Koninklijke nederlandsche Akademie van Wetenschappen, afdeeling Letterkunde», 44), Amsterdam, 1939. Ср. рец. В. Ярцевой на книгу Ван-Гиннекена (ИАН ОЛЯ, 1940, № 3, стр. 130—131).

[2] Л. В. Щерба, Русские гласные в качественном и количественном отношении, СПб., 1912, стр. 8 (сноска). Много позднее в статье «О „диффузных звуках“ » (сб. «Академику Н. Я. Марру», XV, М.—Л., Изд-во АН СССР, 1935, стр. 451—453) Л. В. Щерба подробнее изложил свои взгляды на развитие членораздельности звукового потока.

[3] Д. В. Бубрих, Несколько слов о потоке речи. К вопросу о происхождении речи, «Бюлл. ЛОИКФУН (непериодич. изд. Ленингр. О-ва исследователей культуры финно-угорских народностей)», вып. 5, 1930, стр. 4—17.

некоторых согласных до нуля, при изменении согласных по качеству, а также при передвижениях и качественных изменениях ударения.

Ряд интересных соображений о природе слогофонем можно найти в работах Н. Ф. Яковлева[1]. Основываясь на анализе корней в языках абхазо-черкесской группы, Н. Ф. Яковлев восстанавливает такое состояние языка, когда согласный и гласный элементы составляли единый нерасчлененный «слогозвук», смыслоразличительной функцией в котором обладал лишь согласный элемент. При большом количестве разновидностей согласных гласный вначале был собственно один, не дифференцированный и не определенный в своем качестве. Открытослоговой характер не является, по Яковлеву, обязательной чертой слогофонемы. В тюрко-татарских языках наблюдается закрытослоговой тип простейших слов-корней, как *ат* «лошадь», *ит* «собака», *ак* «белый», *ал* «возьми» и т. д. Можно, стало быть, предположить, что первоначально тип слога в слогофонеме был не упорядочен и что лишь впоследствии при стандартизации корневой структуры вырабатывается устойчивый тип корневого слога.

Понятие слогофонемы, выдвинутое в трудах советских языковедов, предполагает, таким образом, что до выделения самостоятельных фонем «в основе слухового распознавания слов лежали консонантные признаки», система которых могла отличаться большой изощренностью, в то время как «голосовой тон обладал лишь недифференцированным тембровым оформлением в надгортанных областях и мог служить преимущественно основой звучания каждого слога»[2]. Будучи недифференцированным, гласный элемент слогофонемы легко мог принимать различную тембровую окраску под воздействием соседних согласных, что заставляет относить тембровую характеристику не к гласному, а к согласному элементу слогофонемы или даже к слогофонеме в целом. Гласные и согласные признаки в составе слогофонемы не следует поэтому смешивать с позднейшими самостоятельными гласными и согласными фонемами, которые вычленяются из слогофонемы в результате ряда процессов, связанных с редукцией некоторых согласных до нуля, передвижкой ударения и стабилизацией корневой структуры. Составлявший специфическую фонему слог мог первоначально быть как открытым, так и закрытым, и лишь с выработкой определенной корневой структуры устанавливается тот или иной тип слога.

*

Вряд ли можно назвать случайным тот факт, что представители различных областей языкознания — как индоевропеисты, так и неиндоевропеисты — независимо друг от друга пришли к предположению о моновокалическом типе языка как основе позднейшего формирования гласных фонем. Но, разумеется, понятие о моновокалическом типе языка останется гипотетическим до тех пор, пока не будет найден хотя бы один язык такого типа. Языки абхазо-черкесской группы хотя и близки к такой структуре, но все же не могут служить однозначным доказательством существования моновокалических языков. Есть, однако, язык, в котором, насколько можно судить по неполным и противоречивым описаниям, сохранился моновокалический тип. Речь идет о языке австралийского племени аранта, наиболее изученном из австралийских языков.

---

[1] Н. Яковлев и Д. Ашхамаф, Грамматика адыгейского литературного языка, М.—Л., Изд-во АН СССР, 1941, стр. 404—406; Н. Ф. Яковлев, Грамматика литературного кабардино-черкесского языка, М.—Л., Изд-во АН СССР, 1948, стр. 318—323.

[2] А. Л. Трахтеров, Основные вопросы теории слога и его определение, ВЯ, 1956, № 6, стр. 15.

Фонетическая система языка аранта определяется разными исследователями по-разному. Разнобой и несогласованность показаний проистекают из разных источников. Отчасти разнобой объясняется недостаточной фонетической и фонологической выучкой некоторых исследователей. В большей мере, однако, его можно объяснить спецификой самого объекта, своеобразием фонематической системы аранта, не укладывающейся в привычные фонетические представления, и непривычной полисемией многих слов.

Можно привести многочисленные примеры того, как исследователи, сталкиваясь с различными фонетическими вариантами одного слова, принимали их за разные слова или, встречаясь с различием значений одного слова, стремились обнаружить несуществующие звуковые различия. Так, Планерт (или его осведомитель Веттенгель) различает *itia* «младший брат» и *tjea* «младшая сестра». Как указывает Штрелов-отец, перед нами здесь два диалектных варианта одного слова, означающего как «младший брат», так и «младшая сестра». Штрелов-отец разграничивает *patta* «гора» и *ƀotta* «куча», но Штрелов-сын приводит как *pota*, так и *ƀota* в значении «гора». Штрелов-отец различает *ingua* «ночь» и *inkua* «скрытые под водой съедобные корни тростника»; Штрелов-сын приводит *iŋua* в обоих значениях[1].

Расхождения источников в определении состава гласных особенно велики. Кемпе находит в аранта 5 кратких гласных (*a*, *e*, *i*, *o*, *u*), долгие гласные (например, *ā* в слове *lāda* «краска») и 3 дифтонга (*ai*, *au*, *oi*). В записях Штрелова-отца, в общем придерживавшегося системы Кемпе, долгие гласные встречаются крайне редко. Штрелов-сын, опубликовавший специальную работу по фонетике аранта, резко отклоняется от своих предшественников, выделяя до 23 разновидностей гласных[2].

Нет оснований сомневаться в том, что тонкий слух исследователя способен уловить в аранта большое число оттенков гласных. Но в какой мере эти оттенки являются самостоятельными фонемами? Анализ текстов и сопоставление различных источников показывают, что исследователи не отличали позиционных вариантов от самостоятельных фонем. А. Соммерфельт, впервые предпринявший попытку фонологического истолкования источников [3], приходит к выводу, что в аранта всего три гласные фонемы, именно — *a*, *i*, *u*. Интерпретация Соммерфельта представляется мне неокончательной. Не только все отмеченные в первоисточниках многочисленные гласные, но и выделенные Соммерфельтом три гласные фонемы представляются мне позиционными вариантами, обусловленными соседними согласными. Чтобы убедиться в этом, обратимся к рассмотрению консонантизма аранта.

---

[1] Основные источники, содержащие данные об аранта (в скобках после каждого названия мы даем условное сокращение, которым будем в дальнейшем пользоваться при ссылках на источники): C. Strehlow, Die Aranda und Loritja-Stämme in Zentral-Australien, Frankfurt a. Main, 1907—1920 (Ш.); H. Kempe, A grammar and vocabulary of the language spoken by the aborigines of the MacDonnell Ranges, South Australia, «Transactions of the Royal Society of South Australia», XIV, I, Adelaide, 1891 (К.); B. Spencer and F. J. Gillen, The Arunta, London, 1927 (Сп.); W. Planert, Australische Forschungen, I Aranda-Grammatik, «Zeitschr. für Ethnologie», Jg. XXXIX, Hf. IV—V, 1907, стр. 551 и сл. (П.); Работы Штрелова-сына по фонетике и грамматике аранта: T. G. H. Strehlow, Aranda phonetics, «Oceania», vol. XII, № 3, 1942; его же, Aranda grammar, «Oceania», vol. XIII, №№ 2, 4, 1942; vol. XIV, №№ 1, 2, 1943 (О.).

[2] Довольно подробное изложение работы Штрелова-сына по фонетике аранта без всякой попытки фонологического ее истолкования дал С. А. Токарев в кн «Народы Австралии и Океании» (под ред. А. С. Токарева и С. П. Толстого», Изд-во АН СССР, М., 1956, стр. 83 и сл.).

[3] A. Sommerfelt, La langue et la société. Caractères sociaux d'une langue de type archaïque («Instituttet for sammenlignende kulturforskning», Serie A, XVIII), Oslo, 1938, стр. 42 и сл. См. также его статью «Le système phonologique d'une langue australienne» («Traveaux du Cercle linguistique de Prague», 8, 1939, стр. 209 и сл.).

В составе согласных аранта нет щелевых и аффрикат. Звук, который обозначается источниками в виде *tj* (Ш.) или *ch* (Сп.) и который, по свидетельству Кемпе, звучит как англ. *g* в *gentle*, является, как мне думается, средненебным *k'* (с факультативным вариантом *g'*, поскольку в аранта, как и в других австралийских языках, глухие и звонкие согласные фонологически не различаются). Что перед нами здесь именно средненебное *k'*, видно из того, что в одном и том же слове в текстах встречается то *tj*(*ch*) то *k*(*g*); ср. у Штрелова-отца *intjinama* и *inginama* «восходящий дым», *artja* и *arka* «ноги»; ср. еще *irkilentja* (Ш.) и *irkilenga* (Сп.) «коричневый ястреб».

Помимо смычных *p*, *t*, *k'*, *k*, в аранта существует параллельный им ряд носовых: *m*, *n*, *n'*, *ŋ*[1]. Отмеченный Штреловым-сыном в словах *njinta* «один», *njilkna* «тайно» и др. носовой *nj* является, видимо, среднеязычным носовым, соответствующим среднеязычному смычному *k'*. Как замечает Штрелов-сын, этот носовой произносится как *n* в англ. *new*, а в середине слова часто звучит как звонкий палатальный носовой [ɲ], подчас трудно отличимый от велярного носового [*ŋ*]. Этим, видимо, объясняется, что суффикс *-rinja*, обозначающий жителя определенной местности (ср. *apotarinja* «человек, обитающий в горах»), в одних источниках значится как *-rinja*, в других — как *-ringa*. Колебания в написании встречаются и в одном источнике, например *itingitinga* и *itinja* «совсем близко» у Штрелова-отца, отмечающего вторую форму как «архаизм».

В аранта встречается еще один ряд носовых, которые условно можно обозначить как носовые моментальные, или взрывные. В текстах моментальные носовые чаще всего обозначаются в виде сочетаний согласных *pm*, *tn*, *tnj*, *kŋ*. Соммерфельт рассматривает их как сочетания согласных. Между тем ряд обстоятельств позволяет считать, что перед нами особые носовые фонемы. Об этом свидетельствуют колебания в написании, наблюдающиеся нередко даже у одного и того же исследователя. Губной моментальный носовой чаще всего обозначается сочетанием *pm*, вместо которого иногда встречается *bm* в силу фонологической иррелевантности звонкости; ср. *obma*, *wobma* (Сп.) и *apma* (Ш.) «змея»; *abmoara*, *abmura* (Сп.) и *pmoara* (О.) «сладкий напиток». Для определения фонетического характера *pm* существенны следующие отступления в написании. Вместо *pm* (*bm*) в текстах нередко отмечается простое *m*, показывающее, что перед нами не группа согласных, а особый носовой; ср. *mulyanuka* (Сп.) и *pmaljanuka* (Ш.) «чужая фратрия племени в отличие от своей», *morlbura* (Сп.— первое *r* здесь, по образцу английской орфографии, обозначает долготу предшествующего гласного, не играющую, впрочем, в аранта фонологической роли) и *pmulbura* (Ш.) «дыхательное горло». Небезынтересен также отмечаемый Штреловым-сыном факт замены *pm* в языках соседних с аранта племен унмачера, кукатя, нгалия и пинтуби долгим *mm*; ср. унмачера *ammulbura* «дыхательное горло»; ср. еще аранта *pmarama* и унмачера *ammarama* «спрашивать».

Что *p* в сочетании *pm* отражает лишь особый фонетический эффект взрыва, сопровождающего произношение носового, можно видеть еще из того, что исследователи вместо *pm* часто пишут *tm*. Так, Штрелов-отец систематически пишет *tmara* «ложе, стоянка», у сына же всюду *pmara*. Характерно, однако, что, придерживаясь единообразного написания *tmara*, Штрелов-отец сам пишет *pmara* в случаях, когда он не узнает слово, например в сложном слове *urapmara* «горелый кустарник» — от *ura* «огонь» и *pmara* — в целом «стоянка огня, место, где побывал огонь».

[1] Мы отвлекаемся здесь от какуминальных или ретрофлексных *t*, *n*, роль которых в звуковой системе аранта нуждается в уточнении.

Штрелов-отец отмечает для *tmara*, помимо значений «ложе» (т. е. «корытообразное углубление, вырываемое в земле для ночного сна») и «ночлег, стоянка», еще и третье значение «особая разновидность деревянного корыта»; у Сп. же различаются *tmara* «стоянка» и *apmara* «деревянное корыто» (любопытно, что Штрелов-сын проводит разграничение в другом направлении: *pmaṛa* — с кратким *a* и мягким *r* — «ложе, стоянка» и *pma*: *ra* — с долгим *ā* и твердым *r* —«большое деревянное корыто»). Ср. еще *tmulbura* (К.) «дыхательное горло» вместо уже упоминавшихся *pmulbura*, *pmolbura*; впрочем, и у Штрелова-отца встречается один раз *tmulpura* (о горле змеи). Ср. еще *ultmunta* (К.) и *ulbmunta* (О.) «пыль». Иногда (значительно реже) вместо *pm* встречается *km*. Так, у Сп.— *urukma* наряду с *urpma* «рубцы на коже (вид татуировки)».

Как и губной моментальный носовой, различные обозначения в текстах получает и зубной моментальный носовой. Так, вместо сочетания *tn* нередко находим простое *n*; ср. *nurtunja* (Сп.) «шест, используемый в некоторых обрядах» (*j* у Сп., как в английском, соответствует *dž*) и *tnatantja* (Ш.). У соседей аранта вместо *tn* здесь долгое *n*: унмачера *annatantja*. Подобно тому, как вместо *pm* встречается иногда *tm* и даже *km*, так и вместо *tn* иногда находим *kn*; ср. *ntapikna* (Ш.) «разновидность рыбы» и *interpitna* (Сп.) «лещ»; *knama* (Сп.) и *tnama* (Ш.) «стоять».

Среднеязычным *k'* и *nj* соответствует в ряду моментальных носовых -*tnj*. Исследователи нередко смешивают его с *tn*; ср. *aritna* (Сп.) и *retnja* (О.) «имя»; *tnama* (Ш.) и *tnjama* (О.) «выкапывать палкой». Как в случае с *tn*, так и здесь вместо *tnj* встречается *knj*, *gnj* (*kn*, *gn*); ср. *aregna* (К.) «имя», *gnama* (К.) «копать палкой». Ср. еще *itnima* (Ш.) и *tnjima* (О.), *iknima* (К.) «падать»; *ekna* (Ш.) «умирающий больной», *ekna* (К.) «тяжело больной», *ekna* (П.) «мертвый», *itnja* (О.) «мертвый».

В рассматриваемом ряду моментальных носовых имеется еще велярный носовой, чаще всего обозначаемый в текстах как *kn*, *gn* (у Штрелова-сына систематически *kŋ*); ср. *alkna* (Ш.), *alkŋa* (О.) «глаз», *knulja* (Ш.), *kŋulja* (О.) «собака» и т. д. В языках соседних племен велярному моментальному носовому, как и другим моментальным носовым, соответствует долгий носовой; ср. аранта *kŋara*, унмачера *aŋŋira* «длинный, большой».

Фонетическая характеристика *pm*, *tn*, *tnj*, *kŋ* как моментальных носовых еще нуждается, разумеется, в дополнительной проверке. Быть может, речь идет о моментальных носовых или «полуносовых», встречающихся в ряде африканских языков. Как бы, однако, ни определилась в дальнейшем природа этих носовых, ясно, во всяком случае, что перед нами здесь специфические носовые фонемы, а не группы согласных фонем.

Ряд смычных в аранта выявляет дополнительный признак лабиализации. С полной уверенностью это можно утверждать относительно *tw*, *kw* и некоторых других согласных. Лабиализованное *tw* встречается в словах *atwa* (О.) «охотник, взрослый мужчина», *namatwinna* (Сп.) «особый вид трещотки», *tu̯a*:*rama* (О.) «смотреть вслед уходящему», *tu̯atja* (О.) «ущелье», *tu̯e*:*da* (О.) «отделять». Лабиализованное *kw* находим в словах *kwata* (Ш.), *quarta* (Сп.) «яйцо», *kwara* (Ш.) «девушка», *ambaquerka* (Сп.) «маленький мальчик». Огубленность *kw* иногда в конце слова не улавливается исследователями; ср. *megwa* и *mega* (Сп.) «большой (о пальце)», *nukwa* (Ш.) и *nuka* (П.) «мой». Встречается также лабиализованное среднеязычное *k'w*, например в *antju̯a* (О.) «гнездо», лабиализованное *ŋw* — в *ingu̯a* (О.) «ночь», в *uŋgwa*:*la* (О.) «мед» и др.

Определение плавных фонем представляет значительные трудности. Штрелов-сын различает три разновидности *r* (языковое раскатистое, фарингальное и палатальное церебральное) и три разновидности *l* (твердое, как в англ. *tall*, палатальное и «плоское»). Соммерфельт находит в текстах

лишь по одному *r* и *l*. Мне представляется несомненным существование палатальных и непалатальных плавных. Палатальное *r* является настолько мягким, что в текстах нередко заменяется *j*. Так, у Штрелова-отца находим *para* наряду с *paia* «хвост», *teinta* наряду с «архаическим» *terenta* «каменная плита». Несомненно также наличие палатального *l*, которое Штреловсын отождествляет с *l* в англ. *lewd* [lju:d] и обозначает как *lj*; ср. *ljupara* (О.), *ulyipera* (Сп.), *lapara*, *lupara* (Ш.) «верхняя часть ноги». Вместо *lj* в южном диалекте аранта произносят *ili*, например *ilipera* «нога», *ililama* «петь» (в других диалектах *ljelama*).

Что касается непалатальных плавных фонем, то они, возможно, бывают двоякого рода — лабиализованные и нелабиализованные. Лабиализованное *lw* можно предположить, как нам думается, в таких словах, как *alua* (Ш.), *alua* или *ulua* (Сп.) «кровь»; *lutna* или *latna* (Ш.), *ulitna* (О.) «лоб». Лабиализованное *rw* можно предположить в слове *ura* «огонь» (иногда *ru*, как в сложном слове *rukuta* «клубы дыма», буквально «огня») или в *rualba* = *uralba* (Ш.) «растение с большими ягодами».

Из сонантов, кроме отмеченных выше носовых и плавных, имеются еще *w* и *j* [например, в словах *woritja* (О.) «пустыня», *wuma* (О.) «слышать», *ja:ra* (О.) «муравей», *jinba* (О.) «кожа»]. Сонант *w* в некоторых случаях не имеет, по-видимому, самостоятельного значения и как бы вырастает из подчеркнутого произношения лабиальных и лабиализованных согласных; ср. *atuwa* и *atua*, *atwa*, *atua* (О.) «охотник» или *apma* «змея» (так во всех источниках, но у Сп. *obma* и *wobma*). В противоположность этому *j* иногда сливается с предшествующим согласным и смягчает его; ср. *me:kua* (О.) «его или ее мать» из *maia* «мать» + *ekura* «его, ее», *nje:kua* (О.) «его, ее отец» из *kyeia* «отец» + *ekura*.

Из всех согласных только сонанты — длительные, носовые и плавные — выступают в середине слова с нулем гласного, непосредственно примыкая к последующему согласному, например в словах *kantja* «вершина», *bartja* «блеск», *ilkuma* «есть, кушать», *wonka* «молодая незамужняя женщина» и др.

После беглого обзора консонантизма можно теперь обратиться к рассмотрению сложного вопроса о вокализме аранта. В записях разных исследователей, а нередко одного и того же, гласные одного слова часто воспроизводятся по-разному. Так, *tepa* «хребет, спина» встречается у Штрелова-отца еще в следующих вариантах: *tipa*, *tapa*, *topa*, *etopa*; указательное местоимение «этот» — в разновидностях *bina*, *bena*, *bana*, для обозначения угля находим *barka* (Ш.), *birka* (К.), *apirka*, *purka* (Сп.) и т. п.

Чтобы разобраться в пестроте обозначений гласных, необходимо учитывать позиционные влияния согласных. С точки зрения оказываемого ими на соседние гласные воздействия все согласные можно разделить на три разряда: 1) палатальные и палатализованные согласные (как *k'*, *n'*, *l'*, *r'*), 2) лабиальные и лабиализованные согласные (*p*, *pm*, *m*, *tw*, *kw*, *pw* и др.) и 3) нейтральные согласные (*t*, *k*, *n*).

После нейтральных согласных и в конце слова обычно выступает самый широкий гласный *a*, например *ata* «я», *nama* «трава», *kata* (западный диалект) «отец» и т. д. В соседстве с палатальным согласным гласный приближается или превращается в *e*, *i* [ср. *deta*, *detia* (К.), *ditja* (Ш.), *teitcha* (Сп.) «зубы», где средненебное *k'* смягчает предшествующий гласный]. В соседстве с лабиальным или лабиализованным согласным гласный огубляется и приближается к *o*, *u*; ср. *apma* (Ш.) «змея», но у Сп. *obma* и даже *wobma*; ср. еще *bota* «гора», у Штрелова-отца еще *bota* «куча». Штрелов-сын фиксирует *patta* «гора» для всех диалектов, кроме северного, для которого он приводит *botta*, но в сочетании *potaltura* «пещера» мы находим у него без всякой диалектной отметки *pota*, у Сп. *perta* (где *r*, как в англий-

ском, обозначает долготу предшествующего гласного), Кемпе же отмечает *puta* в значении «камень, холм, гора».

Воздействие согласного может сказываться не только на последующем, но и на предшествующем гласном, что придает огласовке слова весьма неустойчивый и зыбкий характер. Ср., например, *itapmara* (К.), *chipmūra* (Сп.), *tjubmara* (О.) и южно-диалекти. *itibmara* (О.) «ногти». Слогу *it-* или *ita-* в начале первого варианта во втором варианте соответствует *tji-*, в четвертом — *iti-*, а в третьем — *tj-* с нулем гласного, поскольку следующий за *tj-* гласный *u* тяготеет к последующему согласному — губному моментальному носовому. Ср. другие примеры этого же рода: *idunta* (К.), *itunta* и *tjunta* (Ш.) «желудок»; *itanja* (О.) и *tjenja* (Ш.) «длинный»; *itarinama*, *tjarinama* (К.), южно-диалекти. *itaraŋama*, в северном и западном диалектах *tjaraŋama* (О.) «тянуть»; *tjipa* (Ш.) и *etopa* (К.) «пояс»; *ita* и *itja* (Ш.) «вши». Ср. еще слова с исходом на *-ita*, *-itja*, *-atja* : *tnimatja*, *tnimita* (Ш.) и *idnimita* (Сп.) «личинки на кустах тнимы»; *tnurungatja* (Ш.) и *udnirringita* (Сп.) «гусеницы на кустах тнурунги», *ilkalatja* и *ilkalita* (Ш.) «личинки в корнях кустов илькалы»; *parita* и *paratja* (О.) «хвост змеи» и др.

Сходным образом лабиализованное *kw* выступает в вариантах *ok*, *uk*, *ko*, *ku*, *uku*, *kw*. Ср. *goda* (К.), у Штрелова-отца *kwata*, но также *okuta* «яйцо» (*okuta* в составе сложного слова *ptokuta* «змеиное яйцо» из *pta* «змея» и *okuta*); *kwana* и *okuna* (Ш.) «внутри»; *kwara* и *kura* (Ш.) «девушка», *querka* (Сп.; в составе сложного слова *ambaquerka* «маленький мальчик») и *kurka* (Ш.) «маленький». Для лабиализованного *tw* напомним о вариациях типа *atua*, *atua*, *atwa*, *atuwa* (О.) «охотник», приведенных выше. Штрелов-отец систематически пишет *atua*, но один раз отмечает *uta* (в названии местности *Utatara*, буквально: «два охотника» из *uta* = *atua* «охотник» и *tara* «два»).

Так как сочетание обладающих добавочной тембровой артикуляцией согласных с гласным можно при желании представить в виде сочетания нейтрального согласного с гласным переднего или заднего ряда, то Соммерфельт в некотором роде прав, когда он не выделяет лабиализованных фонем в аранта, но зато признает фонематичность гласных *i*, *u* и *a*. Но такой подход влечет за собой некоторые шероховатости. Так, становясь на точку зрения Соммерфельта, мы должны будем считать, что, например, палатальность среднеязычного *k'* в слове *tjubmara* является фонетической реализацией гласного *i*, выступающего один раз в варианте *itapmara* и дважды в *itibmara*. Нам представляется более рациональным считать согласные основными носителями смыслоразличительных признаков в аранта и, следовательно, не признавать за гласными самостоятельной фонематической значимости. Говоря иначе, мы считаем, что гласные и согласные могут быть выделены в аранта лишь с фонетической, а не фонологической точки зрения. Фонологически основной звуковой единицей в аранта является не гласный и даже не в отдельности взятый согласный, а целый звуковой комплекс, в котором основная смыслоразличительная нагрузка падает на согласный. Эту своеобразную фонологическую единицу можно было бы назвать слоговой фонемой, если бы не то обстоятельство, что фонетически она не всегда реализуется как слог. Иногда она сокращается в своем объеме до согласного с нулем гласного, как, например, *k'* в *tjubmara* (где следующий за *k'* гласный *u* уже тяготеет фонологически к следующему согласному), а иногда переступает границы одного слога и составляет два фонетических слога (например, *iti* в *itibmara*) и даже три, как в *atua*, *atuwa* «охотник». Термин «слогофонема» представляется в силу этого не весьма удачным, и в дальнейшем я буду называть эту специфическую фонологическую величину — «протофонемой».

Утверждая, что ядром протофонемы является согласный элемент, что

на нем лежит основная тяжесть смыслоразличения, я вовсе не склонен отрицать фонологичность гласного элемента протофонемы. Поскольку лабиальность или палатальность не ограничивается согласным и распространяется на соседний гласный, носителем дифференциального признака становится в известной мере и гласный элемент. Дифференциальный признак огубления или онебления как бы разливается, таким образом, по всей протофонеме, часто захватывая все элементы, входящие в ее состав. Лишь в той мере, в какой гласный элемент остается нейтральным, т. е. сохраняется как *a*, без примеси тембровой окраски, он не участвует в смыслоразличении. Но и в этом случае гласный играет определенную фонологическую, хотя и не смыслоразличительную роль.

Гласный элемент выступает в аранта как носитель делимитативной и кульминативной функций. Поскольку каждое слово (за исключением именной и глагольной формы обращения с *-ai* или *-au* в исходе) оканчивается в аранта на *-a*, гласный *a* тем самым оказывается показателем абсолютного исхода слова и содействует отграничению одного слова от другого в потоке речи. Поскольку, с другой стороны, в середине слова гласные, как правило, подвергаются воздействию соседних согласных и получают тот или иной тембр, изменение тембровой окраски содействует внутреннему сплочению слова, показывая, что перед нами середина, а не конец слова. Эту функцию гласный элемент выполняет вместе с плавными и носовыми, которые, как уже упоминалось выше, выступают в середине слова с нулем гласного, непосредственно примыкая к последующему согласному. Гласный элемент, кроме того, является еще носителем словесного ударения. При всем этом гласный лишен самостоятельного значения и вместе с согласным образует единое целое — протофонему, поскольку гласные в такой фонетической системе не противостоят согласным как смыслоразличительные величины[1].

●

Протоиндоевропейская звуковая система с одним гласным, восстанавливаемая рядом исследователей вслед за Ф. де Соссюром, может быть понята в свете приведенных выше данных как система протофонем. Явление протофонемы с характерным для него своеобразным переплетением консонантных и вокалических признаков способно, думается нам, оказать существенную помощь при исследовании ряда индоевропейских фонетических процессов. К таким процессам, помимо апофонии гласных, приведшей к постановке самой проблемы моновокализма, относится еще ряд специфических процессов в области консонантизма, которые можно было бы назвать процессами «конверсии согласных». Не ставя перед собой задачу сколько-нибудь подробно осветить вопрос о реликтах протофонем в индоевропейских языках, мы попытаемся здесь в самых общих чертах охарактеризовать процессы конверсии согласных.

Процессы этого рода лежат, как нам кажется, в основе развития индоевропейских заднеязычных согласных. В сравнительной фонетике

[1] Уже после написания статьи мне удалось познакомиться с новой работой, посвященной сравнительному изучению австралийских языков,— книгой А. Кепелла [A. Capell, A new approach to Australian linguistics. Handbook of Australian languages, pt. I («Oceania linguistic monographs», № 1), Sydney, 1956]. Автор нового исследования находит в австралийских языках три основные гласные (*a*, *i*, *u*), но при этом он отмечает зыбкость граней между отдельными гласными и их зависимость от соседства согласных (стр. 3). Особенно важным в плане развиваемых в данной статье мыслей является указание на наличие в австралийских языках согласных лабиализованных (k^w, $ŋ^w$ и др.) и палатальных (*d'*, *l'*, *n'*), определяющих, по нашему мнению, тембр сопутствующего гласного.

индоевропейских языков известны три ряда заднеязычных смычных согласных: 1) чистые заднеязычные (*k*, *g*, *gh*), 2) лабиализованные (k^w, g^w, g^wh) и 3) палатальные (*k'*, *g'*, *g'h*). Такая реконструкция, однако, признается далеко не всеми исследователями. Вплоть до последнего времени в науке наблюдаются попытки свести перечисленные три ряда к двум — чистому заднеязычному и лабиализованному либо чисто язычному и палатальному [1]. Дело в том, что ни в одном конкретном индоевропейском языке не представлены все три серии согласных одновременно; одни индоевропейские языки (типа satəm) знают только чистый и палатальный ряд, а другие (типа centum) — только чистый и лабиализованный ряд. Некоторые исследователи считают изначальным то состояние, которое представлено в языках satəm. В языках centum эти ученые усматривают отклонение от первоначального состояния. Другие исследователи, наоборот, исходят из типа centum как общеиндоевропейского и приписывают инновацию языкам satəm. Положение осложняется еще тем обстоятельством, что представленные в языках каждой группы два ряда заднеязычных не четко отграничены друг от друга. Так, в группе satəm в корнях с палатальным могут встретиться не только палатальные, но и чистые заднеязычные (ср. др.-инд. *asmā* «камень» и ст.-слав. **камы**, литовск. *akmuo* «камень»; др.-инд. *śasati* «режет» и ст.-слав. **коса**; ст.-слав. **слꙋшати** и латышск. *klausīt* «слушать»). Соответственно в группе centum в корнях с лабиализованными встречаются не только лабиализованные, но и чистые велярные (ср. лат. *sequor* «следую» и *socius* «соучастник»; гот. *hwairnei* «череп» и греч. κράνιον; греч. πέλω «двигаюсь» от корня k^wel- и κλωστήρ «клубок, моток»). Наконец, в объяснении нуждается и тот факт, что, как отмечает А. Мейе, перед индоевропейским *a* встречается лишь чистый заднеязычный [2].

Затруднений станет меньше, если допустить, что индоевропейские заднеязычные смычные всех трех рядов были не обычными согласными, а протофонемами. Мы видели, что добавочный признак палатальности или огубления в протофонеме не сосредоточен в одном лишь согласном ее элементе, а, как правило, распространяется на гласный призвук, окрашивая его в соответствующий тембр. Лабиализованная протофонема *kw* может, как мы видели, выступать то как *kwa* (т. е. как лабиализованный согласный в сочетании с нейтральным гласным), то как *ku*, *uk*, *uku* (т. е. как чистый заднеязычный в сочетании с задним гласным). Эта подвижность дополнительной артикуляции, ее способность «блуждать» в пределах протофонемы, присоединяясь то к ее консонантному ядру, то к вокалическому призвуку, делает понятным чередования лабиализованных заднеязычных и чистых в языках centum. Ср. греч. γυνή «жена», где редуцированный корневой гласный выступает в виде *u*, а начальное g^w потеряло свою лабиальность, и беот. βανά, представляющее ту же редукционную ступень корня, но с сохранением лабиального признака в согласном (вследствие чего $g^w > \beta$) и с нормальным для греческого языка отражением редуцированного гласного в виде *a*. В исходе корня находим в греческом *-uk* в λύκος «волк», νύξ «ночь» с нелабиальным *k* после огубленного гласного. Делабиализация согласного наблюдается также

[1] См.: В. Георгиев, Индоевропейските гутурали, «Годишник на Софийския ун-т, ист.-филол. фак-т», т. XXVIII, кн. 6, София, 1932; J. Kuryłowicz, Études indoeuropéennes, стр. 1 и сл.; его же, L'apophonie en indoeuropéen, Wrocław, 1956, стр. 356 и сл.

[2] А. Мейе, Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, М.—Л., 1938, стр. 119.

в основной ступени перед *o*; ср. лат. *collum*, гот. *hals* «шея» и др.-исландск. *hvel* «колесо» от корня k^w*el-*; гот. *haims* «дом» и *hweila* «время» от корня k^w*ei-* [1]; в исходе корневого слога после *o*: греч. ὄκκον (Гес.) «глаз», гот. *aha* «мысль, разум» (ср. греч. ὤψ «глаз», род. падеж ὠπός с π из k^w [2]. Чередования лабиализованного и чистого заднеязычного не могли, разумеется, удержаться в условиях регулярного формообразования, и аналогические образования выровнили в большинство случаев эти расхождения. Но многочисленные реликты, сохранившиеся в изолированных формах, позволяют сделать вывод о широком распространении подобных чередований в прошлом.

Исконному чередованию лабиализованных и чистых заднеязычных языков centum соответствует в языках satəm параллельное чередование палатальных и чистых заднеязычных. Ср. русск. *коса* и др.-инд. *śasati* «рожет» от корня *k'es-*; литовск. *kaimas* «село», и литовск. *šeima* «семья» (корень *k'eim-*); др.-инд. *kōkas* «волк» и русск. *сука* (корень *k'euk-*); ст.-слав. **цѣвь** «труба» и литовск. *šeiva* «шпулька, катушка» (корень *k'eiv-*). Чередования этого рода также могут быть объяснены с помощью протофонемы. Среднеязычная смычная протофонема *k'* могла реализоваться либо как *k'* с нейтральным гласным, либо как *k* с передним гласным. С обособлением гласных и развитием апофонии протофонема типа *k'* могла войти в новую звуковую систему в виде слога *ke*, *ki* (или в исходе слова *ek*, *ik*) и, следовательно, на фоне новых отношений восприниматься как сочетание чистого заднеязычного с передним гласным. Подобное осмысление должно было повлечь за собой появление чистого заднеязычного и в других ступенях корня (т. е. перед гласными заднего ряда). Действительно, на основании многих реликтов чистого заднеязычного в изолированных формах корней с индоевропейским среднеязычным можно считать, что первоначально чередование среднеязычного и чистого заднеязычного в корнях этого типа было распространено гораздо шире. В дальнейшем ходе развития подобные чередования в основной своей массе были устранены аналогическими образованиями, что можно, думается мне, объяснить следующим образом.

Как среднеязычные, так и лабиализованные согласные обнаруживали в протоиндоевропейскую эпоху тенденцию к слиянию с чистыми велярными. Эта тенденция могла осуществиться в той мере, в какой ей не препятствовали реальные смысловые различия корней. Поскольку, однако, в ряде случаев слияние лабиализованных и палатальных заднеязычных угрожало смешением разных слов и ростом омонимии, звуковые различия не только сохранялись, но отчасти даже усиливались. Развитие пошло при этом двумя путями. В одних языках (тип satəm) лабиализованные полностью делабиализовались и превратились в чистые заднеязычные, что вызвало сохранение и усиление палатальной артикуляции (вплоть до превращения палатального смычного в аффрикату и затем в щелевой согласный). В других языках (тип centum) палатальные полностью примкнули к чистым заднеязычным, что привело к удержанию лабиализованных заднеязычных и усилению их дополнительной артикуляции (вплоть до превращения их в губные). В таком размежевании серий основную роль играло противопоставление палатальных корней лабиализованным. Корни со старой чистой заднеязычной протофонемой в основном не участвовали в таком противопоставлении. Дело в том, что в нейтральных протофонемах, какими были чистые заднеязычные, согласный элемент обычно, как мы видели,

---

[1] Э. Прокош, Сравнительная грамматика германских языков, М., 1954, стр. 65.
[2] В. Георгиев, указ. соч., стр. 26.

сопровождался нейтральным гласным, более или менее близким к *a*. С фонемизацией гласных тяжесть смыслоразличения в таких корнях легла на корневой гласный *a*, не принимающий участия в апофонии. Это предохранило их от смешения с другими корнями, в которых чистый заднеязычный возник из палатальных или лабиализованных заднеязычных протофонем. Заметим, что тем самым находит себе объяснение давно отмеченное в науке особое предрасположение исконных чистых заднеязычных к гласному *a*.

Проявляющийся в развитии индоевропейских заднеязычных процесс конверсии сводится, таким образом, к частичному или полному совпадению согласных в результате распада старых протофонем. Такому процессу конверсии подвергались в протоиндоевропейскую эпоху не только заднеязычные согласные, но также реконструированные де Соссюром и частью подтвержденные хеттским языком «ларингалы». Эти согласные [к которым, помимо ларингальных в собственном смысле слова, относился, видимо, также ряд глубокоязычных (язычковых и зевных) согласных] отличались общей для них специфической способностью сообщать соседнему гласному не только определенную тембровую окраску, но также — при известных условиях — долготу и другие просодические качества, а после этого исчезать, как бы полностью растворяясь в гласных. Благодаря этому своему свойству, ларингалы сыграли решающую роль в процессе фонемизации протоиндоевропейских гласных и в становлении системы апофонии. Вопрос о количестве и качестве индоевропейских ларингалов окончательно еще не решен и принадлежит к числу наиболее спорных вопросов ларингальной теории. Некоторые трудности этой проблемы могут, как нам кажется, отпасть, если исходить из теории протофонемы.

Чтобы согласовать теорию апофонии гласных с конкретными данными хеттского языка, необходимо предположить, что в протоиндоевропейскую эпоху имелось, по меньшей мере, три или четыре ларингала. Только два из них нашли, по мнению Е. Куриловича, непосредственное отражение в хеттском *ḫ*, а именно $ə_2$, превращающий основной индоевропейский гласный *e* в *a* (ср. хет. *ḫanti*, греч. αντί) и $ə_3$, окрашивающий основной гласный в тембр *o*; ср. хет. *ḫaštai* «кость», греч. ὀστέον. Остальные ларингалы ($ə_1$, оставляющий тембр основного гласного *e* без изменения, и $ə_4$, окрашивающий основной гласный так же, как и $ə_2$, в тембр *a*) не имеют в хеттском прямых отражений и подсказываются лишь нуждами реконструкции общеиндоевропейской звуковой системы. На основе показаний хеттского языка ряд сторонников ларингальной теории (в особенности представители датской школы) считают возможным восстанавливать всего лишь один ларингал, принимая его только для объяснения исконных долгот и отрицая роль ларингалов в формировании качественной апофонии. Стремление свести число индоевропейских ларингалов к одному поддерживается еще и тем фактом, что в хеттском языке, если рассматривать его синхронически, представлен в сущности лишь один ларингал. Правда, в хеттских текстах наряду с *ḫ* встречается также *ḫḫ*, которое, видимо, отличалось от первого ларингала как сильный или глухой согласный от слабого или звонкого; однако распределение этих звуков в системе хеттского языка таково, что их можно рассматривать как позиционные варианты одной фонемы: первый из них в середине слова встречается только после *e*, второй же — только после *a*; ср. хет. *meḫur* «время», *seḫur* «моча» и, с другой стороны, *paḫḫur* «огонь», *laḫḫa* «война, поход»[1].

[1] Подробнее об этом см.: В. В. Иванов, Проблема ларингальных в свете данных древних индоевропейских языков Малой Азии, «Вестник Моск. ун-та», Ист.-филол. серия, 1957, № 2, стр. 23 и сл.

То обстоятельство, что в хеттском языке практически представлен лишь один ларингал, не может, как нам думается, служить основанием, чтобы отвергнуть предположение о большем числе ларингалов в общеиндоевропейскую эпоху. Факт позиционного распределения *h̯* и *h̯h̯* в хеттском языке не приходится считать случайным. Его можно объяснить как следствие конверсии двух первоначально независимых ларингальных протофонем.

Определяя первоначальное число ларингалов, необходимо иметь в виду, что ларингалы — это общеиндоевропейская, а не специально хеттская или анатолийская проблема. Не следует забывать, что основой для реконструкции ларингалов послужил прежде всего анализ общеиндоевропейских данных. Если хеттский ларингал подтверждает лишь часть восстанавливаемых для общеиндоевропейской эпохи ларингалов, то это может означать, что темпы исчезновения разных ларингалов были различны и что с этой точки зрения их можно поделить на более и менее устойчивые. Хеттский ларингал с его двумя позиционными вариантами свидетельствует, с нашей точки зрения, о слиянии двух относительно устойчивых ларингальных протофонем, из которых одна обладала признаком палатализации, а другая признаком веляризации.

На основании всего изложенного можно предположить, что протоиндоевропейские ларингальные протофонемы, так же как и заднеязычные смычные, делились на протофонемы, консонантное ядро которых видоизменяло тембр гласного призвука, и протофонемы, нейтральные в этом отношении. Нейтральные ларингальные протофонемы сочетали согласный элемент с призвуком *a*, и в дальнейшем, при распаде, протофонемы, как и чистые заднеязычные, сохраняли это качество гласного. Большое число индоевропейских корней с начальным *a*, вроде хетт. *attaš*, гот. *atta* «отец» и т. д., предполагает, таким образом, нейтральную ларингальную протофонему. Остальные ларингальные протофонемы окрашивали гласный призвук в палатальный или велярный тембр, что создавало необходимые предпосылки для обособления гласных и конверсии ларингалов перед полным их исчезновением. Процессы палатализации и веляризации при ларингалах хорошо засвидетельствованы в семитических и некоторых других языках, в которых звуки этого рода широко представлены[1].

---

[1] В этом плане большого внимания заслуживает статья Н. В. Юшманова, посвященная ларингальным в семитских, хамитских и кавказских языках (см. Н. В. Юшманов, Семито-хамито-яфетические сжатогортанные, сб. «Язык и мышление», XI, М.—Л., 1948, стр. 395 и сл.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1958

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ИЗ ПЕРЕПИСКИ А. А. ШАХМАТОВА С Ф. Ф. ФОРТУНАТОВЫМ

Среди научного наследства А. А. Шахматова особое место занимает его обширная переписка. А. А. Шахматов был не только выдающимся ученым России, к голосу которого прислушивались слависты всей Европы, но и превосходным организатором науки, чутко и заботливо относящимся к нуждам и запросам научных работников.

В Академии наук А. А. Шахматов развернул интенсивную организационную деятельность. По его инициативе Отделение русского языка и словесности начало издавать целую серию научных публикаций: «Известия ОРЯС» (4 тома в год), «Сборник ОРЯС» (непериодический орган, выпускавшийся объемистыми томами, по нескольку в год), «Исследования по русскому языку», «Памятники старославянского языка», «Памятники древнерусской литературы», серия изданий по диалектологии и др. К А. А. Шахматову как к признанному авторитету в области русского и славянского языкознания часто обращались по различным вопросам науки многие русские и славянские ученые. А. А. Шахматов вообще пользовался огромной популярностью в стране, к нему обращались со всевозможными просьбами люди разных специальностей и социального положения.

Поэтому не удивительно, что переписка А. А. Шахматова включает до 17 тысяч писем от 1835 различных корреспондентов[1]. Сердцевиной всей огромной переписки А. А. Шахматова является его переписка с Ф. Ф. Фортунатовым и Ф. Е. Коршем — его учителями, единомышленниками и друзьями.

С Фортунатовым Шахматов познакомился в 1879 г., будучи еще учеником 5 класса гимназии. По программе, составленной Фортунатовым, он тогда стал заниматься сравнительным изучением греческой фонетики, старославянским, санскритским и латинским языками. Он стал посещать лингвистический семинар Фортунатова в университете. В 1883 г. Шахматов после окончания гимназии поступает в Московский университет и делается преданным и ревностным учеником Фортунатова. Вспоминая первое свое знакомство с Фортунатовым, Шахматов в своей «Автобиографии» пишет: «Ф. Ф. Фортунатов отнесся к Шахматову с отеческою заботою и принял его всецело под свое руководство»[2].

Со вторым своим учителем, Ф. Е. Коршем, оказавшим большое влияние на развитие научных взглядов Шахматова, он познакомился годом позже, в 1880 г.

С тех пор до самой смерти Ф. Ф. Фортунатова (1914 г.) и Ф. Е. Корша (1915 г.) Шахматов поддерживал с ними тесные дружеские отношения.

Переписка Шахматова с своими учителями и соратниками продолжалась около тридцати лет. Об интенсивности этой переписки можно судить по тому, что одних только писем Шахматова к Фортунатову сохранилось около 250.

Переписка трех выдающихся русских языковедов, оригинальных и самостоятельных исследователей, представляет большой интерес для истории языкознания в России в конце прошлого и в первом десятилетии нашего столетия. Основная часть переписки А. А. Шахматова с Ф. Ф. Фортунатовым и Ф. Е. Коршем, в количестве около 600 писем, охватывающих хронологические рамки с 1885 по 1913 г., подготовлена к печати сотрудниками Архива АН СССР.

Ниже публикуются с краткими подстрочными комментариями некоторые письма из переписки А. А. Шахматова с Ф. Ф. Фортунатовым. Отдельные места чисто бытового характера в письмах опускаются.

С. Г. Бархударов

---

[1] См. С. А. Еремин, Бумаги акад. А. А. Шахматова, «Изв. по русск. яз. и словесн.», т. II, кн. 2, 1929, стр. 683.

[2] А. А. Шахматов, Автобиография, сб. «Алексей Александрович Шахматов. 1864—1920», Л., 1930, стр. 5.

1

А. А. Шахматов — Ф. Ф. Фортунатову

25 июля 1889. Губаревка.

Многоуважаемый Филипп Федорович!

Очень о Вас соскучился, и не от кого узнать что-нибудь о Вас, как Вы поживаете и что поделываете. Вот уже два месяца как я Вас не вижу, и ни одного известия о Вас.

Последние дни я был занят дополнениями к грамматике Лескина по Остромирову евангелию, которые мы с Щепкиным задумали поместить как приложение к нашему переводу[1]. Обо многом хотелось бы при этом поговорить, тем более, что уверен, что кое в чем мы со Щепкиным разойдемся. Особенно интересным является вопрос об ѣ = ꙗ, на который Лескин обратил слишком мало внимания. Не надеюсь получить ответа на мое письмо, но прошу Вас высказать Щепкину, если он к Вам обратится, свое мнение насчет появления ѣ вместо ꙗ в кирилловских и глаголических памятниках. Я именно предположил в своих дополнениях, отосланных уже Щепкину, что ѣ в кирилловских рукописях обозначает *а*, смягчающее предшествующую согласную в противоположность ꙗ, которое = *ja*. Смягчающее согласную *а* в старославянском языке существовало, напр., в положении за **ж**, **ч**, **ш**, **шт**, (**щ**), **жд**, **ц**, **ѕ**, **с** (в слове **вьсь**), поэтому при обыкновенном написании **жа**, **ча**, **ша** и т. д. мы найдем **жѣ**, **чѣ**, **шѣ** и т. д. (но не **жы**, **чы**, **шы**); точно так же **вьсѣкъ** следует читать *vьs*[i]*akъ* (ср. русское *всякъ*); далее такое *а*, смягчающее предшествующую согласную, являлось в образованиях с суффиксом *-janinъ*; слова *seljaninъ*, *mirjaninъ* и т. д. вызывали с одной стороны **егупьцанинъ**, **моавицанинъ**, *rimljaninъ* (пишется **римльнинъ**), *samarjaninъ* (пишется **самарьнинъ**), с другой *egupt*[i]*aninъ*, *rum*[i]*aninъ*, *samar*[i]*aninъ* и т. д. (**егуптѣнинъ**, **роумѣнинъ**, **самарѣнинъ**); такое же *а* является в родительном **господѣ** Зографского евангелия и в единичных словах, как *tr*[i]*ava*, *podr*[i]*ažati* (**трѣва**, **подрѣжати**) при **трава**, **подражати** (ср. русск.

---

[1] А. Лескин, Грамматика старославянского языка. Перевод с немецкого с дополнением по языку Остромирова евангелия, М., 1890. В предисловии, написанном А. А. Шахматовым, сказано: «Согласно своему взгляду проф. Лескин строит старославянскую грамматику на памятниках так называемой „паннонской“ редакции, язык которых совершенно или почти не тронут вторжением новых славянских наречий; Остромирово Евангелие, древнейший датированный памятник старославянского языка, в противуположность первому изданию книги Лескина, совершенно не принимается в соображение, как памятник русской письменности, не представляющий старославянского языка в его чистом виде. Взгляд этот во всяком случае представляет крайность: писец Остромирова Евангелия очень строго придерживался своего подлинника, и внесенные им руссизмы в большинстве случаев легко узнать и выделить; между тем введение Остромирова Евангелия в круг исследования значительно обогащает наши сведения по диалектологии старославянского языка: из-под русской редакции памятника выступает особый тип самого старославянского языка, во многом отличный от говоров „паннонских“, но не уступающий им по древности и чистоте; существование такого особого типа подтверждается также и другими, менее значительными и менее древними памятниками (отчасти и самими „паннонскими“), а Остромирово Евангелие является его древнейшим и наиболее полным представителем. Ввиду этого переводчики взяли на себя труд дополнить грамматику Лескина фактами языка Остромирова Евангелия; в этом дополнении обзор русских особенностей, а также фонетики и склонения Остромирова Евангелия принадлежит А. А. Шахматову, обзор спряжения — В. Н. Щепкину».

гряница при *граница*). Если в кирилловском памятнике — **израильтѣнинъ, вьсѣкъ, трѣва** = *izrailьt*^{i}*aninъ, vьs*^{i}*akъ, tr*^{i}*ava*, а **конꙗ, цесарь, поклаиꙗти** = *konja, cesarja, poklanjati*, то единичные случаи, как **конѣ, господьнѣ** (**гнѣ** именит. ед. ж. р. в Остромировом евангелии), мы должны читать *kon*^{i}*a, gospodьn*^{i}*a* и может быть сравнивать чередование *konja* и *kon*^{i}*a* с чередованием *konjь* (**конь**) и *konь* (**конь**), *konji* (**кони**) и *koni* (**кони**), которое находим и в кирилловских и глаголических рукописях. Следовательно, появление **ѣ** вместо **ꙗ** после согласных **р, л, н** в кирилловских памятниках (а в другом положении **ѣ** вместо **ꙗ** мы здесь и не находим) было бы тождественно с утратой иота за **р, л, н**. Частое появление в Остромировом евангелии случаев, как **раздѣлѣѭще, съмѣрѣѭнсѧ, срамлѣѭсѧ** и т. д., может быть обусловлено тем, что *j* в слоге за *rja, lja, nja* влиял на переход этих сочетаний в *r*^{i}*a, l*^{i}*a, n*^{i}*a*; точно так же появление *r*^{i}*a, l*^{i}*a, n*^{i}*a* вместо *rja* и т. д. в случаях, как **кланѣашесѧ, молѣахъ, вънѣнѣаго**, вызвано может быть влиянием следующего звука [1].

Очень жалею, что не имею под руками отпечатанных листов Ваших лекций [2], где, вероятно, Вы уже говорите об относящихся сюда явлениях. На днях перепишу статью об ударениях Смирнову [3] и примусь за приготовление к экзамену Стороженки [4]. [...]

Ваш А. Шахматов

2

А. А. Шахматов — Ф. Ф. Фортунатову

18 сентября 1892. Губаревка.

Многоуважаемый Филипп Федорович!

Теперь много очень работы по участку и присутствие земского начальника на месте необходимо [5].

---

[1] Поднятый в письме вопрос об **ѣ** = **ꙗ** изложен Шахматовым на стр. 162—164, а также на стр. 169 указанного перевода грамматики Лескина.

[2] «Лекции по фонетике старославянского (церковнославянского) языка» Ф. Ф. Фортунатова печатались в Московской университетской типографии в 1888—1893 гг. Было отпечатано 16 листов; издание как неоконченное позже уничтожено типографией. Лекции опубликованы Отделением русского языка и словесности Академии наук в 1919 г. С этого издания лекции перепечатаны во 2-м томе «Избранных трудов» Ф. Ф. Фортунатова (М., 1957).

[3] Статья Шахматова «К истории сербо-хорватских ударений» для журнала «Русский филологический вестник», редактором которого был А. И. Смирнов. Статья напечатана: в т. XIX, № 2, 1888, стр. 157—227; в т. XX, № 3—4 («Поправки»), 1888, стр. 321—322; в т. XXIII, № 2, 1890, стр. 171—218 и в т. XXIV, № 3, 1890, стр. 1—28.

[4] Шахматов сдал последний магистерский экзамен по всеобщей литературе у проф. Н. И. Стороженко (на заседании историко-филологического факультета Московского университета 24 января 1890 г.).

[5] В своей автобиографии (указ. соч., стр. 6) А. А. Шахматов пишет: «Осенью 1890 г. начал, в качестве приват-доцента Московского университета, читать курс истории русского языка, приняв вместе с тем на себя уроки латинского языка в VII гимназии, по предложению директора ее, покойного К. К. Войнаховского. Но в конце 1890 г., в связи с некоторыми душевными переживаниями, решил оставить Москву и взять место земского начальника Саратовской губ., где эта должность предназначалась ко введению с 1 июля 1891 г. С увлечением Шахматов стал изучать крестьянский быт и формы крестьянского землевладения. 1891 год оказался неурожайным, и для пострадавшего населения потребовалась продовольственная помощь. В 1892 г. Саратовскую губ. посетила холера, и там начались холерные беспорядки».

Письмо Ваше получил, и оно меня очень обрадовало. Мне очень тяжело живется в разлуке с Вами и постоянно тянет в Москву, в особенности же теперь, как я стал заниматься. Приехать в настоящее время не могу, но почти уверен, что мне удастся быть в Москве в декабре, на праздники. [...] Для меня было новостью известие о том, что Миллер читает русскую литературу, и недоумеваю, что же сделалось с М. Соколовым[1]. Грустно подумать, что русский язык опять не читается в университете, и неужели это долго протянется.

Диссертация моя выходит очень обширной[2]: так много всяких вопросов связано с судьбой звуков *о* и *е* в русском языке и так много материала для суждения обо всем этом, что не могу теперь сказать и того, что диссертация набросана в общих чертах. Между загадочными вопросами стоит судьба конечного открытого *е*: думаю теперь, что *е* в таком положении переходило в *я* в наречиях русского языка только за двумя мягкими согласными и в связи именно с тем обстоятельством, что ему предшествовала группа мягких согласных: таковы группы *tj*, *dj*, *lj* и т. д. из *-tój*, *-doj*, *-loj* (напр. в *листья*, *колья*), таковы же *s'm*, *s't* в *есмя* и *естя*. Но *я* в *меня*, *тебя* не могу объяснить фонетически и склоняюсь к мысли о влиянии форм *мя*, *тя*, причем отношение *меня* вместо *мене* к *мя* такое же, как, например, отношение диалект. великор., малор., белор. вин. ед. *ею* вместо *ее* к *ю*. Если объяснить *меня* из *мене*, как явление фонетическое, непонятным останется южновеликор. *мене*, *тебе*, с одной стороны, северновеликор. формы, как *спитé*, *дадитé*, с другой.

Как я рад тому, что Корш возвращается в Москву: передайте ему пожалуйста, что мне очень грустно, что он меня совсем забыл.

О диссертации Будде[3] могу сказать то же, что Вы, но читал я ее (т. е. начало) с большим интересом, так как в ней сообщается очень много ценных данных и все-таки дается полное описание местного говора. Конечно, исследования нет, а где есть к тому попытки, то неудачные, но все же статья Будде является, думаю, очень ценным вкладом в нашу науку. Очень боюсь, лишь только вопрос идет о местном говоре: в сказках Афанасьева[4] нашел образцы говора Тамбовской губернии, который, на мой взгляд, является древнейшим типом южновеликорусского говора в отношении судьбы неударяемых *е*: здесь *е* неударяемое перед твердым слогом =*я* (из *е*), а перед мягким =*и*. Хотелось бы знать что-нибудь побольше об этом говоре и неоткуда взять. Статьи Соболевского о русских диалектах в «Живой Старине» еще не читал[5].

[...] Постоянно занят теперь мыслию о свидании с Вами и, надеюсь, с Федором Евгеньевичем.

С совершенным уважением остаюсь

Ваш А. Шахматов.

---

[1] В. Ф. Миллер, занимавший кафедру санскрита и сравнительного языкознания, в 1892 г. перешел на кафедру русского языка, оставив за собой и преподавание санскрита. В этом году он получил степень доктора русского языка и словесности honoris causa. Занимавший кафедру русского языка и словесности с 1889 г. М. И. Соколов специализировался по истории славянских литератур. Русский язык продолжал читать Р. Ф. Брандт. Такое распределение было сделано с целью предупредить предполагавшееся назначение в Московский университет А. С. Будиловича.

[2] Шахматов начал работать над диссертацией «Исследования в области русской фонетики» в конце 1891 г. В конце 1892 г. он послал в редакцию «Русского филологического вестника» вводную часть (первые четыре главы) диссертации. Вся диссертация была напечатана в РФВ в 1893 г. (т. XXIX, № 1—2; т. XXX, № 4) и в 1894 г. (т. XXXI, № 1—2).

[3] Е. Ф. Будде, К диалектологии великорусских наречий. Исследование особенностей рязанского говора. [Магист. диссерт.], Варшава, 1892.

[4] А. Н. Афанасьев, Народные русские сказки, М., 1855—1863.

[5] А. И. Соболевский, Очерк русской диалектологии. «Живая старина», 1892, вып. 1—4.

3

Ф. Ф. Фортунатов — А. А. Шахматову

12 декабря 1892. **Москва.**

Дорогой Алексей Александрович!

Я уже несколько дней тому назад решил, что буду писать к Вам сегодня вечером, и именно сегодня я получил Ваше письмо. Как Вам не стыдно думать, будто я забываю Вас! Редкий день проходит без того, чтобы я не вспомнил Вас и не чувствовал бы потребности обменяться с Вами то теми, то другими мыслями. Что же касается того, что я до сих пор не отвечал Вам, то помимо моей лености (Вы обещали мне быть к ней очень снисходительным) было еще одно обстоятельство, по которому я все оттягивал мой ответ. [...] Вы просили меня в предпоследнем Вашем письме прислать Вам отпечатанные листы моей славянской фонетики, но до осени этого года я не возобновлял прерванного печатания моих лекций и только в октябре (еще до получения Вашего письма) сдал в типографию часть рукописи на несколько печатных листов. До сих пор, однако, ни один лист еще не отпечатан начисто (тут уж не я виноват). Посылаю Вам пока один лист в предпоследней корректуре; другой лист давно уже набран, но я еще не получал его сверстанным. Вы удивляетесь, конечно, тому, что так медленно идет печатание моих лекций; я и сам готов удивляться этому, хотя наученный опытом я и в будущем предвижу то же и решительно отказываюсь определить, когда, наконец, будут окончены эти лекции, не только в печати, но и в рукописи. В течение зимы я, может быть, слишком много времени отдаю занятиям текущими лекциями, а летом я не способен усидчиво заниматься. Кроме того, у меня, кажется, развивается привычка работать все медленнее и медленнее. Порою я мечтаю о том, как хорошо было бы, если б мне удалось получить командировку зимою на несколько месяцев, и при том командировку в Москву же (не в Москве я бы уж совсем ничего не сделал), но привести эти мечты в исполнение нет, конечно, возможности, так как в университете у меня нет ни одного товарища в деле преподавания. Положение, в каком находится у нас теперь лингвистическое изучение языка, ужасное; прежде всего в этом виноват новый устав[1], а, кроме того, виноваты и профессора. У нас очень много профессоров-классиков (с этого года мы приобрели еще Шеффера и Соболевского[2]), а между тем не только вовсе не читаются курсы по грамматике древних языков, но даже и Гомер давно забыт. Мне страшно досадно то, что Федор Евгеньевич в числе обязательных часов лекций имеет практические занятия по латинскому языку, т. е. занимается со студентами переводом басен Крылова. Существуют у нас, правда, лингвистические курсы Брандта, но мне-то от них помощи нет, а вред пожалуй и есть; кстати, видели ли Вы недавно напечатанные Брандтом Лекции по русскому языку[3]? При таком положении дела я не мог бы решиться взять отпуск хотя бы и на один месяц, тем более что, несмотря на крайне неблагоприятные условия,

---

[1] Имеется в виду реакционный университетский устав 1884 г., принятый при министре просвещения И. Д. Делянове. Новый устав значительно снизил научный уровень университетского преподавания.

[2] Сергей Иванович Соболевский, ныне член-корр. АН СССР.

[3] Р. Ф. Брандт, Лекции по исторической грамматике русского языка, вып. I — Фонетика, М., 1892.

и даже к моему величайшему удивлению, у меня все-таки и в этом году есть слушатели на необязательном курсе, именно на курсе готского языка; имейте в виду то, что эти студенты (третьего, второго и первого курсов) не имели еще возможности познакомиться с общим курсом фонетики, так как по нашему новому учебному плану я должен читать сравнительную фонетику и морфологию только на четвертом курсе (на первом—общее введение).

Так вот в каком печальном положении мы находимся. Когда же Вы-то, наконец, приедете к нам?

Очень и очень рад я тому, что Вы начинаете печатать Вашу диссертацию, а нехорошо только то, что Вы не хотите приехать в Москву на праздниках. [...]

Федор Евгеньевич часто бывает у меня по четвергам; он чувствует себя, кажется, хорошо, хотя несколько утомляется, так как у него 14 часов лекций и уроков (в университете, в Лазаревском институте и у Фишер)[1]. Вероятно, Вы скоро получите от него письмо; по крайней мере, он говорил, что собирается писать к Вам.

[...] Диспут Будде будет в январе; он был отложен потому, что Миллер (второй оппонент, а первый — Брандт) не находил пока времени для изучения диссертации Будде. Будде просится теперь в Варшаву; Лавров, хотя и получил уже назначение в Варшаву, отказывается, однако, так как кафедра Будиловича для него не подходящая[2]. [...]

4

Ф. Ф. Фортунатов — А. А. Шахматову

21 декабря 1893. Москва.

Дорогой Алексей Александрович!

Напрасно Вы не подали до сих пор прошения о диспуте; теперь ближайшее заседание факультета будет во второй половине января, так что Ваш диспут может состояться не ранее февраля[3]. Я хорошо понимаю то, что Вы утратили всякую способность судить о Вашей книге; я сам находился в таком же положении относительно своей диссертации и даже слишком долго, так как в течение многих лет я не имел мужества прочесть из нее несколько страниц. Таким образом на основании собственного опыта я советую Вам не заглядывать пока в Вашу книгу и по возможности меньше думать об ней. Сам я нахожу в Вашей диссертации и массу фактов и постоянную работу мысли; читать ее не легко по тому самому, что ее надо изучать, но диссертация такою и должна быть. Вы ставите и решаете ряд совершенно новых вопросов; надо думать поэтому, что тут или там Вы

[1] Вернувшись из Одессы, Ф. Е. Корш продолжал преподавание в Московском университете по кафедре классической филологии. С 1892 г. он начал также преподавать персидскую словесность в Лазаревском институте восточных языков. В частной классической женской гимназии С. Н. Фишер Корш преподавал латинский и греческий языки.

[2] А. С. Будилович, занимавший в Варшавском университете кафедру старославянского и русского языков, в сентябре 1892 г. был назначен ректором Юрьевского университета.

[3] Защита состоялась 12 марта 1894 г. Официальными оппонентами были Ф. Ф. Фортунатов и Р. Ф. Брандт. Факультет присудил Шахматову, минуя магистерскую степень, степень доктора русского языка и словесности.

ошибаетесь, но даже и в этих случаях читатель, интересующийся вопросом, не может не быть благодарен Вам за то, что он узнает от Вас. Я нахожу совершенно излишним останавливаться теперь на разборе тех или других Ваших выводов; общее мое мнение то, что Ваша книга представляет собою вполне научное исследование по фонетике русского языка и что таких исследований, по крайней мере по специальному вопросу, у нас до сих пор не было. Если бы Вы начали печатать Ваше сочинение уже после того, как оно было бы Вами все написано, Вы, может быть, в некоторых отделах облегчили бы работу читателя, но это пункт второстепенный, не касающийся достоинств Вашей книги как диссертации. Ваши заключительные слова я нахожу лишними; при чтении их невольно является улыбка, и я уже подметил ее у некоторых лиц[1]. Итак, не откладывайте, пожалуйста, дела с диспутом. Мнение Федора Евгеньевича, я уверен, в общем сходится с моим; когда я его видел в последний раз, он еще не читал всей Вашей книги (с частью ее он прежде уже познакомился из «Филологического Вестника»), но и тогда он находил ее «очень интересною». Сегодня я получил письмо от Смирнова; он пишет, что переслал в московский магазин Карбасникова 250 экземпляров Вашей книги. Как добывать теперь те экземпляры, которые нужны будут для факультета? Едва ли это можно сделать раньше Вашего приезда. Я мечтал было о том, что увижу Вас 2-го января, но теперь не смею надеяться на это. Во всяком случае, однако, Вы бы сделали очень хорошо, если бы приехали сюда заблаговременно, а не к самому диспуту. Недавно швед Торбьернсон (он был в Москве два года тому назад) прислал мне несколько экземпляров своей диссертации на шведском языке: Likvida-Metates i de slaviska Språken[2]; один экземпляр для Вас, с надписью автора, но я думаю нет надобности посылать Вам теперь эту брошюрку (22 страницы), так как нового для себя и интересного Вы в ней немного найдете (автор пользовался, между прочим, Вашими литографированными лекциями)[3]. [...]

На днях я думал об общеславянском окончании форм 2-го л. ед. ч. настоящ. врем. в тематическом спряжении. Я возвращаюсь к моему старому мнению о том, что общеславянский язык имел здесь только *-ši*, причем *i* я определяю как краткое (без ударения) из *ī* со старою длительною долготой; индоевропейский суффикс *-sʸ* в тематическом спряжении не был получен еще, по-видимому, литовско-славянским языком. Но об этом, как и обо многом другом, поговорим при свидании. [...].

---

[1] Фортунатов имеет в виду следующий заключительный абзац «Исследования»: «В заключение этого исследования я предполагал поместить две главы, в которых должны были быть описаны современные живые говоры по отношению к звуковой стороне их, связанной с судьбою звуков *о* и *е*. Но в настоящее время недостаток материала не дозволяет мне привести мое предположение в исполнение. Читатель заметил, как мало я знаком с живыми русскими говорами, уже из предшествующих страниц; не решаюсь поэтому выступить в конце исследования с случайным и ненадежным материалом, имеющимся у меня под руками. Скажу больше, я знаю, что выпускаю в свет сочинение недостаточно продуманное и обработанное. Все, что уже сделано по изучению русского языка, все, что уже напечатано относительно живых его говоров, могло бы в значительной степени осветить ряд вопросов, оставшихся у меня не выясненными».

[2] По поводу этой диссертации Фортунатов написал Торбьернсону письмо от 21 ноября 1894 г. Письмо это Торбьернсон опубликовал в журнале «Slavia» (ročn. II, seš. 4, 1924, стр. 296—302). Фортунатов в нем излагает свою точку зрения на историю группы *tort, tolt, tert, telt* и начальных *ort, olt* в славянских языках.

[3] Имеется в виду книга: А. Шахматов, Русский язык. Лекции, читанные в Московском университете в 1890—1891 гг., литограф. изд., 1891.

5

Ф. Ф. Фортунатов — А. А. Шахматову

26 марта 1894. Москва.

Дорогой Алексей Александрович! Вчера получил я Ваше письмо и, как видите, сейчас же отвечаю. Вы только что уехали от нас, а у меня есть уже просьба к Вам, и я хотел бы надеяться, что этот раз Вы не откажете мне. Дело вот в чем. Вчера я получил письмо от Ягича, который пишет, между прочим, следующее: «У меня не (sic) первого м. б. родилась мысль, но она нашла отклик и в Питере: нам хотелось бы привлечь Шахматова к Академии, где он был бы, надеюсь, очень достойный представитель русской грамматической науки. Спросите его, поговорите с ним, внушите ему эту мысль, если Вы одобряете ее. Сначала он был бы избран в адъюнкты и положение его было бы очень удобное: он мог бы жить для науки. Прошу не давать этому запросу гласности, а оставить его между нами, т. е. узнать расположение Шахматова и, если он согласится, пусть напишет мне или сам, или через Вас». До сих пор Ягич, теперь буду говорить я. Убедительнейшим образом прошу Вас не отказываться от этого предложения: в настоящее время это самое лучшее, что можно было бы придумать, и я лично чрезвычайно благодарен Ягичу за его предложение. Не предвижу даже, какие существенные возражения могли бы Вы сделать по поводу этого предложения. Правда, что я, частью в эгоистических видах, очень желал бы видеть Вас профессором в Московском университете, но, как Вы знаете, в настоящую минуту такое мое желание не может быть исполнено до перемены некоторых обстоятельств, а между тем впоследствии, когда изменятся эти обстоятельства, ничто не помешало бы Вам, если бы Вы желали этого, перейти к нам из Петербурга, причем Вы сохранили бы и звание члена Академии. Так, пожалуйста, Алексей Александрович, не огорчите меня отказом![1]

В последней книжке «Архива» Ягич поместил небольшую (предварительную) заметку о Вашей книге (впрочем, почти на трех страницах)[2]; его общее мнение, которое он повторяет и в письме ко мне, что Ваш «труд написан с большою виртуозностью; его надо изучить, и это нелегко дается». В письме ко мне он прибавляет: «после таких неудачных диссертаций, какие представляют сочинения Мочульского[3], Яковлева[4], Булича[5], Шимановского[6], приятно, наконец, свободно вздохнуть и воскликнуть «jeszcze наша наука nie zginęła». В отзыве же, напечатанном в «Архиве», Вам несколько достается за то, что Вы слишком верите своему учителю, а известно, что проф. Фортунатов вообще склонен переносить явления новых славянских языков в их зачаточном виде в общеславянский язык.

---

[1] 18 мая 1894 г. Шахматов получил официальное предложение от имени Отделения русского языка и словесности за подписью А. Ф. Бычкова принять звание адъюнкта Академии. Шахматов ответил согласием. 6 октября в заседании ОРЯС Шахматов избран адъюнктом АН. 12 ноября общее собрание АН утвердило решение ОРЯС. В декабре Шахматов переехал в Петербург.

[2] «Archiv für slav. Philol.», Bd. 16, Hf. 1—4, 1894, стр. 284—287.

[3] В. Мочульский [проф. Новороссийского университета на кафедре русского языка, историк литературы], Следы Народной Библии в славянской и в древнерусской письменности. [Докт. диссерт.], Одесса, 1893.

[4] В. А. Яковлев, К литературной истории древнерусских сборников. Опыт исследования «Измарагда». [Докт. диссерт., защищенная в Петерб. ун-те], Одесса, 1893.

[5] С. К. Булич, Церковнославянские элементы в современном литературном и народном русском языке, ч. 1. [Магист. диссерт.], СПб., 1893.

[6] В. С. Шимановский, Очерки по истории русских наречий. Черты южнорусского наречия в XVI—XVII вв., Варшава, 1893.

Понятно, что наши соображения относительно общеслав. *ě*[e] для Ягича не имеют ничего убедительного; он не верит в общеслав.* *žěna*, так как в южнославянских языках он находит *žena*. Построение общеслав. **äzero* ему кажется крайне странным; во всяком случае, говорит он, из *ä* никак не получилось бы русск. *о* (а что именно получилось бы, он, кажется, не говорит). Впрочем, нельзя было и ждать, конечно, чтобы Ягич был на нашей стороне; он никогда не был лингвистом, а с годами у него, кажется, растет отвращение ко всякой попытке действительно научного объяснения явлений языка, по крайней мере в области фонетики. Приходится мириться с тем, что у славистов пока еще мало лингвистического интереса, хотя, впрочем, и классики в общем не лучше их в этом отношении. Я уверен, что почти всякий из славистов, кто заинтересуется Вашею книгой, придаст в ней главную цену обильному материалу, сообщаемому Вами, а в самом исследовании увидит чуть не пустую забаву, как будто все дело при исследовании языка сводится к собиранию материала и к какой-нибудь внешней группировке его. Вот почему я очень желал бы в интересах лингвистики вообще, чтобы Вы заняли такое положение, при котором имели бы возможность писать много, и в этом отношении что же может быть лучше положения члена Академии. Право, я очень и очень порадовался бы за нашу науку, если бы увидел Вас в Академии, и думаю даже, что в настоящее время там Ваша деятельность будет для науки еще более полезна, чем если бы Вы заняли кафедру в университете. Конечно, трудны будут первые шаги, но подумайте, чего Вы можете достигнуть впоследствии. Впрочем я что-то уж замечтался; так понравилась мне мысль видеть Вас академиком.

На днях я получил еще одно письмо, касающееся Вас: от Ляпунова. Этот пишет восторженно: «меня радует защита диссертации А. А. Шахматова, как торжество языкознания в России». Он очень благодарен Вам за присылку Вашей книги, и «особенно дорого» ему то, что Вы и об нем вспомнили. Не зная Вашего московского адреса, Ляпунов просит меня передать Вам его благодарность, поздравление и пожелание всего лучшего, «в особенности же пожелание не лишать университета своих лекций»[1].

Вчера я был в Восточной Комиссии: слушал сообщение Федора Евгеньевича о древнеиндийской метрике[2]. [...]

6

А. А. Шахматов — Ф. Ф. Фортунатову

20 апреля 1894 г. Губаревка.

[...] Сейчас получил рецензию Соболевского на мою диссертацию[3]. Конечно, она мне не понравилась. Я ожидал более дельной критики и более подробного разбора. Думаю, что не следует отвечать. Меня очень уди-

---

[1] Б. М. Ляпунов, ученик Ягича, оставленный при Петербургском университете, в 1887 г. сблизился с московским кружком Фортунатова. На диссертацию Шахматова он поместил две прекрасные рецензии: в «Записках Харьковского университета» (1894, кн. 4, стр. 1—28) и в «Живой старине» (1895, вып. 1, стр. 101—116).

[2] Ф. Е. Корш был председателем Восточной комиссии при Московском археологическом обществе с 1887 г. См. его работу: «Опыт ритмического объяснения древнеиндейского эпико-дидактического размера çlokas», в кн. «Древности восточные. Труды Восточной комиссии Имп. Моск. археол. о-ва», т. II, вып. I, М., 1896, стр. 133—162.

[3] Рецензия А. И. Соболевского была напечатана в ЖМНП (1894, январь, стр. 233).

вило то, что Соболевский говорит о новом *ie* (из общеслав. *e*) в малорусском языке. Я думал, что для него вполне ясно появление *o* и *e* в общеславянском языке и последующее распадение их в малорусском языке на дифтонги. Оказывается и это не ясно! Вообще мне представляется, что Соболевский мало думал, когда писал свою рецензию. Рад, что он не задел Вас, хотя очень странно выражение: «не знаю, откуда Шахматов взял эти *he*, *ho*». Во всяком случае я еще более укрепляюсь в мысли, что мне следует нынешним же летом заняться живыми говорами и сообразно с новым материалом подвергнуть свою работу переделке. [...].

7

Ф. Ф. Фортунатов — А. А. Шахматову

27 апреля 1894. Москва.

[...] каждый день мне приходится заниматься и поправкою лекций для студентов 4-го курса, и писанием вновь лекций для студентов 1-го курса, так как так называемый составитель лекций вместо курса, читанного мною в этом году, представил мне список с литографированного издания прошлого года.

[...] Рецензии Соболевского я еще не видел. Корш читал ее и говорил мне, что кое-чего не понял в ней.

В последней книжке «Мемуаров парижского лингвистического общества» начата статья Соссюра об ударении в литовском языке[1]. Его отношение ко мне очень любезное, и я рад этому, так как сам очень ценю Соссюра. Как только покончу поправку лекций на даче, примусь за окончание первого отдела моей статьи для «Филологического Вестника».

На днях я получил от Бойе вместе с письмом ко мне также незапечатанное письмо к Вам[2]. Пересылаю его Вам. [...]

8

А. А. Шахматов — Ф. Ф. Фортунатову

7 мая 1894. Губаревка.

Многоуважаемый Филипп Федорович! Благодарю Вас за Ваше письмо: меня очень обрадовало то, что Вы пишете о Соссюре. Что бы сказал Соссюр, если бы знал Вас лично, а не по одним малочисленным Вашим статьям. В сущности, напр., о литовском ударении у Вас ничего нет напечатанного. Мне неприятно, когда иностранцы путем кропотливых и глубокомысленных исследований, которые должны увековечить их научную славу, подходят к тому, к чему Вы уже давно пришли. А скоро то же будет с русскими с тою лишь разницею, что постоянно возможно будет подозрение в пользовании Вашими лекциями или словесными указаниями. Я е

---

[1] F. de Saussure, A propos de l'accentuation lituanienne, «Mémoires de la Société de linguistique de Paris», t. 8, fasc. 5, 1893.

[2] Французский лингвист — Поль Бойе (P. Boyer), профессор русского языка Института живых восточных языков в Париже, приезжал в Москву в 1891 г. для слушания лекций Фортунатова. В письмах к Фортунатову и Шахматову он поздравляет их с получением Шахматовым докторской степени.

нетерпением жду Вашей статьи в «Русском Филологическом вестнике» и писал о ней Смирнову[1].

[...] О поездке в центральные губернии мало что-то думаю. Но во всяком случае постараюсь осуществить ее в июле или августе. Меня тяготят упреки по поводу моей диссертации. Я хочу представить ряд объяснений и дополнений в форме статьи о живых русских говорах. Как бы мне хотелось поговорить с Вами об общеславянских ударениях. Очень хорошо сознаю, что я позволяю себе фантазировать и увлекаться недостаточным количеством фактов. Но явления напр. сербского ударения настолько интересны и вместе с тем закономерны, что проходить мимо их равнодушно, в надежде, что когда-нибудь кто-нибудь их разъяснит, невозможно. Особенно интересны статьи Даничича, где он рассматривает ударения в глаголах, именах[2][...]

9

Ф. Ф. Фортунатов — А. А. Шахматову

28 марта 1895. Москва.

[...] К нам приехал недавно из Германии лингвист Сольмсен, автор нескольких статей по латинскому и греческому языкам и дельной книги «Studien zur lateinischen Lautgeschichte»[3]. Сольмсен уже говорит несколько по-русски, а произношение у него очень порядочное (он бывший ученик Лескина), так что в скором времени он, конечно, будет говорить свободно. На лето Сольмсен думает ехать куда-нибудь в деревню для изучения русского языка.

Вчера я получил от Ульянова его новую книгу «Значение глагольных основ в литовско-славянском языке. II часть»[4]. Радуюсь успехам моего бывшего ученика и изумляюсь его энергии; начитанность в текстах у него замечательная. Очень, очень приятно мне и то, что между мною и моими бывшими учениками существует действительное духовное родство; думаю, что судьба меня балует в этом отношении не по моим заслугам. В последней книжке «Indogermanische Forschungen» напечатана статья Педерсена «Das indogerm. *s* im Slavischen»[5]. В послесловии (самая статья написана уже года два тому назад) автор упоминает и об моем взгляде на этот вопрос, но не соглашается со мною на том основании, что литовское *sz*, соответствующее славянскому *х* из *s*, известно только в положении после *i*, *u*, *r*, *k*; при этом, однако, Педерсен забывает отметить такой факт, что в литовском языке не существуют самые образования, соответствующие славянским *несох*, *береши*, а его мнение относительно того, что *несох*, *береши* получили *х* под влиянием других образований (*береши* будто бы под влиянием, напр., *велиши*), не представляется мне сколько-нибудь правдо-

---

[1] Речь, по-видимому, идет о статье «Об ударении и долготе в балтийских языках», опубликованной в РФВ (т. XXXIII, № 1—2, 1895, стр. 252—297). Статья была переведена на немецкий язык Ф. Сольмсеном.

[2] Исследования Ю. Даничича о сербском ударении печатались в «Rad Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti»: «Akcenti u glagola»—«Rad...», knj. VI, Zagreb, 1869; «Akcenti u adjektiva»— «Rad...», knj. XIV, 1871.

[3] F. Solmsen, Studien zur lateinischen Lautgeschichte, Strassburg, 1894. См. о ней рецензию М. М. Покровского в журнале «Филологическое обозрение» (т. VI, кн. 7, 1894).

[4] Первая часть книги Г. К. Ульянова —«Основы, обозначающие различия по залогам» (Варшава, 1891)— была его докторской диссертацией; вторая часть —«Основы, обозначающие различия по видам» (Варшава, 1895).

[5] «Indogerm. Forsch.», Bd. V, Hf. 1, 1895.

подобным. Вообще статья Педерсена на мой взгляд дает очень мало, а некоторые его соображения уж слишком невероятны; напр. относительно литовск. *s* будто бы из *š* в таких случаях, как *ausis* «ухо», винит. *aŭsi*, вследствие положения «nach schleifenden Ton», или напр. относительно происхождения русск. *дешевый*, которое он считает родственным с древнеперсидск. *dahyu* «страна», авест. *daŋhu* (из * *dasiu*), причем выводит такое заключение: «die Landesproducte sind mit dem Adjectiv **desiovo* — bezeichnet worden, das dann nachher die Bedeutung, „wohlfeil" angenommen hat»[1].

То дело о Смирнове, о котором Вам, кажется, писал Ульянов, не может устроиться[2]: члены факультета (напр. Соколов, Стороженко и, повидимому, Миллер) требуют прежде всего печатных трудов. Даже и Корш находит невозможным дать Смирнову докторство. Я думал бы, что относительно Смирнова следует принять во внимание его чрезвычайно полезную деятельность в качестве редактора филологического журнала, а также и то обстоятельство, что Смирнов уже давно занимает кафедру и теперь оканчивает службу, но в этом вопросе я не могу влиять сколько-нибудь на других членов факультета. Не можете ли Вы посоветовать Смирнову не обращать внимания на глупые придирки ректора; ведь место свое он занимает с полным правом, так как не мало потрудился уже в качестве преподавателя. [...]

10

А. А. Шахматов — Ф. Ф. Фортунатову

27 июля 1895. Губаревка.

Многоуважаемый Филипп Федорович! Только что вернулся в деревню после почти двухмесячных странствований по Калужской губернии[3]. Там я не нашел свободной минуты, чтобы написать Вам: такие были неудобные условия. Но путешествием своим я очень доволен. Никак не ожидал возможности извлечь такое множество интересных фактов языка. Главный интерес составляет ряд наблюдений, доказывающих, что многие явления, которые мы признавали специально белорусскими, характеризуют и южновеликорусские говоры. Так,—*ый* вместо *ой* под ударением, равно формы *рыю*, *мыю* и т. п. я слышал даже в восточной части Калужской губернии. Около Жиздры, также в восточной части губернии, постоянно слышится *жит'тё*, *бѣл'лё*, *суд'дя* и т. д. Я был поражен подобным результатом исследования в особенности потому, что он в значительной степени подтверждает мои сомнения о первобытности или самостоятельности белорусского наречия. Но я был совсем удивлен и до сих пор не разобрался в явившихся вследствие этого мыслях и предположениях, когда я на юго-востоке губернии, на границах с Брянским уездом Орловской губернии услышал акающий говор со всеми характерными особенностями других соседних говоров и вместе с тем с звуками *е* и *і*, не смягчающими предшествующей согласной: явление сходное с малорусским, но не тождественное уже пото-

---

[1] Продукты земли обозначались прилагательным **desiovo*, что впоследствии приобрело значение «дешево».

[2] Имеются в виду хлопоты некоторых профессоров Варшавского университета о присвоении Московским университетом докторской степени honoris causa магистру А. И. Смирнову, занимавшему место ординарного профессора.

[3] В июне—июле 1895 г. Шахматов посетил около 70 пунктов Мещовского, Мосальского и Жиздринского уездов. Он сделал много диалектологических записей, в том числе записал свыше 400 народных песен. Собранный материал обработан в статье «Звуковые особенности Ельнинских и Мосальских говоров» (РФВ: т. XXXVI, № 3—4, 1896, стр. 60—99 и т. XXXVIII, № 3—4, 1897, стр. 172—209).

му, что *je* также изменилось в *е*(*э*): *эсть*, *эсли* и параллельно с этим *ju* (*jy*) перешло в *у*: *знау* (с особенным *у*, которое Вы в Вашем общем курсе обозначаете кажется буквою *ÿ*). Кроме того *ы* весьма резко отличается от *i*.

Я много ходил пешком: это единственный способ, при котором можно было сохранить инкогнито, а инкогнито было для меня необходимо, в особенности в первую половину путешествия, когда у меня было совсем мало денег и я не мог придать смысла своему пребыванию среди крестьян — собиранием песен и записыванием их за деньги. Хотя я Вам не писал, но все время мысленно был с Вами и как будто советовался, как понять или исследовать то или другое явление. В результате я ужасно устал: приехал в деревню вчера и, что со мной бывает редко, до сих пор не могу взяться ни за какое занятие. Я Вам напишу на днях подробнее о своей поездке [...].

[...] . Чувствую, что теперь буду постоянно ездить по России: это моя задача и обязанность в особенности, когда видишь, как гибнут особенности русских говоров.

С совершенным уважением остаюсь Ваш А. Шахматов.

11

Ф. Ф. Фортунатов — А. А. Шахматову

7 декабря 1895. Москва.

Дорогой Алексей Александрович! Очень обрадовали Вы меня известием о том, что Ломоносовская премия присуждена Ульянову. Я уже начинал сильно опасаться, как бы не предпочли Флоринского, тем более что книга Флоринского напр. для Бычкова, конечно, гораздо понятнее сочинения Ульянова[1]. Поэтому, между прочим, я не спешил доставить Бычкову вторую часть моего разбора, так как напр. из моих возражений Ульянову по поводу совершенного вида Бычков мог бы открыть новый недостаток в сочинении Ульянова; я рад, что эта вторая часть не потребовалась для постановления решения относительно премии и что поэтому я могу не слишком спешить. Во всяком случае на будущей неделе я надеюсь отослать ее; она уже почти вся переписана, но некоторые места я опять переделал и снова переписываю. В том моем письме к Вам, которое пропало, я писал, что нахожу для самого себя очень полезным внимательное изучение книги Ульянова, хотя, конечно, неприятна была для меня срочность работы (на последней главе второй части я уже не имел времени подробно остановиться и говорю об ней только несколько слов); я понял теперь лучше некоторые факты в балтийском и славянском глаголе, между прочим и те явления, о которых мы с Вами говорили в Листвянах (почему напр. при *пошить* нет *пошивать* или почему напр. между *лететь* и *летать* существует различие в значении направления движения). Надеюсь, что разбор будет напечатан впоследствии, так как писал я его, конечно, не для Бычкова[2]. Очень странным кажется мне то, что

---

[1] В Отделение на Ломоносовскую премию в 1000 р. были представлены две работы: Г. К. Ульянова «Значение глагольных основ в литовско-славянском языке» и Т. Д. Флоринского «Лекции по славянскому языкознанию», отзыв о которой писал Р. Ф. Брандт. См. также рецензию Шахматова на этот труд в ЖМНП (1895, апрель, стр. 455—459). Книга Флоринского была перенесена на конкурс и награждена половинной Ломоносовской премией в 1897 г.

[2] «Разбор сочинения Г. К. Ульянова...» Ф. Ф. Фортунатова напечатан в «Отчете о присуждении Ломоносовской премии в 1895 г.» (Сб. ОРЯС, т. LXIV, №11, 1897, 158 стр.).

Отделение не поручило именно Вам составить доклад о сочинении Ульянова. В последнее время я так ушел в вопросы о значениях глагольных основ, что и до сих пор не подумал, как следует, по поводу предложенных мне Вами фонетических вопросов. Когда Вы приедете в Москву, мы поговорим с Вами, но приезжайте поскорее, не откладывайте до января; зачем Вам сидеть в Петербурге на праздниках?

Не очень давно я познакомился с молодым немецким ученым Бернекером, автором полезной книги «Die preussische Sprache»[1]; я, кажется, писал Вам об нем, но, может быть, в том письме, которое пропало. У Бернекера очень большое желание учиться, и мы много говорили с ним; он в восторге от Ваших лекций по русской фонетике и очень обрадовался, когда я ему сообщил, что Вы скоро приедете в Москву.

Сегодня я получил письма от Бычкова с извещением о том, что я избран в члены-корреспонденты; надо будет, кажется, писать благодарственное письмо. Вместе с тем Бычков выражает мне от имени Отделения живейшую благодарность за мой обстоятельный разбор сочинения Ульянова, но ни слова не упоминает о той части разбора, которой я еще не доставил. Повидимому, он думает, что получил уже от меня весь разбор (это показывает, как внимательно он читал его), и я боюсь, что он будет неприятно изумлен, когда получит окончание разбора. Впрочем, для общей оценки сочинения Ульянова эта часть моего разбора вовсе не требуется; на те пункты во второй книге Ульянова, которые я признаю особенно важными, я уже указал в общем заключении, доставленном мною Бычкову вместе с первою частью разбора. Или может быть лучше будет не посылать окончания моего разбора до того времени, когда будет уже объявлено присуждение премии? Сообщите мне Ваше мнение по этому поводу. [...]

12

Ф. Ф. Фортунатов — А. А. Шахматову

3 октября 1900. Москва.

Дорогой Алексей Александрович! Очень обрадовали Вы меня известием, что мне нет надобности спешить с подачею в Отделение подробного разбора книги Щепкина[2]. Продолжаю писать этот разбор и пока дошел до отдела о гласных ъ и ь в конце слов. Затем придется сказать кое-что по поводу «*l* epentheticum» (у Щепкина история этого *l* представлена как раз навыворот) и в особенности относительно *ѣ*. Я, как Вам известно, давно уже схожусь или почти схожусь с Вами во взгляде на букву *ѣ* вместо *а* после смягченных согласных; по-моему, это *ѣ* = *ęа* и свидетельствует о произношении старого, этимологического *ѣ* как *ęа* в части старославянских говоров. Для пояснения употребления буквы *ѣ* вместо *а* после смягченных согласных я привожу наблюдение (совершенно верное) Бругмана над произношением в литовских говорах групп «смягченная согласная + *а*»; напр., *medis* слышится, по определению Бругмана, как *mᵉädis* (где *ä* обозначает гласность очень близкую к *а* или даже совпадающую с *а*), т. е. с неслоговым иррациональным *е*, притом закрытым, в положении именно перед открытою гласною. Говоря о гласных ъ и ь, я вновь разъясняю мой

[1] E. Berneker, Die preussische Sprache. Texte, Grammatik, etymologisches Wörterbuch, Strassburg, 1896.

[2] В. Н. Щепкин, Рассуждение о языке Саввиной книги, СПб., 1899. Книга была представлена на премию в ОРЯС. Отзыв Ф. Ф. Фортунатова напечатан в «Отчете о присуждении премий имени графа Д. А. Толстого [в 1900-м году]» (Сб. ОРЯС, т. LXIX, 1901). Щепкин получил золотую медаль.

термин «иррациональные» гласные и указываю на то, что у Сиверса ему соответствует теперь термин «überkurz»; прежде Сиверс ошибочно отождествлял такого рода звуки с звуками редуцированными, между тем как в действительности это не одно и то же: не всякая иррациональная гласная является непременно редуцированною, хотя всякая редуцированная гласная принадлежит к звукам иррациональным, «überkurz». При изучении в книге Щепкина списка (впрочем, неполного) тех случаев, в которых **ъ** и **ь** между согласными в Саввиной книге частью пропускаются, частью пишутся, я заметил (еще тогда, когда приготовлял возражения для диспута), что такие случаи, как **мьнит, чьтет** и т. д., всегда без пропуска иррациональной гласной в Саввиной книге (при **мнѣ, многъ, что**), дают ясное указание на присутствие ударенья на иррациональной гласной, т. е. на сохранение в старославянском языке общеславянского места ударения в таких образованиях (ссылаюсь, понятно, и на Вас). До сих пор, кажется, не были извлекаемы из старославянских текстов какие-либо указания на место ударения в словах; понятно, что надстрочные знаки и в Киевских отрывках — нотные, такие же, какие при некоторых других знаках мы находим и в Новгородских листках.

Очень позабавил меня гнев Вондрака на меня, выраженный в первых строках его рецензии на книгу Щепкина[1]. С другой стороны, неприятное впечатление произвел на меня отзыв Лескина о мнении Щепкина по поводу Киевских листков[2]; Ягичу позволительно фантазировать в области подобного рода вопросов, но от Лескина я не ждал бы такой наивности в вопросе лингвистики.

На прошлой неделе я получил письмо от Ягича и сегодня послал ему ответ. Еще в январе или в феврале он просил меня написать для «Архива» статью по поводу книги Гирта «Der indogermanische Ablaut»[3]. Я отвечал ему тогда, что готов исполнить его желание (хотя критика теории Гирта и изложение моей теории относительно некоторых фактов общеиндоевропейского языка казались мне не вполне подходящими к программе «Архива»), но прибавил, что не находил бы желательными примечания редактора к моей статье, если мои мнения не покажутся ему убедительными. На это письмо я не получил ответа, но теперь Ягич пишет, что ждет от меня разбора книги Гирта и прибавляет: «Не только я сам писал Вам, что, конечно, отзыв Ваш будет напечатан в полном объеме (а о редакторских примечаниях ни слова!), но и через Шахматова я обращался вторично с просьбою не отказать мне в участии в журнале» и т. д. Кажется мне, что Ягич что-то путает; во всяком случае то его письмо, на которое он ссылается, не дошло до меня, да и Вы ничего не писали мне о просьбе Ягича. [...].

Поржезинский недавно послал в Отделение свой отчет. Очень хорошо было бы дать ему пособие, но предложение об этом пособии не лучше ли было бы внести не мне одному, но с Вами вместе, именно потому, что я лично слишком заинтересован в судьбе Поржезинского. Надо ли внести это предложение теперь же? Поржезинский может приступить к разработке полабского материала только тогда, когда окончит печатание своей магистерской диссертации; и то у него слишком уже затянулось это дело.

Ф. Е. Корша я не видел с весны. Сам я этой осенью нигде еще не был, а он навещает меня вообще только в то время года, когда бывают мои четверги, которые пока еще не начинались.

---

[1] См. «Archiv für slav. Philol», Bd. 22, Hf. 1—2, 1900.

[2] Выдержка из письма Лескина к Ягичу приведена в статье последнего о Киевских листках (см. там же).

[3] H. Hirt, Der indogermanische Ablaut, vornehmlich in seinen Verhältnis zur Betonung, Strassburg, 1900.

13

А. А. Шахматов — Ф. Ф. Фортунатову

15 января 1901. Петербург.

Многоуважаемый Филипп Федорович! Только что вернулся в Петербург[1]. Из Архангельской губернии мне так и не удалось Вам написать. Когда жил в самом городе, каждый вечер был занят списыванием одной важной рукописи, которая нашлась в Архангельском древлехранилище, а в уезде я к вечеру очень уставал, да и условия моих ночлегов не позволяли и думать о письменных работах. Все время проводил в крестьянских избах, навещая впрочем и священников для осмотра церковных архивов. В них оказывается много важного материала для истории края. В одной церкви я нашел 210 грамот XVI века, совершенно неизвестных и любопытных в особенности потому, что все они относятся к жизни одного прихода. Страшно подумать, что даже этим остаткам от прежних обширных собраний, погибших по большей части в огне, суждено пропасть по небрежению весьма невежественных священников, если не будут приняты какие-нибудь совершенно исключительные меры для изъятия этих сокровищ из церквей. Священники считают подобные документы ненужным хламом. В Курострове, на родине Ломоносова, священник подарил мне около 40 грамот XVI и XVII в.: разумеется, передам их в Академию. [...]

Для своей прямой цели я нашел не так много материала, как бы хотел: все, что восходит к XV веку и старше, как-то исчезло, расхищено. Но много пришлось сделать наблюдений по языку. Особенно меня поразило очень упорное произношение *г* (не *h*) в окончании родительного падежа местоименного склонения (*того*, *тёплого*). Странно, что *и* вместо *ѣ* почти не известно, в противоположность Вологде, где был проездом и успел послушать говор рыночных торговок. [...].

Получили ли Вы статью Gautiot «Étude sur les intonations serbes»[2], где много говорится о Вас? С нетерпением жду присылки обещанных Вами статей. [...].

---

[1] 16 ноября 1900 г. Шахматов был избран в члены Археографической комиссии. С 25 декабря 1900 г. по 7 января 1901 г. ездил по Архангельской губернии с целью собирания грамот. По возвращении сделал в Археографической комиссии доклад (23 января) о собрании актов Лодомского прихода Архангельского уезда.

[2] См. «Mémoires de la Société de linguistique de Paris», t. XI, fasc. 5, 1900.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1958

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

Л. В. КОПЕЦКИЙ

ДВУЯЗЫЧНЫЙ СЛОВАРЬ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

(На материалах русско-чешского и чешско-русского словарей)

В условиях тесного сотрудничества славянских народов во всех отраслях народного хозяйства, культуры, науки и техники лексикографическая работа, направленная на создание научно полноценных и вполне надежных двуязычных славянских словарей, приобретает особый смысл и значение. Такие словари делают доступным важнейший источник всякой информации — инославянский текст, т. е. книгу и периодическую печать, а также служат необходимым пособием при освоении и углубленном изучении того или другого славянского языка.

Но создание относительно полных двуязычных славянских словарей имеет, конечно, и научно-теоретическое значение. В настоящее время славянская лингвистика не располагает подробным описанием лексических систем славянских языков; нет даже выработанного для такого описания метода. Поэтому создание относительно полных двуязычных славянских словарей и подробная, теоретически хорошо обоснованная разработка в них словарных статей (с установкой на постоянное соотнесение данной лексической системы с системой другого славянского языка) может способствовать изучению этих систем, а также использованию собранного и обработанного в словаре материала в сопоставительном плане. Здесь можно сослаться на слова Бодуэна де Куртенэ, который говорил, что «хорошие описательные грамматики, издания памятников и словари останутся навсегда насущной потребностью нашей науки, и без них даже самым гениальным теоретическим выводам будет недоставать фактического основания»[1]. В частности, для развития сравнительного славянского языкознания двуязычные славянские словари будут иметь и уже имеют громадное значение.

Наконец, полные двуязычные славянские словари могут служить базой для создания двуязычных славянских словарей любого типа, подобно тому как описательная подробная грамматика служит базой для самых разнообразных грамматических пособий.

Общий характер планирования лексикографической работы по созданию двуязычных славянских словарей, обусловленный прежде всего общественной потребностью в них, определяется наличием уже имеющихся словарей, национальной лексикографической традицией и состоянием

---

[1] И. А. Бодуэн де Куртенэ, Некоторые общие замечания о языковедении и языке, цит. по кн. «Хрестоматия по истории языкознания XIX—XX веков», сост. В. А. Звегинцев, М., 1956, стр. 222.

лингвистических знаний, которые бы позволили теоретически обосновать собирание для словаря лексического материала и его обработку. Прямую зависимость лексикографической работы от указанных факторов можно легко проследить на истории обработки лексики любого из славянских языков[1].

Круг вопросов, с которыми неизбежно встретится каждый коллектив, приступая к созданию славянского двуязычного словаря, отвечающего, с одной стороны, современным лингвистическим требованиям, а с другой — практическим потребностям всех серьезно соприкасающихся с инославянским текстом, и составит, по нашему мнению, проблематику этого словаря. Определяющее значение для организации всей лексикографической работы имеет вопрос об общем характере предполагаемого словаря, его назначении, а в связи с этим и вопрос о его содержании и тематике. Более детальные вопросы касаются принципов обработки словарной статьи, грамматического комментария в ней, выделения значений, их документации цитатами и экземплификациями (примерами словоупотребления), учета синонимов, омонимов и антонимов, наконец фразеологии. Не менее важны и вопросы, касающиеся непосредственно самой работы; они обычно освещаются в подробных инструкциях для сотрудников.

Естественной базой для решения всех этих вопросов могло бы быть подробное описание лексической системы того или другого славянского языка. Однако такого описания нет, и поэтому отношения складываются обратные, т. е. наши сведения по лексикологии данного славянского языка в основном ограничиваются тем, что собрано и обработано в словарях. Поэтому продуманно построенный словарь является пока единственным источником наших сведений как о словарном составе языка, так и о каждом слове этого состава, а в какой-то мере, при соблюдении известных условий, даже и о положении слова в лексической системе данного языка. Конечно, назначение двуязычного словаря предполагает, кроме более или менее полных информаций о слове и его синтагматических возможностях, также раскрытие семантической структуры слова с точным и предельно исчерпывающим выражением ее в эквивалентах другого языка, в нашем случае славянского. Значит, по существу речь идет о эквивалентно-семантическом сопоставлении лексики двух славянских языков. Это и будет составлять специфику двуязычного славянского словаря.

Количество сведений о слове в двуязычном словаре зависит от типа словаря, его задач. В наших рассуждениях мы имеем в виду «полный» словарь, который мог бы служить базой для составления словарей других типов. Подробная информация о слове, по нашему мнению, необходима в таком двуязычном словаре прежде всего потому, что эквиваленты, экземплификации и даже цитации не могут исчерпать всех случаев использования слова в контексте. В то же время всесторонняя характеристика возможностей слова позволит уточнить предложенные словарем эквиваленты или подыскать новые, лучше отвечающие контексту. Надо, кроме того, учесть, что сведений о морфологических и синтаксических возможностях слова, о подчиненности его тем или другим грамматическим правилам, о фразеологических связях слова в совокупности не дает ни один раздел учения о языке, хотя слово и является основной единицей языка, которой оперирует и фонетика, и морфология, и синтаксис. Сведения о слове в словарной

[1] Для польского языка имеется специальная работа: W. Doroszewski, Z zagadnień leksykografii polskiej, Warszawa, 1954. Много материала по русской лексикографии собрано в известной работе В. В. Виноградова «Русская наука о русском языке», («Уч. зап. Моск. ун-та», вып. 106, т. III, кн. 1, М., 1946). О чешской лексикографии см. Г. К. Ластовецька, Нарис чеської лексикографії, сб. «Вопросы славянского языкознания», кн. 4, Львов, 1955.

статье, как своеобразные координаты, определяют место данного слова в общей лексической системе языка, намечая его разнообразнейшие связи. Крушевский правильно утверждал, что «... каждое слово связано двоякого рода узами: бесчисленными связями сходства со своими родичами по звукам, структуре или значению и столь же бесчисленными связями смежности с разными своими спутниками во всевозможных фразах; оно всегда член известных гнезд или систем слов и в то же время член известных рядов слов»[1]. Эти особенности слова и необходимо по возможности показать в словаре.

Таким образом, двуязычный словарь современных славянских языков является инвентаризацией активного словарного состава переводимого славянского языка со всесторонней морфологической и синтаксической характеристикой каждого внесенного в словарь слова и с одновременным выражением его семантической структуры в точных эквивалентах другого славянского языка.

Об источниках двуязычного славянского словаря. В наших рассуждениях мы имеем в виду «полный» двуязычный словарь, который бы охватывал по возможности всю общую активную лексику того или другого славянского языка, представленную центральной периодической печатью, современной и классической художественной литературой, публицистикой, «толстыми» журналами, учебниками средней школы по всем предметам ее программы. Нам кажется, что тогда в словаре и будет представлена «... совокупность всего говоримого и понимаемого в определенной конкретной обстановке в ту или другую эпоху жизни данной общественной группы», о чем в связи с взглядом на систему языка говорил акад. Л. В. Щерба[2]. Узкоспециальная лексика, не нашедшая отражения в намеченных выше текстах, остается за пределами интересующего нас «полного» словаря. Зато весь лексический материал, представленный указанными текстами, должен войти в словарь, поскольку этот словарь не ставит себе нормативных целей и поскольку выбор текстов был теоретически обоснован. Этим определяется и отношение к словам областным, просторечным и вульгарным. Слово *сугрёв* или *су́грев*, например, мы ввели в наш большой русско-чешский словарь, потому что слова эти встретились у Шолохова и Шишкова, а произведения этих авторов были включены в список лексических источников нашего словаря. По этим же соображениям было введено слово *субчик*, которое встречается у Гончара, В. Некрасова, Полевого и Шолохова. Нам кажется, что пользующийся словарем может законно рассчитывать на то, что получит информацию о всех словах, встретившихся в текстах, на основе которых построен словарь, независимо от дальнейшей судьбы того или другого слова, использованного авторитетным источником, независимо, так сказать, от нормативных шансов данного слова. С этой точки зрения и отношение к словам-поденкам, или «самоделкам», встретившимся в авторитетных источниках, у двуязычного словаря будет иное, чем в словаре толковом[3]. Ввиду этого «полный» двуязычный словарь должен опираться прежде всего на собственную картотеку, которая необходима как для словника словаря, так и для разработки словарных статей, и только во вторую очередь — на данные толковых словарей, несомненно,

---

[1] Н. Крушевский, Очерк науки о языке, Казань, 1883, стр. 65—66.

[2] Л. В. Щерба, О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании, «ИАН СССР, Серия, VII — Отд. обществ. наук», 1931, № 1, стр. 115.

[3] Ср.: С. И. Ожегов, О трех типах словарей современного русского языка, ВЯ, 1952, № 2, стр. 98; А. М. Бабкин, Лексикографические заметки, ВЯ, 1955, № 2, стр. 92; Л. С. Ковтун, О построении словарной статьи в Словаре современного русского литературного языка АН СССР, «Лексикографический сборник», вып. I, М., 1957, стр. 84—85; Н. И. Фельдман, Окказиональные слова и лексикография, ВЯ, 1957, № 4, стр. 67 и 72.

имеющих в процессе работы над двуязычным словарем громадное значение, прежде всего контрольное и информационно-нормативное.

При исключительных успехах современной техники и ее роли в общественной жизни актуальная терминологическая лексика богато представлена в центральной периодической печати и в произведениях выдающихся писателей. Через эти источники она попадает и в общий «полный» словарь, благодаря чему словарь приобретает определенные черты своего времени, становится «современным». В более систематическом виде терминологическая лексика попадает в общий словарь из учебников соответствующих предметов средней школы или из научно-популярной литературы, которая была включена в источники для словаря. Источниками для географических названий и собственных имен, имеющих большое значение в культурно-политической и исторической жизни современного человечества, в основном будет центральная пресса, но было бы желательно руководствоваться здесь и более систематическими данными разного рода справочников.

При составлении словарной картотеки в нашей лексикографической работе различаем два вида выборки — сплошную для основных источников словаря и контрольную для периодических изданий, разных сборников и справочников. Как показывает опыт, выборка будет полноценной только в том случае, если она будет проводиться лицами, хорошо знакомыми с теоретическими предпосылками лексикографической работы, главным образом с принципами раскрытия семантической структуры слова, его синтагматических возможностей и вообще его валентности. При этом надо иметь в виду, что в словаре придется регистрировать материал, который позволил бы показать слово не только как единицу «языка» в ситуационно отстоявшихся значениях, но и как единицу «речи», высказывания, с актуализированными вариантными возможностями (конечно, если они представлены в выбранных текстах). Иначе говоря, надо показать не только значения, но и употребление, не смешивая их.

Особенно квалифицированно должна проводиться контрольная выборка, которая дает материал по намечающимся новым устойчивым сочетаниям (ср. *массовые игры*, *массовый заплыв*, *массовый кросс* и т. п.; *фронтальный опрос*, *фронтальное обследование* и под.). При неквалифицированной выборке ценнейшие для раскрытия семантики слова и характеристики его употребления оттенки могут быть потеряны. Само собой понятно, что для двуязычного словаря и выборка должна производиться в сопоставительном плане, т. е. людьми, отлично владеющими обоими языками. Например, для раскрытия семантической структуры чешского глагола *oznámiti* необходимо учесть следующие дополнения: *smutnou zprávu* «сообщить», *svůj příjezd* «известить о чем», *rozhodnutí vlády* «объявить», *o ztrátě* «заявить», *úřadům o zločinu* «донести» и т. д.

Конечно, широкое использование источников, инвентаризация материала и его подробная документация отразятся на объеме словаря, который должен определяться в зависимости от решения поставленных перед составителями словаря задач.

О типе двуязычного словаря. Вопрос о типе словаря решается в связи с вопросом о его назначении, тематике и способе обработки словарных статей.

Покойный акад. Л. В. Щерба в своем известном труде «Опыт общей теории лексикографии» высказывает довольно пессимистическую мысль, что «... обычные переводные словари не дают настоящего знания иностранных слов, а лишь помогают догадываться о их смысле в контексте», что «...переводные словари, переводя иностранное слово тем или другим своим словом, совершенно не заботятся о многозначности этого последнего» и что «...переводный словарь оказывается полезным разве только для на-

чинающих изучать иностранный язык»[1]. Акад. Щерба видит возможность радикального улучшения такого положения в создании толковых словарей на родном языке учащихся, «...где конечно могли бы фигурировать и переводы слов во всех тех случаях, когда это упрощает толкование и нисколько не вредит полному познанию настоящей природы иностранного слова»[2]. Пессимистические высказывания о двуязычном словаре акад. Щерба несколько смягчает, когда говорит, что надо стремиться уменьшить разными паллиативами недостатки двуязычного словаря, что «...может в конце концов окольными путями привести к созданию того типа иностранного словаря, который мне рисуется как идеал»[3].

Мы не разделяем такого пессимистического взгляда на двуязычный словарь. На основании последовательной обработки более ста тысяч словарных статей большого русско-чешского словаря мы убедились в том, что в подавляющем большинстве случаев можно дать исчерпывающие эквиваленты к значениям переводимых слов, конечно, при условии тщательного учета семантической структуры переводимого слова в сопоставительном плане и полного использования возможностей эквивалентного выражения ее в языке перевода. В этом случае исключительное значение приобретают продуманное построение словарной статьи, детальная разработка семантической структуры переводимого слова, характеристика у слова его разнообразнейших связей, экземплификации разного рода и, наконец, цитация, что в совокупности может в значительной степени уменьшить и даже полностью устранить те семантические несоответствия, которыми акад. Щерба аргументирует свои возражения против существующих двуязычных словарей. Приведенные требования к обработке статьи в словаре — не «паллиативы», как думал акад. Щерба, а последовательное раскрытие семантики слова, его структуры. При эквивалентном выражении семантического содержания слова необходимо иметь в виду соответствие эквивалента а) ситуации употребления, б) стилистическому слою переводимого слова и в) установившейся речевой практике. Например, чешское прилагательное *pevný*, соответствующее в общем русскому синонимическому ряду: «плотный, прочный, крепкий, устойчивый, твердый», в своей семантической структуре и употреблении представляется для двуязычного словаря в основном так: *pevný* (о физическом теле) «плотный»; (о сукне, материале) «прочный»; (о веревке) «крепкий»; (о лодке, столе, валюте) «устойчивый»; (о надежде, почве под ногами) «твердый». Если к этому добавить экземплификации и цитацию (о которых ниже), то такая статья для понимания иностранного слова даст больше, чем статья толкового словаря, которая не может учитывать особенностей употребления, вытекающих из сопоставления семантических структур слова в обоих языках. Индивидуальное использование слова ответственным источником может быть показано в экземплификациях или цитированием. Одним словом, надо постоянно иметь в виду, что «каждый язык представляет собой как своеобразную и самобытную систему внешних различий, так и индивидуальную и неповторимую систему значений. Поэтому отдельные значения, находящиеся в системе каждого данного языка, оказываются непосредственно несоизмеримыми со значениями, входящими в систему другого языка или языков»[4]. Это в полной мере справедливо и в отношении

---

[1] Л. В. Щерба, Опыт общей теории лексикографии, ИАН ОЛЯ, 1940, № 3, стр. 114—115.

[2] Там же, стр. 115.

[3] Там же.

[4] О. С. Ахманова, В. В. Виноградов, В. В. Иванов, О некоторых вопросах и задачах описательной, исторической и сравнительно-исторической лексикологии, ВЯ, 1956, № 3, стр. 10.

таких близко родственных языков, как языки славянские, причем в последнем случае иногда приходится считаться с оттенками еще более тонкими, чем при сопоставлении структурно отдаленных языков. Элементы толкования слов иногда придется вводить там, где это необходимо для объяснения слов, выражающих специфические особенности быта, культурно-исторической жизни или психологии народа (ср. русск. *дуга*, *пристяжная*, *рассупониться*, *община*, *раскол* и т. п.). Здесь, конечно, приходится давать или приблизительный эквивалент, который мог бы быть использован для перевода, или просто транскрибировать национальное название; в обоих случаях необходимы пояснительные замечания.

Акад. Щерба считал, что «...для всякой пары языков нужно четыре словаря — безусловно два толковых иностранных словаря с объяснениями на родном языке пользующегося данным словарем и в зависимости от реальных потребностей два переводных словаря с родного на иностранный специального... типа»[1]. Вряд ли для славянских языков существует действительно такая потребность. Двуязычный переводной словарь оправдал себя в испытании практикой. Вряд ли также, кроме переводных словарей (с родного на иностранный и наоборот), нужны какие-нибудь словари типа толковых, если в дополнение к двуязычному словарю легко можно воспользоваться уже существующими толковыми словарями отдельных славянских языков.

В последнее время в лексикографической практике различают обычно три типа двуязычных словарей — большой, средний и малый, или краткий. Такой весьма относительный и неточный критерий для различения словарей может иметь ориентирующее значение на определенном, начальном этапе лексикографической работы. Наш «большой» словарь будет содержать около 120 тысяч статей; «большой» словарь Ушакова содержит 85 тысяч слов; словарь Даля — 200 тысяч слов, а пятнадцатитомный словарь АН СССР, вероятно, будет содержать гораздо больше слов. С. И. Ожегов следующим образом различает типы словарей: «б о л ь ш о й, представляющий современный литературный язык в широкой исторической перспективе, с р е д н и й, с детальной разработкой исторически оправданного стилистического многообразия современного литературного языка, и, наконец, к р а т к и й, популярного типа, стремящийся к активной нормализации современной литературной речи»[2]. При таком различении типов принимаются во внимание три разные точки зрения: большой словарь выделяется по охвату материала, средний — по способу разработки материала, краткий — по принципу нормализации. Такое выделение различных типов словарей весьма условно.

Поскольку нет подробной характеристики и описания словарного состава славянских языков, трудно говорить в числовых выражениях о лексических фондах, помещаемых в словарях, тем более, что во многих словарях, которые строились не на основании последовательной выборки, а на материалах иных словарей, имеется балласт слов, кочующих без документации из одного словаря в другой только из-за некритического отношения к источнику[3]. Особенно условно деление на «большие», «средние» и «малые» у двуязычных словарей специальных, главным образом технических.

---

[1] Л. В. Щ е р б а, Опыт общей теории лексикографии, стр. 116.

[2] С. И. О ж е г о в, О трех типах толковых словарей русского языка, ВЯ, 1952, № 2, стр. 91—92.; ср. там же, стр. 94 и 95.

[3] Ср.: А. М. Б а б к и н, Лексикографические заметки, ВЯ, 1955, № 2, стр. 90; о болгарско-русских и русско-болгарских словарях см. К. Н о р а [Hové bulharské slovníky], «Slavia», ročn. XXVI, seš. 1, 1957, стр. 134—137.

Нам кажется, что тип словаря определяется его назначением, а значит, его тематикой, способом разработки словарных статей (грамматическими комментариями, экземплификациями, цитацией, степенью разработанности фразеологии и другими специальными моментами разработки). Двуязычный словарь, охватывающий в соответствии с его наиболее общим культурным назначением всю тематику (ср. у акад. Щербы «все говоримое и понимаемое»), весь доступный и запланированный для выборки материал с предельно полной и всесторонней его разработкой, следовало бы считать «полным» или «академическим» двуязычным словарем (в двух, трех, четырех, пяти и т. д. томах). Словарь, охватывающий активный лексический слой литературного языка в общем его понимании, с подробной разработкой семантической структуры слов и показом их употребления на экземплификациях, но без цитации, следует считать «настольным» двуязычным словарем, однотомным или двухтомным. Наконец, словарь, включающий из активного лексического слоя все корневые слова с наиболее употребительными производными словами, все «строевые» слова и актуальную политическую терминологию, можно было бы считать «кратким» словарем. Кроме того, для чисто педагогических целей можно различать словари двуязычные «учебные» (в учебниках для подготовки к работе со словарем вообще) и словари «школьные», охватывающие лексику литературы, запланированной для внешкольного чтения. Типы намеченных нами словарей отличаются друг от друга прежде всего своей тематикой и способом обработки; их объем — величина производная.

Мы имеем в виду словари общие; специальных словарей мы здесь не касаемся.

Словарная статья в двуязычном славянском словаре. Разработка словарной статьи является наиболее ответственным моментом всей словарной работы, определяющим в основном качество всего словаря.

Общее содержание словарной статьи полного двуязычного славянского словаря можно представить в следующем виде: 1) заглавное слово («звуковой комплекс») с характеристикой его произношения и акцентовки; 2) грамматическая характеристика слова, его отношение к парадигматической системе языка, индивидуальные грамматические особенности и синтагматические возможности, а также вообще все то, что лексически ограничивает у слова проявление грамматических категорий, свойственных данной части речи; 3) использование данного звукового комплекса для обозначения в речевой практике определенного смыслового содержания с возможным расчленением его на «значения» в связи с отстоявшимися жизненными ситуациями, эквиваленты к этим «значениям»; 4) показ употребления слова в разных стилистических контекстах, его стилистическая характеристика; 5) синонимы и антонимы к слову; 6) индивидуальное использование авторитетным источником отдельного «значения» слова с новым оттенком как потенциально новое «значение»; 7) возможные выделения из общей грамматической структуры слова отдельных грамматических форм с обособленным семантическим содержанием, их лексикализация; 8) уточнение эквивалентов и расчленение синонимических рядов эквивалентов путем указания на семантическую область употребления слова, его «семантическое поле»; 9) исчерпывающий показ в экземплификациях узуальной валентности слова, особенно не совпадающих в обоих славянских языках связей; 10) документация при помощи цитации затруднительных или своеобразных с точки зрения их перевода случаев использования данного звукового комплекса; 11) использование звукового комплекса в терминологических целях; 12) фразеологизмы разного типа и такие фразеологизированные выражения, как пословицы, поговорки, сказочные формулы, загадки и бытовые словесные штампы.

Из перечисленных отдельных частей словарной статьи некоторые будут отсутствовать в тех или других типах словарей. С другой стороны, некоторым элементам статьи может быть уделено преимущественное внимание в связи с назначением словаря. Так, например, в статьи школьного русско-чешского словаря[1] мы ввели за глаголами продуктивные префиксы этих глаголов; у качественных прилагательных — антонимы; у слов однокоренных, но далеко отстоящих по алфавиту, ввели отсылочные указания; осложнили содержание статей указаниями, необходимыми с методической точки зрения ввиду учебного назначения словаря.

Есть двуязычные славянские словари, в которых мы или вовсе не встречаемся с так называемым грамматическим аппаратом в словарной статье, или встречаемся с весьма скромными грамматическими сведениями. Из описательных славянских грамматик хорошо известно, что ни одно грамматическое правило и ни одна грамматическая категория не имеет абсолютного характера и что, наоборот, часто мы встречаемся в большей или меньшей мере с «сопротивлением лексического материала», с «исключениями» или ограничениями грамматической категории лексическим содержанием слова. В этом отношении словарь — единственное пока место, где все такие случаи могут быть представлены с исчерпывающей полнотой, по крайней мере у славянских языков. Область языковых фактов, выпадающих из внимания грамматики и систематически нигде не регистрируемых, очень велика [2]. Поэтому вопрос о грамматическом аппарате словарной статьи требует принципиального решения и серьезного теоретического обоснования, причем в двуязычном словаре еще в большей степени, чем в словаре толковом. «Академический» двуязычный словарь должен отличаться полнотой информаций о слове и учитывать тот несомненный факт, что слова, принадлежащие к изменяемым частям речи, вне своих грамматических форм не существуют, следовательно, к характеристике в словаре слова как конкретной единицы языка непременно относится и характеристика его грамматических возможностей — морфологических и синтаксических [3]. Посредством этих возможностей и в связи с ними раскрывается в речевой практике семантическая структура каждого слова, его сочетаемость с другими словами. Ведь надо помнить, что, кроме так называемых «свободных» словосочетаний, охватываемых в основном синтаксическими моделями, есть много словосочетаний, которые в национальном языке представляются семантически немотивированными. У Мамина-Сибиряка в «Приваловских миллионах» Ляховский обращается к дядюшке: «Ну, а вы что же молчите? Какую такую пользу вы можете принести нашему делу? На что вы надеетесь?» — «О, отлично надеюсь...» «Отлично надеюсь! — передразнил Ляховский.— Вы говорить-то сначала научитесь по-русски...» Синтаксическое сочетание *отлично надеюсь* с формальной стороны безукоризненно. Такие случаи становятся особенно понятными в сопоставительном плане двуязычного славянского словаря. Русскому сочетанию *крепко спать* соответствует чешское *tvrdě spát*, *крепкий чай* — *silný čaj*. Подобные сочетания В. В. Виноградов называет «семантически связанными словосочетаниями» [4], они могут регистрироваться только в словаре, и в двуязычном словаре им должно быть уделено особенное внимание. К ним примыкают и некоторые фразеологизированные предложные сочетания, например,

---

[1] «Školní rusko-český slovník», Praha, 1955.

[2] Ср. нашу статью «O lexikálních prvcích v systému ruské mluvnice» в журн. «Časopis pro slovanské jazyky, literaturu a dějiny SSSR» (1956, č. 4).

[3] Ср. А. И. Смирницкий, Лексическое и грамматическое в слове, сб. «Вопросы грамматического строя», М., 1955, стр. 15.

[4] В. В. Виноградов, Основные принципы русского синтаксиса в «Грамматике русского языка» Академии наук СССР, ИАН ОЛЯ, 1954, вып. 6, стр. 500.

предложные сочетания времени *под утро* (при невозможности **под ночь*, **под рассвет*), *по приезде* (при невозможности **по ужине*) и т. п. Последовательно эти сочетания не регистрируются нигде; «правил» о таких сочетаниях не существует. Поэтому предложные нетипизированные сочетания должны быть указаны в словаре у каждого существительного, и это будет частью общей грамматической, точнее синтаксической, характеристики данного существительного[1].

Есть, как известно, много переходных глаголов с ослабленным лексическим значением, которое раскрывается обязательным при них «дополнением». У одних глаголов ряды таких дополнений открыты, например, *владеть чем*, *достичь чего*, *пользоваться чем* и т. п.; по семантике такие сочетания в славянских языках обычно совпадают, хотя глагольное управление в них часто различно. В других случаях получаются сочетания относительно закрытые с незначительным количеством возможных дополнений. Такие словосочетания в славянских языках чаще всего не совпадают, иногда на месте словосочетания одного языка встречаем простой глагол в другом, и наоборот. Таковы, например, словосочетания *оказать влияние* — *ovlivniti*, *оказывать внимание*, *уважение* — *projevovati pozornost*, *úctu*; *оказывать поддержку* — *poskytovati podporu*, *podporovati*; *оказывать сопротивление* — *stavěti se na odpor*; *привести в движение* — чешск. *uvést v chod* — польск. *wprawić w ruch*, *uruchomić*. Характер и значение дополнения при одном и том же глаголе часто отражаются на переводе этого глагола, например: *нанести* (краску на полотно) — *nanésti* (дорогу на карту) — *zanésti*, *vyznačiti* (поражение) — *způsobiti*. Поэтому было бы ошибкой поставить к русскому глаголу *нанести* все чешские эквиваленты без их тщательной объективной характеристики.

В других случаях полная семантическая характеристика глагола и перевод его зависят не столько от дополнения, сколько от глагольного управления, которое в таком случае является выразителем или по крайней мере различителем значений и, значит, должно учитываться в лексикографическом отношении. Например: *доставать* (из чего) *vyndávati*, (до чего) *sáhati až kam*, (что) *dostávati*; *отличать* (за что) *vyznamenávati*, (от чего) *odlišovati* и т. п. Это, конечно, частный случай разграничения значений факторами синтаксическими[2]. Чем последовательнее подобные случаи отмечаются, тем точнее и лучше словарь.

Характеристика прилагательного в словаре осложняется тем, что значение относительного прилагательного может быть выражено то одним, то другим способом, причем в разных славянских языках эти способы могут не совпадать. Например: *морское течение* — *mořský proud*, но *морское путешествие* — *cestování po moři*, *морское купанье* — *koupání v moři* и т. п.

Приводя в словарной статье наречия и адвербиальные предложные сочетания, приходится, как и везде, считаться не только с лексическим несовпадением метафорического использования наречий (ср. *крепко спать* — *tvrdě spát*), но и со случаями разного синтаксического оформления словосочетания с одинаковыми по лексическому значению элементами: здесь, как известно, особенно часты ошибки при переводах на неродной

---

[1] Ср. нашу статью «Ruské předložky v předložkových výrazech času». Сб. «Materiály pro ruské semináře», вып. II (Stát. ped. nakl., Praha, 1957, стр. 67—83).

[2] Ср. Н. З. Котелова, Указания на синтаксические связи слов в толковом словаре как средство разграничения смысловых различий, «Лексикографический сборник», вып. I, М., 1957; см. также В. В. Виноградов, Русский язык. (Грамматическое учение о слове), М. — Л., 1947, стр. 643.

язык, куда переносятся не свойственные этому языку сочетания (ср.: *ноги подкашиваются от слабости — slabosti*, *идти толпой — v zastupě* и т. п.).

Словарная статья двуязычного славянского словаря, посвященная служебным словам (предлогам и союзам), должна показать не только их типизированное употребление, но и случаи своеобразного использования служебных слов некоторыми существительными (см. выше, стр. 83—84), а также глаголами — для уточнения глагольного управления, например: *обратиться к — obratit se na*; *отказаться от — zříci se čeho* и т. п.

Особого внимания заслуживают разнообразнейшие случаи лексикализации грамматических фактов, случаи выпадения отдельных грамматических форм из парадигм и усвоение ими новых, самостоятельных значений (ср. *следует*; *положено*; *он плох*; *будет тебе от папы* и т. п.). Сюда же относятся изменения значений в связи с глагольным видом и залогом [1]. Вне этих и подобных фактов нельзя признать характеристику слова в словарной статье полной.

В заключение наших замечаний о содержании словарной статьи нужно подчеркнуть, что в ней должно быть дано все относящееся в слове к «языку», отстоявшееся в речевой практике коллектива на определенном отрезке его исторической жизни, составляющее репертуар выразительных средств национального языка, представленного для словаря авторитетными источниками. Из индивидуального, относящегося к «речи», вносим в словарь то, что встречаем в авторитетном источнике и что, следовательно, должно быть понятно пользующемуся словарем. Подход к этому вопросу в двуязычном словаре, таким образом, иной, чем в нормативном толковом словаре.

Несколько слов об эквивалентах в двуязычном славянском словаре. Вопрос об эквивалентах мы уже затрагивали в разных местах наших рассуждений; этот вопрос в двуязычном словаре является, конечно, самым существенным для целей и назначения словаря. При подыскивании эквивалентов мы исходим из семантической структуры переводимого языка, тщательно избегая вносить в нее чуждые ей оттенки значений и несвойственные сочетания, не смешивая употребление слова с его значением, уже отстоявшимся в языке. Касается это и слов общеславянского распространения, таких, как *рука*, *нога*, *нос*, *ухо* и т. п. У подобных слов не только фразеология в разных славянских языках не совпадает, но не совпадает, как правило, и общая семантическая структура. Например, русское существительное *нос* находит следующие эквиваленты в чешском языке: 1) (у человека, самолета) *nos*; (у собаки) *čumák*; (у птицы) *zobák*; 2) (у чайника) *hubička*; 3) (у корабля) *příd'*; 4) (на побережье) *mys*.

Особого внимания и подхода заслуживает перевод так называемых служебных слов, у которых раскрывать приходится собственно не их значение, а их грамматическую функцию; это через эквивалент часто сделать нельзя, особенно у предлогов и частиц. Какой эквивалент, например, можно дать к русскому предлогу *на* в русско-чешском словаре, если: *на заре — za svítaní*, *на закате — při zapadu slunce*, *на данном этапе — v dané etapě*, *на каникулах — o prazdninách*, *на радостях — ze samé radosti* и т. п.? Приходится обращаться к синтаксической характеристике служебного слова или к характеристике предлога через общие указания на семантику существительных, с которыми он дает сочетания определенного значения — времени, причины, условия и т. п., если, конечно, такие сочетания с существительными определенной общей семантики типизиро-

[1] См. В. В. Виноградов, О некоторых вопросах теории русской лексикографии, ВЯ, 1956, № 5, стр. 91.

ваны (ср. выше, стр. 83—84). Иначе это будут фразеологизмы, которые приходится регистрировать в экземплификациях насколько возможно подробнее.

Еще сложнее обстоит вопрос с эквивалентами для частиц, так как часто оттенок значения, особенно модального, который частица вносит в высказывание, может быть выражен и нелексическими средствами; полного соответствия у славянских языков в этом отношении нет. Поэтому выявление семантического оттенка, вносимого частицей, приходится производить при помощи перефразирования, что иногда необходимо отметить в пояснительных замечаниях к статье. Существенной для частиц является их акцентная характеристика.

Семантизация идиом («фразеологических сращений») тоже должна проводиться при помощи эквивалентов, что, как известно, часто представляет значительные затруднения, так как даже при удачном нахождении эквивалента к фразеологизму этот эквивалент иногда не соответствует ему в стилистическом отношении.

Большое значение следует придавать словам или сочетаниям, характеризующим у эквивалента его семантическое поле и помещаемым обычно в скобках перед эквивалентом,— особенно при несовпадении семантических структур слов и при различении синонимов. Такое слово в скобках должно быть действительно характерным для ситуаций, в которых данное значение отстоялось, легко понимаемым; оно должно быть каким-то ключом значения. Для иллюстрации приведем, например, решение этого вопроса в словарной статье *покрыть*: 1) (ребенка одеялом) *přikrýti*; 2) (речь оратора аплодисментами) *zahrnouti*; 3) (дом черепицей) *pokrýti*; 4) (дефицит, долги) *uhraditi*; 5) (расстояние, тысячу километров) *uraziti*; 6) (короля тузом) *přębíti*; 7) (шум волн, стрельбу) *přehlušiti*.

Внутреннее единство словарной статьи двуязычного славянского словаря покоится на грамматическом единстве ее структуры, на тематическом единстве ее лексического содержания, выражаемого в переводимом языке данным звуковым комплексом, «семантическим единством его значений» (по терминологии акад. Виноградова). В эквивалентах эта система значений часто не будет уже представлять такого единства, что объясняется несовпадением семантических структур слов в обоих представленных в словаре языках.

О синонимах в двуязычном славянском словаре. Богатство синонимов в эквивалентах несомненно повышает переводческую ценность двуязычного словаря, но только при условии тщательной их дифференциации. В этом случае особенное значение приобретают те «ключи», о которых мы говорили выше. Возникает вопрос, в каком языке следует приводить слова для различения эквивалентов в синонимических рядах — в языке перевода или в языке переводимом (ср. способы, практикуемые в словацко-русском словаре проф. А. В. Исаченко и в большом русско-чешском словаре). Рассуждая теоретически, каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки. Мы использовали второй способ как в русско-чешских словарях, где «ключи» русские, так и в словарях чешско-русских, где «ключи» чешские. Мы исходили при этом из того, что характеризующими словами, «ключами», намечается собственно текстовая ткань эквивалента, его семантические и синтаксические связи (у глагола — с объектом или обстоятельством, у прилагательного — с существительным, у существительного — с прилагательным). Считаем при этом, что «настольным», а тем более «академическим» словарем будут пользоваться те, для кого характеризующие слова будут понятны.

Омонимы в двуязычном славянском словаре. Вопросы омонимии в словаре много раз привлекали внимание исследователей, которые отмечали

недостаточно четкое выделение омонимов при обработке материала словарей, главным образом толковых[1]. В двуязычном словаре, конечно, приходится учитывать прежде всего омонимы в собственном смысле слова, совпадающие по звучанию как в заглавной форме, так и во всех остальных формах данного слова (ср. *коса — kosa* и *cop*; *разряд — skupina*, *třída* и *výboj*, *vybití*; *разрыв — přetržení* и *vybuch* и т. п.). Уже в меньшей мере необходимо выделение таких омонимов, как *выпасть* (кошелек из кармана), *vypadnouti* и (о счастье, доле, жребии) *připadnouti*; *произвести* (ремонт) *provésti* и *произвести* (много продукции) *vyrobiti*. Однако ввиду того, что семантическая структура таких парных звуковых комплексов различна, так же как различны у них синтагматика, метафоризация и фразеология, желательно их выделять как омонимы. Считаем обязательным для двуязычного славянского словаря выделять все те случаи омонимии, в которых звуковое совпадение касается только одной, заглавной формы слова, как решающей при отыскивании слова в словаре. Ввиду особого значения в структуре славянского глагола категории вида и видовых пар следует различать как омонимы глаголы, у которых разница значения поддерживается несоответствием второго члена видовой пары (ср., например, *наступать на ногу — šlapati*, соверш. вид к нему — *наступить*, *наступать на противника — útočiti*, без сов. вида).

Особо стоит вопрос о том, куда помещать в двуязычном словаре те омоформы, которые не являются основными, заглавными формами слов, например 3-е лицо от глагола *следовать — следует* (поезд из Москвы в Ленинград) и *следует* (согласиться на предложение). С точки зрения содержания и с точки зрения синтаксической перед нами два слова; в морфологическом же отношении — это 3-е лицо глагола *следовать*,— так по крайней мере оно должно представляться тому, кто будет искать это слово в словаре, не зная его значения. Аналогичны отношения у слов: *столовая — jídelna*, *столовый* (прибор), *столовая* (посуда), *столовое* (вино); *будет* (писать и читать), *будет* (ему играть, шалить), *будет* (ему от отца) и т. п. Этим словам, по существу, должны быть посвящены отдельные словарные статьи, и только для удобства пользования двуязычным словарем они должны быть помещены по предполагаемой основной для них морфологической форме, где их и будут искать. В зависимости от типа словаря можно решать этот вопрос и более принципиально: разрабатывать подобные слова в виде самостоятельных статей, делая в них отсылочные замечания, например «см. также *следовать*», а у *следовать — следует* и т. п. Подобным образом приходится решать вопрос о многочисленных словах типа: *вечером*, *днем*, *зимой*, *утром*, *дай*, *было*, *бывало*, *положено* и т. п. Такие случаи омонимии, как, например, *три* (3) и *три* (к *тереть*) или *косой* (прилаг.) и *косой* (твор. падеж к *коса*), могут быть разрешены в зависимости от типа словаря при помощи отсылочных замечаний. Такие синтаксические омонимы, как *хорошо* (сделано) — *dobře*, *хорошо* (что все это кончилось) — *je dobře* и *хорошо*! — *dobře*! с общей в основном семантикой, также предпочитаем оставлять в одной словарной статье, где их, конечно, и будут искать. Здесь, как и в других случаях, мы предпочитаем избегать излишней для словаря омонимизации. Надо помнить, что только через эквивалент пользующийся словарем узнает, что перед ним омоним. Там, где различение омонимов облегчает ориентацию в их значениях, омонимы должны последовательно различаться.

Заслуживает внимания омонимия служебных слов-предлогов и союзов, а отчасти и частиц, на что обращает внимание В. В. Виноградов в упо-

[1] Ср., например, В. В. Виноградов. О некоторых вопросах теории русской лексикографии, стр. 88—90.

мянутой выше статье[1], доказывая на примерах, что значения предлога *с* в сочетании с падежами родительным, творительным и винительным различны (*вид с горы*, *чай с сахаром*, *мальчик с пальчик* и т. п.). Нам кажется, однако, что во всех случаях употребления предлóг со склоняемым словом и любым падежом имеет общее — он выполняет синтаксическую, служебную функцию, развивая и уточняя то, что дано значением слова и основным значением падежа. Таким образом, есть основание говорить о единстве каждого предлога; его «значениями» будут его различные функции в зависимости от второго компонента предложного сочетания [например, 1) в сочетаниях с род. падежом существительных, означающих..., 2) в сочетаниях с вин. падежом существительных, означающих... и т. п.]. При выделении омонимов у предлога только на основании падежей пришлось бы внутри таких предложных омонимов выделять еще более отдаленные «значения» из нетипизированных или мало типизированных предложных сочетаний (ср. выше). Большая зависимость употребления предлогов от семантики имен, с которыми предлоги связаны, позволяет, мне кажется, объединять их по признаку чисто формальному и помещать в одной словарной статье.

Аналогично и у союзов можно объединять их разные функциональные «значения» в рамках сочинения, подчинения, присоединения и других синтаксических взаимоотношений между высказываниями. Так, можно, например, в одной словарной статье *когда* разработать все синтаксические функции этого союза.

Разнообразие служебных ролей одной и той же частицы при отсутствии у нее собственного значения не дает права рассматривать отдельные случаи функционального использования частицы как омонимы. Например, частица *да*, разработанная в одной словарной статье, в рамке этой статьи будет иметь шесть «значений», выделяемых в связи с природой слова по признакам функциональным. Тот же звуковой комплекс в качестве союза будет выделен в особой статье как омоним, и в ней окажется четыре значения (см. большой русско-чешский словарь).

Известно, что очень многие существительные общеславянского распространения (ср. *копыто*, *колено*, *зуб*, *палец* и т. п.) используются в целях терминологических, причем в каждой отрасли вкладывается в эти звуковые комплексы различное содержание; создается иногда длинный ряд омонимов. В отраслевых словарях специального назначения это будут отдельные слова, омонимичные со словами общего языка. В двуязычном неспециализированном словаре все такие случаи могут найти свое место в словарной статье соответствующего слова и будут помогать его общей лексической характеристике, составляя особое, терминологическое «значение» с пометой «спец.» и собственной нумерацией. В таком специализированном «значении» будут собраны все случаи отраслевого использования слова.

Двуязычный славянский словарь может зарегистрировать случаи и так называемой межславянской омонимии типа: *благодарный — vděčný*, но чешск. *blahodárný — благотворный*; *бранить — nadávati*, но чешск. *brániti — защищать* и многие подобные.

Об антонимах. Для общей характеристики семантического содержания слова использование антонимов в полном и, может быть, школьном словаре является, несомненно, весьма желательным. Но вопрос осложняется тем, что, во-первых, этот прием раскрытия значений не может последовательно применяться у всех категорий слов, а, во-вторых, даже у качественных прилагательных, где антонимы могут указываться со значитель-

[1] В. В. Виноградов, О некоторых вопросах теории русской лексикографии, стр. 90.

ной последовательностью, приходится считаться с тем, что не ко всем значениям одного и того же прилагательного антоним применим. Например, к прилагательному *белый* антоним *черный* применим в отношении цвета, отчасти в сочетаниях с некоторыми существительными, таких, как *хлеб*, *волосы*, но исключается в сочетаниях *белое вино*, *белая береза*, *белая горячка* и многих других. У антонимов *высокий* — *низкий* пришлось бы, например, отметить, что антоним не применим в сочетаниях, таких, как *высокая идейность*, *высокий пилотаж*, *высокая миссия* и т. п.

*

В рамках небольшой статьи мы постарались наметить лишь основную и наиболее общую проблематику двуязычного славянского словаря, пользуясь очень ограниченным иллюстративным чешско-русским материалом. Но, кроме затронутых вопросов, есть еще много других, более общих вопросов, которые имеют для лексикографической работы не менее важное значение, например, вопрос о соотнесенности слова и понятия, слова и значения, слова и представления, о соотношении лексики и грамматики. Разрешение этих вопросов углубило бы теоретическую базу современной славянской лексикографии и вместе с тем облегчило бы описание лексических систем отдельных славянских языков.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1958

Г. КОНЕЧНА

АССИМИЛЯЦИЯ И ДИССИМИЛЯЦИЯ

Языковеды обычно стремятся обобщить огромное разнообразие фонетических явлений.

М. Граммон в своих «Очерках по фонетике» (M. Grammont, Traité de phonétique, Paris, 1933) подчеркивает, что любые фонетические изменения во всех языках мира подчиняются одним и тем же общим законам, возникают как естественный результат господствующих в языке общих фонетических тенденций. Отличающиеся друг от друга изменения, происходящие в разных языках в одну и ту же эпоху, а также различные преобразования, которым подвергается данный язык на разных этапах его развития, зависят от специфики фонетических систем отдельных языков в различные эпохи.

Изменения могут быть самостоятельные и зависимые. Зависимые изменения Граммон подразделяет на ассимиляцию, дифференциацию и инверсию (при взаимодействии соседних звуков) и на диляцию, диссимиляцию и метатезу (которые возникают в результате взаимодействия звуков, не находящихся в непосредственном соседстве). Эти изменения совершаются по праву сильного. Ассимиляция и диляция сводятся к распространению одного или двух артикуляционных движений за пределы первоначальной области их действия, тогда как дифференциация и диссимиляция вызывают в конечном счете перерыв, перебой в каком-либо артикуляционном движении внутри одного звука или группы звуков. Ассимиляция и диляция возникают из ослабления артикуляции; дифференциация и диссимиляция вводят усиление артикуляции. Граммон считает, что причиной диссимиляции (в широком смысле) является бессознательный страх перед ассимиляцией, которая могла бы чрезмерно изменить фонетический облик слова. Диссимиляция противопоставляет этой опасности либо подчеркивание различий в характере частично похожих друг на друга звуков, либо развитие фонетического явления, зародыш которого спонтанно появляется между двумя звуками. Следовательно, по Граммону, диссимиляция всегда имеет характер предохранения, предупреждения.

Действительно ли существуют в языках два рода наиболее важных принципиально противопоставленных фонетических явления — ассимиляция и диссимиляция?

Обратимся к обзору наиболее существенных фонетических изменений в истории польского языка.

Факты памятников письменности северо-западнославянских языков, изучение фонетики современного польского языка, а в большой степени также и диалектологические исследования свидетельствуют, что, видимо, уже в пралехитскую эпоху появилась тенденция к дифтонгоидальному произношению всех гласных, причем гласным переднего ряда предшествовала быстро ослабевающая прейотация, а гласным заднего ряда — такая же лабиализация: $^{i}\hat{i}$, $^{i}\hat{b}$, $^{i\breve{e}}\hat{e}$, $^{i\breve{e}}\hat{e}$, $^{i\bar{e}}\hat{e}$; $^{u}\hat{\bar{u}}$, $^{u}\hat{\bar{o}}$, $^{u}\hat{\bar{y}}$, $^{u\breve{o}}\hat{o}$, $^{u}\hat{\bar{o}}$ (именно такой

дифтонгоидальный характер сохранился до сегодняшнего дня в русском языке в гласных *е* и *о*). Только гласный *а*, очень широкий и лишь в незначительной степени оттянутый назад, не подвергался ни лабиализации, ни прейотации, хотя в абсолютном начале слова, вследствие смешения с *ja*, восходящим к **jě*, этот гласный мог приобретать вторичный палатальный элемент.

Таким образом, в раннюю эпоху препалатально-делабиальная артикуляция противопоставлялась велярно-лабиальной, и в этом смысле можно говорить о препалатально-делабиальном и велярно-лабиальном комплексах. Центр тяжести артикуляционной энергии мышц органов речи в эту эпоху все сильнее передвигался на начало гласного, в процессе же произношения гласного эта энергия быстро убывала. В свое время это повлияло на исчезновение исконных так называемых уменьшающихся дифтонгов (*ou̯*, *eu̯*, *oi̯*, *ei̯*), привело к метатезе в группах *tort*, *tolt*, *tert*, *telt* и к переходу *om*, *on*, *em*, *en* в *ǫ*, *ę*, а также вызвало другие изменения, тесно связанные с утратой закрытых слогов.

Резко дифтонгоидальный характер гласных пралехитской эпохи должен был повлиять на произношение предшествующих согласных. Все согласные, которые предшествовали гласным переднего ряда, подверглись значительной палатализации, в то время как в позиции перед гласным заднего ряда они сохранили прежнее место артикуляции с добавлением лабиального элемента. Артикуляция *j*, с которого начинается гласный, должна быть подготовлена раньше, еще во время произнесения согласного; в конце концов *j* частично или полностью поглощался этим согласным, что соответствующим образом изменило первоначальную артикуляцию согласного.

В самой тесной связи с дифтонгоидальным характером северославянских гласных и сильной препалатализацией согласных перед гласными переднего ряда находится фонетическое явление, известное под названием пралехитской перегласовки (калька немецкого термина «Umlaut»), то есть перехода *'ě* в *'a*, *'ę* в *'ą*, *'ě* в *'o* в позиции перед твердым переднеязычным согласным (*t*, *d*, *s*, *z*, *n*, *r*, *ł*). Именно потому, что согласные, предшествующие гласным *'ě*, *'ę* или *ě*, все более поглощали его переднепрепалатальную артикуляцию, гласный постепенно утрачивал свои характерные черты, сохраняя только соответствующее положение задних частей языка. В результате образовались сильно палатализованные согласные и депалатализованные гласные с соответствующим образом поднятой в задней части полости рта задней частью (корнем) языка. Таким образом, широкие *'ě* и *'ę* преобразовались в низкие, слегка продвинутые назад *'a*, *'ą*, в то время как более узкое *'ě* изменилось в *'o*. В этом последнем случае к резко задней артикуляции должно было присоединиться округление губ (лабио-велярный комплекс).

Конечно, такая депалатализация происходила только тогда, когда последующий согласный не был палатальным, так как в противном случае передний характер гласного всегда находил сильную поддержку. Среди так называемых твердых согласных наибольшее депалатализующее воздействие оказывали те согласные, при произношении которых средняя часть языка должна быть всегда в известной степени вогнута, то есть именно перечисленные выше переднеязычные. В качестве примеров можно привести современное чередование гласных: *lato* «лето» — *w lecie* «летом»; *wiadomy* «известный» — *wiedzieć* «знать»; *ciasto* «тесто», *w cieście* «в тесте»; *biały* «белый» — *bielić* «белить»; *wiano* «приданое» — *wieniec* «венец», *wiara* «вера» — *wierzyć* «верить»; *miotła* «метла» — *miecie* «метет»; *wiozę* «везу» — *wiezie* «везет»; *niosę* «несу» — *niesie* «несет»; *popiół* «пепел» — *w popiele* «в пепле»; *pióro* «перо» — *pierze* «перья» (пралехитская перегласовка *'ę*

в *'ą* в старопольскую эпоху значительно утратила свою четкость и в настоящее время примеры этого чередования можно было бы привести только из других лехитских языков).

Правильность такого именно объяснения перегласовки подтверждают как палатографические и рентгенографические исследования, так и анализ акустического строения гласных[1]. Здесь нельзя видеть диссимиляции, каких-либо результатов неосознанного страха перед ассимиляцией; рассмотренное явление — артикуляционный процесс, состоящий из многих следующих друг за другом этапов перераспределения работы мышц языка, следствие естественного стремления к облегчению артикуляции. Возникающие *'a*, *'ą* или *'o* — это те составные элементы прежних *'ě*, *'ę*, *'ě*, которые не были поглощены сильно палатализованными предшествующими им согласными. Таким образом, здесь мы имеем дело с особым типом ассимиляции, вызванным сильной тенденцией к дифтонгоидальному произношению гласных. Между тем, по Граммону, здесь наряду с ассимиляцией согласных проявляется диссимиляция гласных (ср. его объяснение старофранцузского перехода *ei* в *oi*, стр. 230—231). Подобное же объяснение возможно для перегласовки ударного *'e* в *'o* в русском языке и раннего перехода начального *je-* в *o-*, например западно- и южнославянские *jesień*, *jezioro* — восточнославянские *осень*, *озеро*.

Современные польские диалектологи чаще всего называют расподоблением — диссимиляцией наблюдающийся в западнопольских и кашубском говорах переход общепольского *o* в *u̯e*, например *oko* > *u̯eku̯e* «глаз», *pole* > *pᵘ̯ele* «поле» и т. д. В действительности здесь происходит передвижение лабио-велярного элемента при дифтонгическом типе вокализма на начальную фазу артикуляции гласных заднего ряда. (В польских говорах до сих пор очень распространено произношение *o* как *ᵘ̯o* или даже *u̯o*). В момент, когда заканчивается артикуляция, основанная на сильном округлении губ[2], конечная часть гласного преобразуется в передний гласный такой же высоты, как *o*, то есть в *e*[3].

Ничего общего с диссимиляцией не имеет также весьма редкое в истории языков явление — переход *ń* в *ś*; поляки издавна произносят исконное *ń* в группе *kn̨ę-* как *ś* (ср. *ksiądz* «ксёндз», *książę* «князь», *książka* «книга»). Это просто опоздание в движении мягкого нёба, которое опускается до соответствующего уровня лишь при артикуляции последующего носового гласного *ę*, и оглушение лишенного носовой артикуляции *ń* под влиянием предшествующего *k*. От первоначального *ń* здесь хорошо сохранилось только препалатальное произношение.

Рассмотрим факты, касающиеся старопольского изменения долготы гласных. Произношение долгих гласных, естественно, требовало увеличения артикуляционной энергии. Когда в определенной группе славянских языков, в том числе и в польском, стала действовать сильная тенденция к утрате прежних различий в долготах (что произошло, вероятнее всего,

---

[1] См.: C. Stumpf, Die Sprachlaute, Berlin, 1926; H. Koneczna, Próba objaśnienia przegłosu w językach słowiańskich, «Sprawozdania z posiedzeń T-wa naukowego warszawskiego», wydz. I, roczn. XXV (1932), zesz. 7—9, Warszawa, 1933; S. Skorupka, Studia nad budową akustyczną samogłosek polskich, Wrocław, 1955.

[2] В польском языке нельзя произнести *o*, не округляя губ. Ср. об акустическом строении гласного *o* в работах Ц. Штумпфа и С. Скорупки, а также рентгенографические снимки этого гласного в работах Г. Конечной.

[3] Подобное явление наблюдается в украинском языке. Ср. различные диалектные варианты: *kᵘ̯oń*, *ku̯eń*, *ku̯yń*, *kiń*, в которых вследствие исчезновения лабиовелярного элемента появляются гласные делабиально-препалатального типа.

в эпоху утраты первоначальных интонаций), в польском языке она осуществлялась при одновременной компенсации этой утраты усиленной работой мышц языка [1]. Эта компенсация количественных данных качественными привела к тому, что прежнее, слегка продвинутое назад *ā* преобразовалось в *á* или даже в *o*; *ā* в *ǫ*; *ō* в *ó* или в *u*; ˈ*ē* в ˈ*ē* или даже в ˈ*i*, *y*.

Так называемое «заменительное продление» в польском языке охватило лишь гласные в позиции перед звонкими согласными, более слабыми артикуляционно и более краткими сравнительно с глухими согласными. Находящиеся в конце и в середине слова полугласные ъ и ь в слабой позиции, исчезая, вызывали удлинение гласного предшествующего слога. Таким образом, хотя слово и сокращалось на один слог, долгота слова в целом сохранялась без изменений за счет выравнивания долготы фонетических элементов внутри слова [2]. Ср. старопольские и диалектные *sąsiâd* «сосед», но *brat* «брат»; *râz* «раз», но *pas* «пояс»; литературное *ząb* [*zǫb*] «зуб», но *sęp* «коршун»; *wąż* [vǫž] «уж, змея», но *kęs* «кусок», старопольские и диалектные *śniég* «снег», но *wiek* «век»; *chlêb* «хлеб», но *cep* «цеп», литературные *miód* «мёд», но *pot* «пот», *wóz* «воз», но *kos* «дрозд», а также *rój* «рой», *strój* «одежда, убранство», *bór* «бор», *wór* «мешок», *wół* «вол», *mól* «моль», *sól* «соль», а в говорах и в старопольском языке также *dóm* «дом», *kóń* «конь». Экспериментально-фонетические исследования подтверждают, что процесс осуществлялся именно таким образом, и подвести его под понятие диссимиляции нельзя [3].

Граммон усматривает процесс диссимиляции также в появлении в разные эпохи в различных языках эпентетических звуков, например *t*, *d*, которые возникают внутри групп *s* — *r*, *z* — *r*, *m* — *r*, *n* — *r*. Эти эпентезы «вырастают» в положении перед переднеязычным дрожащим *r*, т. е. перед согласным, артикуляция которого трудна для детей, а нередко недоступна и взрослым. При произнесении групп согласных, состоящих из *s*, *z* + *r* и *m*, *n* + *r*, необходима особенная четкость артикуляции, чтобы сохранить характер каждого элемента. Переход от переднеязычно-зубной узкой щели к переднеязычной вибрации требует сильного и принципиального изменения положения кончика языка. Если при таком резком переходе хотя бы на самое краткое время задержать кончик языка в положении, соответствующем первому соприкосновению с деснами при *r* (вследствие слишком малой разработанности продольных мышц языка), то возникнет зародыш *t* или *d*. Отсюда ранние *ostrъ*, *ostrovъ*, *strumy*; польские *ostry*, *ostrów*, *strumień* и новые польские *zdrada* «измена», *zdrój* «источник» и так далее. Я знала женщину из деревни Лазники в окрестностях Ловича,

---

[1] См. H. Koneczna, Zasada kompensacji w artykulacji głosek polskich, «Sprawozdania z posiedzeń Komisji Językowej T-wa naukowego Warszawskiego», t. I, Warszawa, 1937. Экспериментальные исследования показывают, что существует постоянная взаимозависимость между степенью открытости гласных и суммой вложенной в их произношение энергии — чем выше гласный, тем больше работа мышц языка.

[2] Следует, однако, помнить о том, что в живом языке длительность гласных подвергается значительным колебаниям в зависимости от различных факторов, между прочим от соседства звуков в слове. Ср.: H. Koneczna, Studjum eksperymentalne artykulacji głosek polskich, «Prace filologiczne», t. XVI, Warszawa, 1934; ее же, Wzdłużenie zastępcze, «Księga referatów [II Międzynarodowego zjazdu slawistów]», Sekcja I, Warszawa, 1934.

[3] Полагаем, что белорусское и великорусское так называемое диссимилятивное акание объясняется не диссимиляцией, а различиями в количественных признаках гласных. Белорусское *въдá*, но *вл̀дý* объясняется тем, что гласный *а* является по своей природе предельно долгим и вызывает более сильную редукцию предударного гласного. Количество гласных располагается в следующем порядке: *а* — самый долгий; *е*, *о* — средней долготы; самыми краткими являются *i*, *y*, *u*.

которая постоянно произносила *zdrucić* вместо диалектного *zrucić* «сбросить», *z drowu* (z rowu) «изо рва», *z drusk'emy* (z Ruskimi) «с русскими» и так далее.

Слишком рано произведенное поднятие мягкого нёба и закрытие прохода к полости носа в связи с приготовлениями к трудному в артикуляционном отношении *r* преобразовывает группу *nr* в *ndr* в таких словах, как *Hendryk*, *Kondrad*, *Undra* «UNRA»; из более ранних форм можно привести здесь еще *pędrak* «личинка»; то же самое произошло когда-то во французских *nombre*, *chambre* (из латинских *numerus*, *camera*). Таким образом, и здесь мы имеем дело не с бессознательным стремлением избежать ассимиляции, а со стремлением уменьшить трудности артикуляционных переходов в редко встречающихся группах согласных. Вероятно, вначале эпентетические согласные выступали при произношении таких групп спорадически, лишь у некоторых индивидуумов. Своеобразными упрощениями, облегчающими артикуляцию, можно также объяснить различные изменения в старопольских группах *śř*, *źř* в середине и в начале слова, а также переход *św*, *źw* в говорах в *sw*, *zw*.

Граммон приводит еще в качестве примеров диссимиляции различные способы интервокальных, в особенности щелевых согласных, которые в этой позиции вследствие ассимилятивного действия гласных могут также и ослабевать вплоть до полного исчезновения (стр. 236). Подобные явления свойственны и польскому языку.

В Великопольше очень распространено озвончение интервокального *x*, например *suγam* (słucham) «слушаю», *na daγu* (na dachu) «на крыше», *koγany* (kochany) «любимый». В подхалянском диалекте *x* перед последующей гласной может ослабевать, переходя в звонкое *h* или даже исчезая: например в деревне Буковина я слышала: *suγy* (suchy) «сухой», *ćiγo* (cicho) «тихо», *puńcoγy* (pończochy) «чулки», *z ruśiịsk'ego v'eru* (z Rusin'skiego wierchu) «с Русинского верху», *sowali* (schowali) «спрятали», *oƀ'by* (choc'by) «хотя бы», *s ustek* (z chustek) «из платков». В тех случаях, когда *x* является необходимой составной частью морфемы, например, во флексии родительного и местного падежа множественного числа местоименного склонения, или входит в состав окончания первого лица единственного числа прошедшего времени,— оно не может быть утрачено. Чаще всего оно усиливается в наиболее близкий с точки зрения акустики, но более сильный артикуляционно губно-зубной согласный *f* или заднеязычный *k*, в котором хотя и сохраняется первоначальное место артикуляции, но значительно усиливается работа мышц языка. Эти изменения происходят вследствие того, что заднеязычно-велярное *x* в такой слабой позиции, как абсолютный конец слова, не может озвончаться. В этих говорах в других положениях оно может полностью исчезать. Ср., например, *io byłak f pěńću stawak* «я была у Пяти Озер»; *słysołek* «я слышал»; *mef* «мох»; *daf* «крыша»; *straf* «страх».

В центральных, восточных и западных областях Польши встречаются островки говоров с интервокальным *s* (*ś*), усиливающимся в *ss* (*śś*); например: *bosso* «босиком», *rossa* «роса», *do lassa* «в лес», *w leśśe* «в лесу», *ńwessać* «вешать», *ńwiśśi* «висеть», *ussi* «уши». В этом случае мы имеем дело с усилением звука, артикуляция которого находится под угрозой вследствие занимаемой им в слове позиции. Это явление имеет реликтовый характер, оно наблюдается лишь в определенных лексемах. Видимо, на каком-то этапе развития польского языка действовала тенденция (не носящая, однако, всеобщего характера) к ослаблению щелевых согласных в интервокальном положении, перед согласными и в абсолютном конце слова. Ведь во многих языках *x* может исчезать полностью, а *s* может переходить в *z* и, наконец, в *r* (ротацизм). Но можно ли назвать дисси-

миляцией усиление артикуляционного нажима на слабнущий звук с целью сохранить первоначальный фонетический облик слова?[1]

Несмотря на установившееся в науке соответствие, термины «ассимиляция» и «диссимиляция» имеют по существу несоотносимое содержание: «ассимиляция» указывает не только на результат процесса, но и на самую сущность явления, в то время как «диссимиляция» (или «дифференциация») подчеркивает лишь результат изменения, при этом неправильно его характеризуя. Мне кажется, что до сих пор различные явления определялись термином «диссимиляция» только потому, что сущность этих явлений оставалась неясной. Лучше было бы отбросить «диссимиляцию» — и как термин, и как понятие.

Граммон и все те языковеды, которые видят главные причины своеобразия артикуляционной базы каждого языка и источник постоянных исторических изменений этой базы во влияниях различных, постоянно изменяющихся артикуляционных тенденций, вполне правы.

Чем более детально путем экспериментальной фонетики будут выявлены физиологически-артикуляционные, акустические и аудиологические особенности фонетических систем различных языков, тем легче будет ориентироваться в типах артикуляционных баз этих языков, тем точнее можно будет определить господствующие в них фонетические тенденции.

---

[1] Усиление согласных путем повышения их артикуляции часто может выступать как следствие сильной палатализации; ср. праславянские губные *pi̯*, *bi̯*, *vi̯*, *mi̯*, преобразовавшиеся в *pl'i̯*, *bl'i̯*, *ml'i̯*, *vl'i̯*; польские *p'*, *b'*, *v'*, *m'* произносятся в Вармии на Мазурах и в Курпях как *pś*, *bž*, *vž*, *mń*. Аналогичные явления встречаются и в настоящее время в румынском языке, где *pi̯* переходит в *pk'*. В белорусском и украинском некоторые палатализованные согласные перед *j* даже удлиняются; ср. *аканне*, *житте*, *збожже*, *весилля*, *насиння*, *життя*. И эти явления также не носят характера диссимиляции.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1958

МАРК ВЕЙ

К ЭТИМОЛОГИИ ДРЕВНЕРУССКОГО *СТРИБОГЪ*

Слово *Стрибогъ* было предметом многочисленных этимологических толкований, однако ни одно из них не может считаться окончательным. Не останавливаясь на их обзоре, ограничимся напоминанием, что начальное *s-* в *Стрибогъ* рассматривалось большинством авторов как рефлекс **s-*, реже — **k-*. Но не исключена и другая возможность: начальная группа *st-* может восходить к **pt-*[1]. Иными словами, *stri-* может быть рефлексом **ptrī-*. Эта гипотеза и будет здесь рассмотрена.

Названием обожествленного «неба-отца» в части индоевропейской области было **dyēus pətēr*, ср. санскр. *dyaúḥ pitā́*, греч. ζεὺς πατήρ, лат. *Diēspiter* (зват. *Juppiter*), и т. д. Но в древности существовал и обратный порядок (**pətēr dyēus*): вед. *pitā́ dyáuh*, греч. гомер. πατὴρ ζεύς (Δ 235). «Небо-отец» противопоставлялось «матери-земле» (вед. *mātā́ pr̥thivī*); русская народная песня еще сохраняет название *мать-сыра-земля*. Очевидно, в древней религии славян было известно понятие «бога-отца», и если здесь сохранилось древнее название «неба-отца», то наиболее вероятным для него был бы порядок отец + небо.

И.-е. **dyēus* или его тематический эквивалент **dei-w-os* был заменен в части индоевропейской области через **bhagos*, ср. фриг. βαγαῖος, ζεὺς φρύγιος (Гесихий), авест. *baγa*, др.-перс. *baga*, совр. перс. *baγ-*, слав. *богъ*. Если у славян сохранилось название «неба-бога» или «небесного отца», то для него следует ожидать форму, восходящую к **pətēr bhagos*. В последующем изложении предполагается показать, что такой формой могло быть древнерусское *Стрибогъ*. Вторая часть этого сложения представляется достаточно ясной; труднее определить, в каких условиях **pətēr* могло привести к слав. *stri-*.

Индоевропейское название отца было вытеснено в общеславянском задолго до эпохи первых памятников письменности и заменено словом *otьcь*, восходящим к **atta*. Есть серьезные основания полагать, что оно исчезло в период между балто-славянской и общеславянской эпохами. В самом деле, многие компаративисты допускают, что литовск. *tėvas* есть результат изменения **tē*, которое в свою очередь восходит к **ptē(r)*. Известно также, что в славянских языках сохраняются производная и сложная формы от **pter-*, **ptr-*, **-ptor-*[2]. В отношении производного общеслав. **strъjь* «брат отца» можно допустить, что оно продолжает и.-е. производное **pətruyos*. Простая форма **pətēr* в славянских языках не отразилась, но общеслав. **pa-stor-ъkъ* «отчим», «пасынок» (из **pō-ptor-*) является сложением, восходящим к типу, который распространился только в балто-славянской области и предполагает для эпохи своего формирования живые формы **pter-*, **-ptor-*.

---

[1] См. M. Vey, Slave *st-* provenant d'i.-e. **pt-*, «Bull. de la Société de linguistique de Paris», t. XXXII, fasc. 1 (№ 95), 1931, стр. 65; ср. там же, fasc. 2 (№ 96), стр. XV.

[2] M. Vey, указ. соч.

И.-е. **pətēr* было словом социального и религиозного значения[1]; оно было заменено при употреблении в семейных и обиходных сферах (производным от звательного), дольше сохраняясь в религиозном словаре.

Какую форму и какую флексию мог иметь славянский представитель **pətēr* в эту отдаленную эпоху? В индоевропейском названия родственников на *-ter* имели флексию с тремя тематическими гласными: **-tē(r)* в им. ед.; **-ter-* в зват. и вин. ед., в им.-зв.-вин. двойственного, в им.-зват. множественного; **-tr-* в других падежных формах.

Славянское **-tē(r)* дало *-ti*, хотя фонетически здесь ожидалось бы **-tě*. Для объяснения этого изменения А. Соболевский [2] и вслед за ним А. Вайян принимают для слов женского рода на **-ter* аналогичное влияние слов жен. рода на **-ī* (*nesǫšti*). Так же объясняются и слова муж. рода на **-tēr*, для которых принимается аналогия слов муж. рода на **-ī* (*sǫdьji*); впрочем, ясно, что все названия родственников на **-tēr*, как мужского, так и женского рода, получили одно и то же окончание. Можно думать, что в славянском языке в весьма древнюю эпоху имелось им. ед. **sti*, а также **brati* (из **bhrātēr*, ср. др.-прусск. *brāti*), **jęti* (из **yenətēr* «жена брата мужа», ср. литовск. *jéntė*), исторически засвидетельствованное *мати* (из **mātēr*) и **дъкти* (из **dhughətēr*).

Соответствующие флексии ожидаются в других падежах: вин. **ster-ь*, род. **str-e*, дат.-местн. **str-i* и т. д. Обобщение вокализма *-ter-*, имеющееся в *мати*, род. падеж *матере* и **дъкти*, род. падеж *дъктере*, является новообразованием. Обобщение же вокализма *-tr-*, который характеризует **bratr-* и **jętr-*, носит более древний характер.

Объяснить изменение **sti bogъ*, род. **stre boga* и т. д. в *Стрибогъ*, род. *Стрибога* и т. д. можно двояко. Оба объяснения подтверждаются фактами языка; они не исключают взаимно одно другое и могут дополнять друг друга. Однако прежде всего следует подчеркнуть, что **stribogъ*, если оно продолжает **pətērbhagos*, является сложением, тип которого почти неизвестен в славянских языках; в частности, мы не знаем, какой результат должен был дать долгий дифтонг *-ēr-* между согласными.

1. Можно думать, что одна из форм склонения первого слова сложения обобщилась. Слово, продолжающее **pətērbhagos*, должно было, вероятно, склоняться в раннюю эпоху следующим образом: им. **sti bogъ*, вин. **sterь bogъ*, род. **stre boga*, дат. **stri bogu*, местн. **stri bodzě* и т. д. Элемент **stri*, общий двум падежным формам и имеющий тот же вокализм, что и им. **sti*, мог распространиться на всю парадигму: им. *стрибогъ*, род. *стрибога* и т. д. Такое явление не единично в сложениях. Аналогичное объяснение имеет изменение *Царь градъ*, род. *Царя града*, мест. *Цари градѣ* и т. д. в *Цариградъ*, род. *Цариграда* и т. д.[3]; ср. также изменение ст.-чеш. *Studenaves* в ср.-чеш. (им.) *Studeněves*[4].

2. Возможно также, что это обобщение облегчалось распространением, или, вернее, восстановлением корневого консонантизма *str-* в именительном перед конечным фонетическим *-i*. Подобное явление широко отмечается для различных основ на согласный.

Оно отчетливо представлено в основах на *-ū* (слав. *-y*, *-ъv-*), где *v* других падежей спорадически появляется перед фонетическим гласным

---

[1] Ср. A. Ernout et A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine, 3 éd., t. II, Paris, 1951, стр. 862.

[2] А. Соболевский, Общеславянские изменения звуков, РФВ, т. XXII, № 3, 1889, стр. 21.

[3] W. Vondrák, Vergleichende slavische Grammatik, Bd. I, Göttingen, 1924, стр. 673.

[4] A. Profous, Místní jména v Čechách, díl IV, Praha, 1957, стр. 222.

в им. падеже ед. числа. Ср. др.-русск. (им.) *церкви* (наряду с *церкы*, *церки*), представляющее собою контаминацию старого именительного и основы *церкв-* других падежей; др.-серб. (XIV в.) *crьkvi* и *crьkvy*[1]. А. Вайян приводит многочисленные аналогичные случаи из старославянского (Супр. рук.: **смокви**) и среднеболгарского (**църкви**). Эта новая форма, пишет он, «получилась в результате обобщения основы **църкв-** с заменой **-ы** на **-и** женского рода склонения типа **пустыни**, **мати**...»[2]. Для предполагаемого же перехода **sti* в **stri* в такой замене гласного даже не было надобности.

Подобным же образом, вероятно, произошло изменение названия для сестры (основы на *-r-*). Из **s(w)esō(r)*, **s(w)esr-* должно было бы получиться слав. **sesa* (ср. литовск. *sesuo*), **ses(t)r-*. В действительности же представлено им. *сестра*: *r* других падежей было введено перед *a* именительного, восходящим к и.-е. **ō*; *a*<**ō* совпадало с *a*, восходящим к **ā*, которое являлось окончанием женского рода, что облегчало переход рассматриваемого слова в женское склонение: *сестра*, род. *сестры*.

Другое слово основ на *-tēr*, название для брата, не может быть для нас полезным, т. к. невозможно установить, каким образом ожидаемая форма **brati* (ср. др.-прусс. *brāti*), род. **bratre* и т. д. была заменена наиболее древней засвидетельствованной формой: *братръ*, род. *братра*.

В случае **yenətēr* «жена брата мужа» представляется вероятным, что между древним **jęti*, *jętre* и исторически засвидетельствованным *jętry*, *jętrъve* (аналогичным *свекры*, *свекръве*) необходимым посредником была форма, которую можно представить как им. **jętri*. Иначе трудно понять, как, например, старый родительный **jętre* мог непосредственно преобразоваться в **jętrъve*. Легче допустить переход **jęti*, *jętre*> **jętri*, *jętre*>**jętry* (по типу *свекры*). Косвенно как будто засвидетельствована предполагаемая переходная форма им. **jętri*. В словенском языке есть редкая форма *itrica* «жена брата», которая, как мне известно, встречается только в «Словенском родовнике» Й. Залокара[3], однако нет никаких оснований считать ее сомнительной. Она позволяет сделать интересные сопоставления. Конечно, форма *itrica* не имеет никакого отношения к позднему образованию словен. *jêtrva* или **jêtrov*, которое дало производные *jêtrvica* и *jêtrovca*. Она не может восходить и к древнему производному от **jętry*, которое оканчивалось бы на *-y-ka*. Она может быть только древним производным от **jętri*.

Сходное явление наблюдается в польском языке, ср. др.-польск. *jątrzewka*[4] при *jątrew*, *jątrewka*, которое легко объясняется при допущении, что наряду с **jętry* польскому языку было известно также и древнее **jętři*> **jątrzy*[5]. Особняком стоит случай с такими фонетическими дублетами, как *ostrew* : *ostrzew*, и другими, в которых могла играть роль аналогия с образованиями на палатализованное *r* (*ostrze* «лезвие, остриё» и т. д.)[6].

---

[1] W. Vondrák, указ. соч., Bd. II, Göttingen, 1928, стр. 44.

[2] A. Vaillant, Manuel du vieux slave, t. I — Grammaire, Paris, 1948, стр. 112.

[3] E. H. Costa, Vodnikov spomenik, Ljubljana, 1859, стр. 257.

[4] «Słownik języka polskiego», pod red. J. Karłowicza, A. Kryńskiego i W. Niedźwiedzkiego, t. II, Warszawa, 1902, стр. 150; M. Arct, Słownik staropolski, t. I, Warszawa, [1914], стр. 107.

[5] Это наиболее очевидное, но не единственно возможное объяснение. Как сообщил мне Э. Деко, можно думать о польском диалектном *trъ* > *tř*, аналогичном нижнелужицкому.

[6] Если верить данным словаря Котта (Fr. Št. Kott, Česko-německý slovník zvláště grammaticko-fraseologický, Praha, 1878—1893), в чешском языке как будто бы известны формы, в основе которых лежит соотношение **jętri* — **jętry*. В частности,

В балтийских языках рассматриваемое явление осуществлялось в наиболее ясных условиях. Наряду с литовск. *duktẽ*, род. падеж *duktẽrs* или *-ẽs* «дочь» (ср. др.-прусск. *duckti*) имеется также литовск. *dùkrė*, род. *-ės* (а также *dukrà* или *dūkrà*, род. *-ōs*), *pódukrė* (и *pódukra*) «падчерица» (ср. др.-прусск. *poducre*). В основе этих форм лежит **duktrė*. Сходным образом наряду с др.-прусск. *mūti* (вин. *mūtin*) «мать» и литовск. *motẽ* «жена», род. *motẽrs* имеем др.-прусск. *pomatre* «мачеха».

Эти факты балтийских языков интересны в том отношении, что они показывают, что для появления *r* других падежей перед фонетическим конечным гласным именительного падежа не было необходимым обобщение нулевого вокализма (*-tr-*) элемента, предшествующего падежному окончанию; действительно, в двух рассмотренных литовских словах в косвенных падежах выступает *-ter-*.

Вряд ли на основании приведенных разрозненных примеров можно говорить о балто-славянском характере рассматриваемого явления; эти примеры свидетельствуют о тенденции, общей балтийским и славянским языкам, тенденции, которая проявлялась независимо в обеих группах.

Нам остается дать семантическое объяснение рассматриваемого слова. Однако это очень затруднительно, так как сведения, необходимые для характеристики Стрибога, ничтожны.

1. Историки религии полагают, что известные нам славянские боги делятся на две группы — балтийскую и русскую. Л. Нидерле[1] считает, что «первым в русской группе является *Стрибог*, единственный бог, исконное происхождение которого несомненно». Он приводит[2] отрывок из Слова Иоанна Златоуста, который упоминает лишь двух богов и именно в таком порядке: *Стрибогъ* и *Дажьбогъ*[3].

2. Единственный текст который дает некоторые сведения о Стрибоге,— «Слово о полку Игореве»; подлинность его некоторыми исследователями, к сожалению, оспаривается. Но даже если это произведение подражательного характера, все же следует напомнить о некоторых данных, приводимых его авторами (возможно, они черпали их из какого-то другого источника). Этот текст содержит выражение *Стрибожи внуци*, которое большинство толкователей понимает как название ветров; однако Б. Унбегаун видит здесь обращение к русским[4]. Первое толкование хорошо сочетается с представлением об обожествленном небе, второе — о боге-отце.

Как я уже говорил выше, в различных индоевропейских мифологиях противопоставлялись бог-отец и богиня-мать. Русская народная песня показывает, что у русских сохранилось предание о матери-земле, рядом с которой занимал свое место и бог-отец. Возможно, это был *Стрибогъ*.

Не следует, впрочем, забывать, что русские боги известны нам лишь из поздних источников, в передаче христианских текстов, где им уделялось мало внимания. Вполне возможно, что *Стрибогъ* в опустевшем русском пантеоне был последним воплощением «бога неба».

Перевела с французского *О. А. Лаптева*

---

jetřev представляет одновременно перегласовку в корне (*je*<*ja*) и палатальность *ř*, которую вызывало бы конечное *i*. Но вряд ли можно быть уверенным, что в данном случае речь идет об исконно чешском слове, так как форма *jetřev* приводится очень неопределенно, а ссылки, которыми ее сопровождает Котт, слишком неясны.

[1] L. Niederle, Život starých slovanů, 2 vyd., díl II, sv. 1, Praha, 1924, стр. 119.

[2] Там же, примеч. 1.

[3] Известны и другие имена русских богов, но можно думать, что бо́льшая их часть не исконно русского происхождения.

[4] B. O. Unbegaun, L'ancienne religion des slaves, «Mana. Introduction à l'histoire de religions», III, Paris, 1948, стр. 400, примеч. 1.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1958

Е. П. ЛЕБЕДЕВА

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РОДОВЫХ НАЗВАНИЙ МАНЬЧЖУРОВ

Вопрос о генетической общности маньчжурского и эвенкийского языков, представляющих собой две «крайние» ветви тунгусо-маньчжурской группы (северную — тунгусскую и южную — маньчжурскую), уже давно решен положительно, однако на языковом материале эта общность выявлена еще недостаточно. Высказывалось мнение о том, что между маньчжурским и эвенкийским языками существует лишь отдаленное родство. С нашей точки зрения, близость маньчжурского и эвенкийского языков не только несомненна, но и очень значительна, что можно заключить из большого числа общих корней слов и многочисленных совпадений во всех областях грамматики (синтаксис, словоизменение и особенно словообразование).

Изучение родовых названий маньчжуров в сравнении с родовыми названиями эвенков позволяет выявить новые факты, подтверждающие близкое языковое родство эвенков и маньчжуров и вместе с тем помогающие разрешить ряд вопросов этногенеза этих народов.

Родовые названия эвенков в большом числе приводились в исторической, этнографической и языковедческой литературе. В нашей работе мы пользуемся главным образом материалами Г. М. Василевич[1] как наиболее точными в фонетическом отношении, записями А. Ф. Анисимова[2] и своими собственными. Наука располагает также довольно подробными сведениями о родовом составе тунгусо-маньчжуров Приамурья[3]. Мало известные в русской литературе родовые названия маньчжуров в предлагаемой статье привлекаются из литературы на маньчжурском языке, и прежде всего — из ксилографа «Чжакунь гусай маньчжусай мукунь хала бэ ухэри эчжэхэ битхэ» («Общее обозрение родов и фамилий маньчжуров, состоящих в восьми знаменах»)[4], в котором приводится более ты-

---

[1] Большое число родовых названий помещено в следующих ее работах: Г. М. Василевич, Эвенкийско-русский словарь, М., 1940; ее же, Очерки диалектов эвенкийского (тунгусского) языка, Л., 1948.

[2] См. А. Ф. Анисимов, Родовое общество эвенков (тунгусов), Л., 1936.

[3] См.: Н. К. Каргер, Родовой состав ульчей, журн. «Сов. Север», № 5, 1931; А. М. Золотарев, Родовой строй и религия ульчей, Хабаровск, 1939; Г. Мевзос, Определение племенного состава туземного населения при переписи, «Статистический бюлл.», Хабаровск, 1926, № 1 (16); К. М. Мыльникова и В. И. Цинциус, Материалы по исследованию негидальского языка, «Тунгусский сборник», I, Л., 1931; Е. Р. Шнейдер, Краткий удейско-русский словарь, М.—Л., 1936; Л. Я. Штернберг, Гиляки, орочи, гольды, негидальцы, айны, Хабаровск, 1933; Т. И. Петрова, Ульчский диалект нанайского языка, М.—Л., 1936, и др.

[4] Ксилограф был издан маньчжурской династией в Китае в 1744 году. Нами был использован экземпляр, хранящийся в библиотеке восточного фак-та ЛГУ им. Жданова под шифром МД. 22. Полный список маньчжурских родов, упомянутых в этом ксилографе, помещен в статье: Е. П. Лебедева, Расселение маньчжурских родов в конце XVI и начале XVII веков, «Уч. зап. [Ленингр. гос. пед. ин-та им. Герцена]», т. 132 — фак-т народов Крайнего Севера, 1957.

сячи родовых названий маньчжуров, монголов, корейцев и китайцев, входивших в состав маньчжурской восьмизнаменной армии.

При рассмотрении имеющихся в этом ксилографе родовых названий маньчжуров нам встретилось очень мало таких, которые совпадали бы полностью или по своим корневым элементам с родовыми названиями эвенков. Отсюда, казалось бы, следовал вывод о том, что родовые группы, вошедшие в состав маньчжурских знамен, не имели генетического родства с родовыми группами эвенков, расселенных в бассейне Енисея, в Якутии и Забайкалье. Однако, если проанализировать родовые названия маньчжуров в отношении их морфологического состава, то именно здесь обнаруживается их значительное сходство с родовыми названиями как эвенков, так и других тунгусо-маньчжурских народов.

Во всех родовых названиях маньчжуров легко можно выделить словообразующие форманты, по которым эти родовые названия объединяются примерно в сорок групп. В подавляющем большинстве эти форманты уже полностью омертвели и срослись с корнями, однако наличие большого количества образованных совершенно одинаковым способом слов дает все основания для этимологического выделения их суффиксальной части.

*

Переходим к сравнительному обзору указанных выше групп маньчжурских родовых названий.

1. Большая группа родовых названий маньчжуров образовалась при помощи суффикса *-ри*: *Илари*, *Эсури*, *Бохори*, *Тусэри*, *Никири*, *Хутури* и многие другие. Этот же суффикс в собирательном значении наблюдается в маньчжурских словах *мамари* «матери», *мафари* «деды».

2. Значительное число родовых названий образует суффикс *-ра*, *-рэ*, *-ро*: *Татара*, *Нара*, *Гидара*, *Сочоро*, *Ниохэрэ*, *Хургара* и др.

3. Суффикс *-ча* образует родовые названия *Фуча*, *Нимача*, *Сахалча*, *Булча*, *Уньча*, *Сакча* и др. Суффикс *-ча*, *-чэ* встречается в составе родовых названий эвенков, например *Кичэл*, *Кучал*, *Тугэчал*, но в отличие от маньчжурского здесь он осложнен еще суффиксом *-л* — обычным для эвенкийского языка показателем множественного числа. В родовых названиях эвенков *Сичэ-гир*, *Чилча-гир*, *Чукча-гир* суффикс *-ча*, *-чэ* является первичным словообразующим формантом, на который наслоился второй словообразующий формант *-гир*. Суффикс *-ча*, *-чэ* наблюдается также в составе многих эвенкийских мужских имен, например: *Аюнча*, *Бāтэрчā*, *Āпэрча* и др. Можно предполагать, что суффикс *-ча* имеется и в составе территориальных названий ульчских родов. Например, ульчский род *Дечули* подразделяется на территориальные группы: *Сучунча*, *Гульмахунча*, *Котончо*, *Деринча*. Впрочем, связь между суффиксом *-ча* в маньчжурских и эвенкийских родовых названиях и ульчским суффиксом *-нча* не вполне ясна. Можно полагать, что аналогию по образованию с эвенкийскими и маньчжурскими родовыми названиями этой группы представляет и само название народности — *ульча*[1].

4. Суффикс *-чань*, *-чэнь*, *-чонь* встречаем в родовых названиях: *Гиочань*, *Ургучэнь*, *Хонгочонь*, *Хяньдачань*, *Мусэчэнь* и др. Этот суффикс может быть сопоставлен с суффиксом *-чар*, *-чэр* в родовых названиях эвенков *Букэчар*, *Момōчар*, *Хукэчэр*, поскольку последний представляет собой правильное множественное число от *-чан*, *-чэн*. При помощи суффикса *-чэр*, как можно полагать, было образовано на-

[1] Изложение точек зрения на происхождение слова *ульча* имеется в упоминавшихся выше работах Т. И. Петровой и А. М. Золотарева.

звание *Дючер* (в русском произношении), которым называли народ маньчжурского происхождения, обитавший до середины XVII в. по среднему течению Амура.

5. Суффикс *-да*, *-дэ*, *-до* встречается в родовых названиях *Кэодэ*, *Сакда*, *Чжэрдэ*, *Урда*, *Гуварда*, *Мулдэ*, *Кэрдэ* и др. Этот же суффикс в качестве первичного словообразовательного форманта входит в состав названий эвенкийских родов *Болда-гир*, *Бугдэ-кэгир*, *Елда-гир*, *Хангнадагир*, *Чимда-гир*. Можно предполагать, что суффикс *-да*, *-дэ*, *-до* имеет генетические связи со словом *да*, которое в эвенкийском языке обозначает род матери, т. е. род, связанный с моим родом взаимными брачными отношениями[1], а в маньчжурском имеет очень много значений и среди них — «корень», «начало», «родина».

6. Суффикс *-та*, *-тэ*, *-то* образует родовые названия *Чжакута*, *Нингута*, *Омото*, *Чжуваньта*, *Ниохутэ*, *Онгото*, *Нахата*, *Нионтэ* и др. Этот суффикс можно выделить в родовых названиях эвенков *Бута*, *Богото* и *Болто-гир*, *Бултэ-гир*, *Лонгто-гир*, *Тапта-гир*, где он является первичным словообразующим формантом. Этот же суффикс, выступая в собирательном значении, встречается в составе многих маньчжурских терминов родства: *амата* «отцы», *эмэтэ* «матери», *амчжита* «старшие дядья», *амбута* «старшие тетки». Суффикс *-та*, *-тэ*, *-то*, по всей вероятности, представляет собой лишь глухой вариант выше рассмотренного суффикса *-да*, *-дэ*, *-до*.

7. Суффикс *-са*, *-сэ*, *-со* образует небольшое количество родовых названий: *Буса*, *Монгосо*, *Васэ*, *Эсэ*. Суффикс *-са*, *-сэ*, *-со* в маньчжурском является наиболее употребительным суффиксом множественного числа. В нанайском и ульчском языках суффикс *-са*, *-сэ*, *-со* осложнен вторым компонентом *-л*, *-ли*, который также является показателем множественности. Вопрос о скрещенном происхождении суффикса *-сал*, *-сали*, встречающегося в ряде языков тунгусо-маньчжурской группы, освещен В. И. Цинциус[2]. Суффикс *-сали*, *-сэли* характерен для целого ряда родовых названий ульчей: *Куйсали*, *Гилэмсэли*, *Огдымсэли*, *Баяусали*.

8. Суффикс *-су* образует следующие родовые названия: *Калдасу*, *Улису*, *Чжурсу*, *Хайласу*, *Тубсу*, *Тунгусу* и др. Суффикс *-су* можно сопоставить с нанайск. *сусу* «покинутое селение» и маньчжурск. *сусу* «отчизна, родина, первоначальное место жительства», которое, как и ряд других слов в нанайском и маньчжурском языках, образовано путем удвоения основы.

9. Суффикс *-ту* образует родовые названия *Эрту*, *Кумту*, *Сарту*, *Эргэту*, *Имту*, *Хуту*, *Ниоту* и др. Аналогичным по образованию является ульчское родовое название *Губату*.

10. При помощи суффикса *-чу* образованы родовые названия *Кэмчу*, *Монгочу*, *Гибчу*. На основании весьма обычных в тунгусо-маньчжурских языках соответствий *ч*//*с* можно полагать, что суффикс *-чу* является вариантом суффикса *-су*. В монгольском языке *-чуд* — один из показателей множественности[3].

11. При помощи суффикса *-си* образованы родовые названия *Уси*, *Улси*, *Хуси*, *Фуси*. В качестве показателя множественности этот суффикс встречается в некоторых маньчжурских словах, обозначающих преимущественно родственные отношения, например: *хочжихоси* «зятья», *омоси* «внуки», *хэхэси* «женщины» и др.

---

[1] См. А. Ф. Анисимов, указ. соч., стр. 185.

[2] В. И. Цинциус, Множественное число имени в тунгусо-маньчжурских языках, «Уч. зап. [ЛГУ]», Серия филол. наук, вып. 10, 1946, стр. 88.

[3] Относительно происхождения этого показателя см. Г. Д. Санжеев, Сравнительная грамматика монгольских языков, т. I, М., 1953, стр. 132.

12. Суффикс *-ду*, *-дунь*, *-тунь* образует родовые названия *Уньду*, *Байду*, *Шурду*, *Дэдунь*, *Туньдунь*, *Турдунь*, *Уньтунь*. При помощи этого же суффикса образовано родовое название ессейских якутов *Чорду*. Еще в конце прошлого столетия этот род в статистических данных фигурировал как эвенкийский.

13. Суффикс *-чи* имеется в составе большого числа маньчжурских родовых названий, например: *Чжэрчи*, *Ургэчи*, *Хохочи*, *Буямчи*, *Илачи*, *Унечи*, *Нинчжучи* и др. Возможно, что суффикс *-чи* не во всех родовых названиях имеет одинаковое значение. Так, в родовом названии *Унечи* (происходящем скорее всего от слова *унень* «корова») значение суффикса *-чи* таково же, как в эвенк. *орочи* «оленный» или в маньчжурск. *адучи* «табунщик» (от *адунь* «стадо»), *асучи* «рыболов» (от *асу* «сеть»). В родовых же названиях *Илачи*, *Нинчжучи*, происходящих, как и некоторые другие названия маньчжурских родов, от числительных (*илан* «три», *нинчжу* «шестьдесят»), значение суффикса *-чи* таково же, как у порядковых числительных *илачи* «третий», *дуйчи* «четвертый» и т. д. Маньчжурский суффикс *-чи*, образующий порядковые числительные, можно сопоставить с эвенкийским суффиксом *-чи*, также образующим порядковые числительные, но только с временным значением, например: *илачи* (в северном диалекте *иласи*) «третий по времени, третье число месяца» в отличие от *или* «третий» во всех других случаях.

14. Суффикс *-нга*, *-нгэ*, *-нго* образует родовые названия *Улинга*, *Донго*, *Хонго*, *Дарчунга*, *Уньдэнгэ* и др.

15. Суффикс *-гэ* образует родовые названия *Иолгэ*, *Чжугэ*, *Байгэ*, *Чжулгэ*, *Гэгэ*. Гласный этого суффикса, насколько можно судить по приведенным примерам, не изменяется в зависимости от состава гласных основы (не подчиняется правилам гармонии гласных) , как это обычно бывает с гласными других словообразовательных суффиксов.

16. При помощи суффикса *-нги* образованы следующие родовые названия: *Сэлэнги*, *Сунги*, *Чжунги*, *Ванги*, *Чжинги* и др. Этот суффикс можно сопоставить с чрезвычайно распространенным в тунгусо-маньчжурских языках суффиксом *-нги*, выражающим принадлежность, например нанайск. *мапанги* «медвежий», эвенкийск. *сулакинги* «лисий». Допустимо и другое объяснение: суффикс *-нги* мог образоваться от слияния конечного *н* основы и суффикса *-ги*, который служит компонентом в составе многих сложных суффиксов, образующих родовые названия.

17. Суффикс *-ни* встречается в родовых названиях *Чэнни*, *Айни*, *Бурни*, *Буни*, *Танни*, *Чжанни*. Среди эвенкийских родовых названий только одно — *Кочонил* —по образованию представляет аналогию с перечисленными маньчжурскими названиями. Суффикс *-ни* здесь осложнен присоединенным к нему показателем множественного числа *-л*. Такое соединение суффиксов *-ни* и *-л* встречается в некоторых эвенкийских терминах родства, например: *акнил* «старшие братья», *экнил* «старшие сестры», *нэкнил* «младшие братья и сестры». Суффикс *-ни* можно сопоставлять со словом *ни* «человек», например в самоназвании *нани*, которым называют себя орочи. Нанайское *най* «человек» является более полной формой слова *ни*, которое также употребительно в нанайском языке.

18. При помощи суффикса *-ну*[1] образовано только два названия: *Уну*, *Гану*.

19. Суффикс *-ла*, *-лэ*, *-ло* образует родовые названия *Учжала*, *Гороло*, *Куяла*, *Мэйлэ*, *Нонгилэ*, *Ушила*, *Емэлэ* и др. Аналогично по образованию название ульчского рода *Дятала*. Как первичный компонент суффикс *-ла* встречается в составе эвенкийских родовых названий: *Ала-гир*, *Ела-гир*,

[1] Ср. с монгольским показателем множественности *-нуд*.

Ингэлā-гир, *Хингилā-гир* и др. В родовых названиях *Алагир* и *Елагир* компонент *-ла*, возможно, относится к корню слова, в остальных же из перечисленных родовых названий он безусловно суффиксального происхождения. Этот же суффикс *-ла* (скорее всего локативный по значению), по-видимому, образовал и слово *хала* «род», распространенное во многих тунгусо-маньчжурских языках.

20. Суффикс *-ли* встречается в составе трех родовых названий: *Эмтэли*, *Тунсэли* и *Чжили*. Такого же типа родовые названия ульчей: *Дечули*, *Чорули*, *Авали*, *Удзяли*, *Тумали*. Род *Тумали* имеется и у нанайцев. В маньчжурском названии *Тунсэли* следует выделять суффикс *-сэли*, о котором речь уже шла выше. Суффикс *-ли* как первичный словообразующий формант встречается в эвенкийских родовых названиях: *Дяли-гир*, *Ели-гир*, *Кунчули-р*, *Лали-гир*, *Сили-гир*, *Тали-гир*, *Чангали-р*. Хотя во всех перечисленных выше названиях и обнаруживается один и тот же формант *-ли*, однако как маньчжурские, так и эвенкийские родовые названия этой группы не однотипны по образованию. Первичные основы эвенкийских родовых названий *Дяли-гир*, *Ели-гир*, *Лали-гир*, *Сили-гир*, *Тали-гир* однотипны с маньчжурским *Чжили*. В других же родовых названиях *-ли* является лишь компонентом в составе сложных форм множественности или собирательности (*-тэли*, *-сэли*, *-лир*).

21. Суффикс *-лу* образует родовые названия *Иркулу*, *Чжэлу*, *Мулу*, *Намдулу*, причем в последнем суффикс *-лу* соединен с первичным для этого названия суффиксом *-ду*.

22. Суффикс *-р* образует родовые названия: *Хисар*, *Дуяр*, *Долар*. Аналогичными по образованию являются нанайские родовые названия *Хэджэр*, *Посар*. Этот же суффикс характерен для ряда монгольских родовых названий, например: *Чжалар*, *Хор*, *Татар* и др. Суффикс *-р*, как и многие другие суффиксы, образующие родовые названия, является показателем множественности и особенно широко употребляется в этом значении в северной группе тунгусо-маньчжурских языков.

23. Суффикс *-ма*, *-мэ*, *-мо* образует родовые названия *Фоймо*, *Чжакама*, *Гяхама*, *Утумэ*, *Лаймэ*. Ср. этот суффикс в составе эвенкийских названий родов *Кима*, *Танимэ*, а также *Кимэл* и *Денмал*, где он осложнен суффиксом множественного числа; в эвенкийских родовых названиях *Лима-гир*, *Сама-гир*, *Тэнмэ-гир*, *Чимэ-ир* элемент *-ма*, *-мэ* является первичным словообразовательным суффиксом.

24. Суффикс *-му* образует родовые названия *Итэму*, *Адуламу*, *Атаму*, *Хэйхэму*, *Илму*, *Ему* и др. Из числа известных нам эвенкийских родовых названий только одно — *Кему* — может быть сопоставлено с маньчжурскими названиями этой группы.

25. Суффикс *-чжа*, *-чжэ*, *-чжо* образует следующие названия родов: *Яньчжа*, *Очжо*, *Маньчжа*, *Ханьчжа*, *Вэньчжа*, *Хэчжэ*, *Учжигиньчжа*.

Словом *хэчжэ* ∾ *хэчжэни* («жители низовьев реки») обычно называли нанайцев. В слове *хэчжэни* конечное *-ни* восходит к слову *най* ∾ *ни* «человек». Это подтверждается еще и тем, что именно так осознается конечное *-ни* в этом слове в современном нанайском языке. В слове *хэчжэ* в свою очередь можно выделить корень *хэ-* и суффикс *-чжэ*, вероятно, локативного значения. Суффикс *-чжань*, встречающийся в составе названий маньчжурских родов *Усучжань*, *Акчжань*, *Гячжань*, по-видимому, является вариантом суффикса *-чжа*, ср. *хэчже* и *хэчжени*. Весьма возможно, что мягкость конечного *-н* у суффикса *-чжань* возникла в результате утраты конечного *-и*.

26. При помощи суффикса *-рги* образуются родовые названия *Эрги*, *Самарги*, *Горги*, *Дзанмарги*, *Гурги*, *Силэрги*. Этот суффикс можно сопоставить с маньчжурским локативным суффиксом *-рги*, образующим слова типа: *амарги* «задний, северный», *варги* «западный», *дэрги* «верхний, вос-

точный» и т. п. Этот же суффикс встречаем в составе эвенкийских слов *амарги-да* «задняя сторона», *дюлэрги-дэ* «передняя сторона» и др.

27. При помощи суффикса *-чжи* образованы родовые названия *Монголчжи*, *Сахалчжи*, *Мэлчжи*, *Урхучжи* и др. Этот суффикс характерен для названий некоторых монгольских родов, например *Борчжи* и *Чжингичжи*. На основании фонетического соответствия *рг//чж*, установленного еще академиком А. Шифнером, можно полагать, что суффикс *-чжи* является диалектным вариантом локативного суффикса *-рги*. Древнее название *учжи*, которое некогда носили тунгусо-маньчжурские племена на территории Маньчжурии, очевидно, аналогично по образованию родовым названиям этой группы.

28. Суффикс *-ја*, *-јо* встречается в составе родовых названий *Уя*, *Муя*, *Лоё*, *Бирия*, *Ная*. Аналогичный же суффикс образует эвенкийское родовое название *Кордуя* (чаще употребляется во мн. числе—*Кордуял*). Как первичный словообразовательный формант он имеется в составе эвенкийских родовых названий *Воя-гир*, *Поя-гир*, *Буя-гир*, *Туруя-гир*. Если в этих эвенкийских названиях отбросить вторично напластовавшийся суффикс *-гир*, то вместе с перечисленными выше маньчжурскими родовыми названиями они образуют удивительно стройный ряд совершенно однотипных по образованию слов — *Муя*, *Уя*, *Лоё*, *Воя-*, *Поя-*, *Буя-* и т. д. Суффикс *-ја*, *-јэ*, *-јо* в эвенкийском языке является также показателем собирательности и обычно служит для обозначения группы родственников по имени одного из них, например, *Кимаја эмэчэтын* «кимовы пришли (т. е. Кима и его родственники, его семья)». Суффикс *-ја*, *-јэ*, *-јо* можно производить от эвенкийск. *дя* «кровный родственник, кровнородственный род»[1].

29. Суффикс *-й* (*-ј*) встречается в составе следующих родовых названий: *Нарай*, *Гирэй*, *Чжалай*, *Элхуй*, *Най*, *Пусай*, *Алай* и др. Можно предполагать, что суффикс *-й* образовался из суффикса *-ја*, *-јэ*, *-јо* в результате утраты последним конечного гласного.

30. Суффикс *-ди* можно выделить в трех родовых названиях: *Нэди*, *Лэди* и *Мэлди*. Сюда же следует отнести упоминаемое А. М. Золотаревым название ульчского рода *Пунади*, а также название крупнейшего нанайского рода *Белди*. Все эти роды жили на Амуре и, по-видимому, составляли в прошлом родственную группу. В настоящее время из всей этой группы сохранился только один нанайский род *Белди*.

31. Суффикс *-янь* (*-јань*) образует родовые названия: *Лаянь*, *Чжэоянь*, *Баянь*, *Кайянь*, *Муянь*, *Ханьянь*. Этот суффикс тоже близок к упоминавшемуся *-ја*, *-јэ*, *-јо*. К группе перечисленных родовых названий относится по форме образования название древнейшего чжурчженьского рода *Ваньянь*, из которого вышел правящий чжуочженьский дом, получивший маньчжурское название *Айсинь* (китайск. *Цзинь*) — «Золотой».

32. Суффикс *-ха*, *-хэ*, *-хо* образовал очень большое количество родовых названий, например: *Хойхо*, *Хурха*, *Уньтэхэ*, *Элхэ*, *Вэчэхэ*, *Ехэ* и др.; часть из них — *Гэркэ*, *Хусика*, *Чжуркэ*, *Варка*, *Чэркэ* — образована при помощи его диалектной разновидности — суффикса *-ка*, *-кэ*, *-ко*. Именно в таком виде этот суффикс встречается в составе эвенкийских родовых названий *Угиюка*, *Ухилка* и в географических названиях *Чолкол*, *Тукал*, *Чонгокол*, *Лопокол*, где суффикс *-ка*, *-ко* осложнен формантом множественного числа *-л*. В качестве первичного словообразующего суффикса *-ка*, *-кэ*, *-ко* присущ очень большой группе эвенкийских родовых названий, например: *Аинка-гир*, *Акчика-гир*, *Дюкэ-ил*, *Кетарака-гир*, *Конгноко-гир*, *Лакшика-гир*, *Мугдэкэ-гир*, *Панка-гир*, *Чилка-гир*, *Чурака-гир*, *Хачака-*

[1] А. Ф. Анисимов, указ. соч., стр. 185.

гир, *Хутэкэ-гир*, *Ялтэкэ-гир* и др. Суффикс *-ха/-ка* можно сопоставить с корнем слова *хала* «род», широко распространенного в южных языках тунгусо-маньчжурской группы: маньчж. *хала* «семейство, род, поколение», нанайск. *хала* «род, фамилия», ульчск. *хала* «род, фамилия», орочск. *хала* «род»; ср. также удэйск. *ха* «родной брат, братья, родная сестра, сестры». Удэйская семантика этого корня, по-видимому, наиболее древняя.

33. Суффикс *-ку* образует родовые названия *Учжаку*, *Юрку*, *Карку*, *Фуску*. Суффикс *-ху*, образующий родовые названия *Гямуху*, *Уялху*, *Фусуху*, *Хасху*, является фонетическим вариантом суффикса *-ку*. Суффикс *-ку* можно обнаружить и в эвенкийских родовых названиях *Лонгорку*, *Тонгку-л*, *Тэнгку-л* (*-л* — неоднократно уже упоминавшийся суффикс мн. числа), ср. также *Мачаку-гир*, где суффикс *-ку* является первичным словообразующим формантом.

34. Суффикс *-хунь*, *-кунь*, *-гунь* образует родовые названия *Айхунь*, *Дорохунь*, *Чжаньчухунь*, *Хурхунь*, *Урукунь*, *Чэмгунь*. Можно полагать, что этот суффикс генетически связан с суффиксом *-ку*, *-ху*. В варианте *-кунь* он близок к эвенкийскому суффиксу *-кур*, образующему названия мужчин, членов данного рода (ср., например, у эвенков Северо-Байкальского района: *киндигинкур* «киндигирец, член рода Киндигиров», *моёгинкур* «моёгирец, член рода Моёгир»); поскольку конечное *-р* в составе суффикса *-кур* является показателем множественности, правильное единственное число этого суффикса — *-кун* (ср. эвенкийское вопросительное местоимение *экун* «кто, что?»).

35. Суффикс *-ки*, *-ги* встречается в родовых названиях *Хунгоки*, *Чжурки*, *Тунки*, *Мэрги*. Из известных нам эвенкийских родовых названий только одно *Баяки* может быть сопоставлено с перечисленными выше родовыми названиями[1]. С суффиксом *-ки* встречаются названия родов у ульчей: *Кадаки*, *Лонки*. К эвенкийскому *Баяки* очень близко монгольское название рода *Баяк*, на что в свое время обратила внимание Г. М. Василевич. С суффиксом *-к*, который, по-видимому, является вариантом суффикса *-ки*, отличающимся от него утратой конечного *и*, у монголов можно встретить ряд названий: *Хэрук*, *Чимук*, *Синэчук*, *Дарок* и др.

36. Суффикс *-гань*, *-гонь*, *-гэнь* образует родовые названия *Доргонь*, *Мингань*, *Боргонь*, *Дараминганъ*, *Чжоодаргань*, *Хоргонь*, *Сологор*. Суффикс *-ган*, *-гон*, *-гэн* (во мн. числе *-гар*, *-гор*, *-гэр*) в эвенкийском языке является живым словообразовательным суффиксом, при помощи которого образуются названия людей по месту их жительства: *нгеган* «береговой житель», *дӣгэн* «житель гор», *сологон* «житель верхнего течения реки»[2], *москваган* «москвич». Есть все основания сопоставлять эвенкийский суффикс *-ган* с суффиксом *-нкан*, *-нка*, образующим большое количество названий нанайских, удэйских и орочских родов. Как и эвенкийские слова на *-ган*, родовые названия с суффиксом *-нкан*, *-нка* обычно бывают образованы от названий каких-либо местностей, рек, озер, ср., например, нанайские родовые названия: *Актанкан*, *Донкан*, *Пэрминкэн*; орочские: *Бисанка*, *Ёминка*, *Куппинка* и др.; удэйские: *Иманка*, *Амулинка*, *Кимонко* и др.

37. Суффикс *-бу* встретился только в двух родовых названиях — *Лайбу* и *Арбу*. Есть все основания полагать, что суффикс *-бу* восходит к слову *бу* «род», которое в маньчжурском пишется *боо*, а произносится *бу* и имеет значения «дом — здания, строения, жилое здание, комнаты, жилище,

---

[1] Словом *Баяки* сымские эвенки называют только мужчин этого рода, для названия женщин употребляется слово *Баякшин*.

[2] Как установлено еще акад. Л. И. Шренком, название *солон* произошло от *сологон* «житель верховьев реки» (ср. с приведенным выше родовым названием *Сологор*), таково же по своему образованию название нанайского рода *Дӣгэр* (ср. с эвенк. *дӣгэн* «житель гор, кочевник»).

жилье, сх. *боо ӯлэнь*; дом — семейство — семья, дом — род — поколение...»[1]. *Бу* со значением «род» входит, например, в состав двух китайских наименований родов учжэй: *Хэй-шуй-бу* «Черноречное поколение» и *Бай-шань-бу* «Белогорное поколение»[2]; маньчжурское их написание — *Хэ-суй* и *Бэсань*[3]. Слово *бу* в маньчжурском, по-видимому, заимствовано из китайского, однако оно получило некоторое распространение и в эвенкийском языке: названия многих мест по реке Подкаменной Тунгуске, населенных эвенками, оканчиваются на *-бу*, например *Куюмбу*, *Таимбу*, *Оскобу* и др. По нашему мнению, эти наименования стоят в связи с какими-то неизвестными нам родовыми названиями, образованными при помощи того же суффикса *-бу*, что и маньчжурск. *Лайбу* и *Арбу*.

38. Суффикс *-бэ* можно выделить в трех родовых названиях: *Чжэбэ*, *Ибэ* и *Хабэ*. Этот суффикс встречается в составе названий эвенкийских родов — *Чамба*, *Чемба*, *Хорбо*, *Гэрбэл* (в последнем случае он осложнен показателем множественного числа) и в качестве первичного словообразовательного форманта обнаруживается в составе родовых названий *Комба-гир*, *Тамбэ-гир*, *Тэмбэ-гин* (последний дается по записи К. М. Рычкова).

39. Суффикс *-кту*, *-кто*, *-кта* образует следующие родовые названия: *Накта*, *Алакта*, *Мокто*, *Чжакта*, *Мукту*, *Сэкту*. Из эвенкийских родовых названий только *Мукто* может быть отнесено к этой группе названий. Суффикс *-кта*, *-кто*, *-кту* можно сопоставить с удэйским суффиксом множественного числа *-гэту*, который мог превратиться в *-кту* благодаря выпадению гласного и оглушению *г* в позиции перед *т*. Однако названий удэйских и орочских родов, оканчивающихся на суффикс *-гэту*, не встречается. Немногие родовые названия удэ имеют в своем составе другой удэйский суффикс множественного числа *-дига*: *Кэелундига*, *Сул'аинбига*; ср. аналогичные по образованию орочские родовые названия *Самандика*, *Доходика*.

40. Заканчиваем перечень формантов, образующих родовые названия маньчжуров, суффиксом *-гиjа* (в произношении *-гя*), который по своему распространению занимает первое место, так как при помощи именно этого форманта образуется наибольшее число родовых названий, например: *Гувалгя*, *Магя*, *Горгя*, *Толгя*, *Пэйгя*, *Гэогя*, *Байгя*, *Пугя* и многие другие. Есть основания сопоставлять этот суффикс с суффиксом *-гир*, столь же широко распространенным в эвенкийских родовых названиях. Первый компонент *-ги* совершенно одинаков у обоих суффиксов, вторые компоненты (маньчжурск. *-jа* и эвенкийск. *-р*) представляют собой различные форманты множественности. Суффикс *-гир*, как это давно установлено тунгусоведами, является регулярной формой множественного числа суффикса *-гин*. В сымском диалекте эвенкийского языка *-гир* во множественном числе, *-гин* в единственном служат показателями принадлежности женщин к родовой организации, например: *Кима* «название рода; мужчина из рода Кима», мн. число *Кимал*; *Кимагин* «женщина из рода Кима», мн. число *Кимагир* и т. д.[4]. По-видимому, это наиболее древнее из всех нам известных значений суффикса *-гир*.

В 1905—1909 гг. на севере Туруханского края К. М. Рычковым были записаны эвенкийские родовые названия с глухим вариантом *-hин*: *ялиhин*,

---

[1] См. И. Захаров, Полный маньчжурско-русский словарь, СПб., 1875, стр. 508.

[2] См. Н. Я. Бичурин (Иакинф), Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена, ч. II, М.—Л., 1950, стр. 70.

[3] Написание *Хэсуй и Бэсань* почерпнуто нами из маньчжурского ксилографа «Айсинь гурунь и судури» («История золотой династии»).

[4] См. Г. М. Василевич, Очерки диалектов эвенкийского (тунгусского) языка, стр. 81.

hарыhин и *бajahин*[1]. В родовом названии *Хингэлахил* суффикс *-хил* также имеет глухой начальный звук и показатель множественности — *-л* вместо обычного *-р*. Тот же показатель *-л* имеет место и в негидальском *-γил*[2], где начальный согласный является звонким щелевым. Во многих эвенкийских диалектах начальный согласный в этом суффиксе имеет такой же характер (*-γир*), хотя в записях и словарях на практическом алфавите это обычно не находит отражения (пишут *-гир*). Среди маньчжурских родовых названий есть небольшая группа с окончаниями на *-хир*, *-хинь*, *-гинь*, *-кинь*, которые близки к эвенкийскому суффиксу *-гир* и, по-видимому, представляют собой его омертвевшие разновидности. Большой интерес для истории развития этого суффикса представляют его сибилянтные варианты *-син*, *-сир*, *-шин*, *-шил*: *Намясин* (родовое название баргузинских эвенков), *Тугэсир* (родовое название эвенков Якутии), *Коршил* (родовое название токминских эвенков) и *Баякшин* (родовое название для женщин у сымских эвенков). Мы склонны думать, что суффиксы *-син*, *-шин* являются древнейшими, из которых развились спирантные варианты *-хин*, *-хир*, *-хил*, *-γир*, *-γil*, а с переходом щелевого в смычный образовался вариант *-гир*. Варианты *-син*, *-шин* позволяют наметить переход от тунгусского к монгольскому *-чин* (*-цинь*), образующему родовые названия типа *Корчинь*, *Карачин*. Можно предполагать, что этот же суффикс наблюдается в слове *сусинь*, представляющем собой древнейшее название тунгусо-маньчжурских народностей, известное из китайской истории (в русской исторической литературе — *сушэнь*).

*

При описании словообразующих формантов в составе родовых названий маньчжуров нельзя не обратить внимания на большое количество этих формантов. Обилие формантов, многие из которых близки между собой и, возможно, представляют лишь диалектные варианты, стоит в связи с разнообразием языков и диалектов, на которых говорили племена, вошедшие в состав знаменных маньчжурских войск и составившие основу маньчжурской народности. Целый же ряд не связанных друг с другом формантов развился на почве различных племенных языков.

Названия, образованные при помощи одного и того же словообразующего форманта, скорее всего принадлежали группе родов одного племени, связанных общностью языка, или, может быть, в иных случаях — группе территориально смежных родов. Эти племенные и территориальные группы в условиях кочевой и полукочевой жизни и многочисленных войн, происходивших с незапамятных времен на территории расселения маньчжурских племен, не могли быть устойчивыми. Одни племенные образования распадались, другие возникали, одни родовые группы выбывали из состава племени, другие к нему присоединялись. Приходившие со стороны родовые группы приносили с собой свои родовые названия, образованные при помощи собственных словообразующих формантов. Иногда названия вновь приходивших родов получали дополнительный (вторичный) формант из запаса словообразовательных средств господствовавшего в данной группе языка. Таким путем образовались родовые названия, включающие в свой состав два словообразующих форманта, свойственных разным языковым группам. Таким образом, территориальные перемещения рода в какой-то мере могли найти отражение в структуре родового названия. В

[1] К. М. Рычков, Фонд № 49 в Архиве Ин-та востоковедения АН в Ленинграде.

[2] См. К. М. Мыльникова и В. И. Цинциус, указ. соч., стр. 112.

составе некоторых родовых названий можно проследить не только вторичные, но даже и третичные словообразующие форманты, присущие разным языковым группам. Подобного рода морфологическая структура, как это видно из приводимого выше материала, в бо́льшей степени присуща родовым названиям эвенков, нежели маньчжуров. Значительное число эвенкийских родовых названий имеет, например, вторичное (иногда третичное) напластование в виде суффикса *-гир*. Отбросив суффикс *-гир*, объединяющий огромное большинство эвенкийских родовых названий, получаем возможность разделить эти названия на ряд более мелких (первичных) групп и сопоставить их с соответствующими группами маньчжурских родовых названий. Благодаря такому сопоставлению можно выделить следующие форманты, общие для эвенкийских и маньчжурских родовых названий: 1)*-ча*, *-чэ*, *-чо*; 2)*-чань*, *-чэнь*, *-чонь*, соответственно эвенкийск. *-чар*, *-чэр*, *-чор*; 3) *-да*, *-дэ*, *-до*; 4) *-та*, *-тэ*, *-то*; 5) *-ла*, *-лэ*, *-ло*; 6) *-ли*; 7) *-ка*, *-кэ*, *-ко*; сюда же следует отнести группу маньчжурских родовых названий с суффиксом *-ха*, *-хэ*, *-хо*; 8) *-ку*; 9) *-ма*, *-мэ*, *-мо*; 10) *-му*; 11) *-к*, *-ки*; 12) *-ja*, *-jэ*, *-jo*; 13) *-кта*, *-ктэ*, *-кто*; 14) *-ни*; 15) *-ба*, *-бэ*, *-бо*; 16) *-гин*, *-хин*, *-хир*, сюда примыкает суффикс *-гиja*. Родовые названия других тунгусо-маньчжуров частично также примыкают к перечисленным выше группам, например группа названий ульчских родов на *-ли*. Другие ульчские родовые названия, такие, как *Губату*, *Пунади* и нанайское *Белди*, не имеют аналогий по своей форме в эвенкийском и связаны только с маньчжурскими родовыми названиями. Большую часть родовых названий нанайцев, ульчей, орочей, удэ и частично негидальцев составляют родовые названия, образованные по территориальному признаку с суффиксом *-нча* (ульчи), *-нкан*, *-нка* (нанайцы, орочи, удэ). Эти территориальные названия образовались, как можно думать, в результате деления древних крупных родов. Количество первоначальных родов у нанайцев, ульчей, орочей и удэ очень невелико, и лингвистический анализ их названий затруднителен.

Выявленное таким образом сходство маньчжурских и эвенкийских словообразующих суффиксов, несомненно, свидетельствует о возникновении родовых названий с одинаковыми оформителями на общей языковой и этнической почве. При этом обращает на себя внимание то обстоятельство, что сходство между маньчжурскими и эвенкийскими формантами почти полное, вариации настолько незначительны, что сопоставление их не требует предварительной работы по установлению каких-либо фонетических соответствий и закономерностей. Такое полное совпадение невольно приводит к мысли, что распадение тех племенных языков, на основе которых возникли группы родовых названий с общим словообразующим формантом, произошло сравнительно недавно. На основании одного лишь языкового материала, к сожалению, нельзя высказать каких-либо соображений о длительности того периода, в течение которого могли появиться существенные расхождения в формах слов, поэтому «сравнительно недавно» может означать и тысячу, и две тысячи лет, и более. Следует иметь в виду, что возникшие на общей этнической основе словообразующие суффиксы и после распада этой общности могли давать новые образования как на маньчжурской, так и на эвенкийской почве. Поэтому нельзя думать, что все без исключения родовые названия, имеющие общие форманты, сохранились от периода этнической общности родов маньчжуров и эвенков.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1958

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА И СТИЛЯ ПИСАТЕЛЕЙ [1]

В советской филологии накопилось немало ценных наблюдений над языком и стилем некоторых художников слова. Известны и опыты истории русского литературного языка, основанные на обширном материале и отражающие представления авторов о процессах исторического развития различных форм литературно-языкового выражения (В. В. Виноградов, А. И. Ефимов). Кроме того, есть ряд содержательных работ по теории, методике и методологии исследований интересующих нас вопросов (В. В. Виноградов, А. И. Ефимов, В. Д. Левин, Ю. С. Сорокин, Н. Ю. Шведова). Тем не менее едва ли в каком-либо другом разделе отечественной науки о языке остается так много неразрешенных задач и еще не выясненных понятий, как в области изучения языка и стиля писателей, языка художественной литературы. Исследователи постоянно упоминают о неразработанности принципов и методов анализа этого материала, о неясности приемов и границ наблюдений, об отсутствии полных образцов стилистико-лингвистического описания литературных произведений, их лексики, фразеологии, синтаксического строя и пр. Отмечается и неразрешенность вопроса о функциональных стилях, отсутствие четких формулировок понятий языка и стиля писателя, языка и стиля литературного произведения, художественной речи (поэтического языка), литературно-языковой нормы [2] и др. Как утверждают, даже само понятие «литературности» остается недостаточно ясным.

Обращаясь к диссертационным работам о языке и стиле писателей, мы замечаем, что в начале пятидесятых годов наметился значительный перелом в целевых установках и методических приемах исследования. Теперь диссертанты, рассматривая литературные тексты как памятники и источники истории литературного языка, уже не ограничиваются инвентарными описями фактов и их классификацией, а пытаются выяснить соотношения языка писателей или отдельных элементов речи художественных произведений с общенародным языком и его разветвлениями, литературным языком и его стилями. Исследователи стремятся познать структуру литературного языка, раскрыть процессы его исторического развития в той мере, в какой о целостной системе можно судить на основе отдельных, индивидуальных видов ее использования и творческого отражения. Вместе с тем усиливается интерес молодых ученых к языково-стилистическому познанию индивидуальных речевых систем, а также к вопросам специфики речи литературных произведений, языка художественной литературы.

Однако в своей общей оценке диссертационных работ, посвященных языку и стилю писателей, акад. В. В. Виноградов отмечает как весьма распространенное явление недостаточную глубину научного анализа, редкость оригинальных выводов и теоретических обобщений, способных открыть «новые перспективы исследования стилистики современной художественной речи» [3]. Далее говорится о часто наблюдающемся «смешении языковедческого подхода с литературоведческим». Доказательством такого «смешения» служит тот факт, что диссертанты «не всегда достаточно четко и ясно разграничивают задачи изучения литературного произведения как материала для исследования явлений современной литературной речи и задачи изучения способов художественного

---

[1] По материалам авторефератов кандидатских диссертаций, защищенных в период с 1951 по 1955 гг.

[2] Но см. удачный опыт определения этого понятия в статье С. И. Ожегова «Очередные вопросы культуры речи» (сб. «Вопросы культуры речи», вып. I, М., Ин-т языкознания АН СССР, 1955).

[3] В. В. Виноградов, Изучение русского литературного языка за последнее десятилетие в СССР, М., 1955, стр. 40—41.

использования разных речевых элементов, преимущественно лексики и фразеологии в композиции целого»[1]. Но, как мы склонны думать, вряд ли можно безоговорочно принять этот упрек, не отрицая законности «очень распространенной в нашем языкознании тенденции относить анализ языка и стиля художественных произведений к науке о русском литературном языке»[2]. Если же без необходимых уточнений принять выдвинутую выше оценку, то пришлось бы утверждать, что стилистическое изучение языка писателей, речи литературных произведений выходит за пределы лингвистики. В самом деле, всегда ли можно и должно, работая над языком и стилем писателей, четко и ясно разграничивать изучение индивидуальной речевой системы как частного проявления общенародного языка и задачи изучения способов стилистического использования языка? Может быть, как раз объединение этих задач в диссертациях о «языке и стиле писателей» подсказывается требованием соответствия содержания работ их названию?

Нужно еще учесть, что даже ограничивая тему своих разысканий только «языком» литературных произведений и прежде всего «отправляясь от понятий и категорий общей литературно-языковой системы», исследователь обязан вникать «в приемы и методы их индивидуально-стилистического использования», принужден «обращаться к... вопросам и категориям индивидуальной стилистики...»[3]. Таким образом, если четкое размежевание двух аспектов исследования не представляется уместным и желательным, то, очевидно, в определенных случаях приходится говорить не о их «смешении», а скорее об «объединении». Остается неясной и сама возможность «выводов и обобщений, открывающих новые перспективы исследования стилистики современной художественной речи», но сделанных не на основе анализа «способов художественного использования разных речевых элементов» (см. выше).

Чаще всего диссертанты не выдерживают традиционного стиля изложения, принятого в грамматических исследованиях и историях языка, но приводят сведения, например, о биографии изучаемого автора[4] или характеризуют его эпоху[5], привлекают факты из истории развития общественной мысли[6], дают представление об идейных позициях писателя и пр. Однако по преобладанию целевых установок, по преимущественному вниманию к определенному кругу фактов можно условно различать две главные разновидности диссертаций, посвященных речевым средствам литературных произведений.

Основной целью сравнительно небольшого числа диссертационных работ является познание различных сторон литературного, общенародного языка по материалам грамматики, лексики и фразеологии языка писателей или речи отдельных литературных произведений. Например, при изучении категорий русского глагола, его структуры, форм привлекаются факты из произведений Кантемира[7], или текст трилогии А. Н. Толстого «Хождение по мукам» служит источником для исследования типов неполных предложений и условий употребления их в современном русском литературном языке[8]. Речь художников слова — людей, обладающих острым языковым чутьем, — ценится как источник, в котором материя и форма родного языка находят одно из своих ярких воплощений. Так, к прозе Лермонтова обращаются при наблюдениях над сложноподчиненными предложениями в русском литературном языке, считая, что эти письменные памятники дают «классические образцы мастерского использования сложного предложения»[9] и др.

---

[1] В. В. Виноградов, указ. соч., 41.

[2] Там же, стр. 37.

[3] В. В. Виноградов, Язык художественного произведения, ВЯ, 1954, № 5, стр. 14—15.

[4] Ср. П. В. Бурба, Особенности лексики «Жизни и приключений Андрея Болотова, описанных самим им для своих потомков». Автореф. канд. диссерт., Киев, 1953. В дальнейшем при ссылке на авторефераты канд. диссертаций указание «Автореф. канд. диссерт.» заменяем сокращением (А).

[5] Ср. В. П. Айдарова, Лексико-фразеологический состав одического слога Г. Р. Державина. (А), Тбилиси, 1953.

[6] См. А. М. Дряхлушин, Лексика «Сказок» М. Е. Салтыкова-Щедрина. (А), М., 1955, стр. 5 и др.

[7] В. А. Приходько, Формы и категории глаголов в произведениях А. Д. Кантемира. (А), Л., 1953.

[8] Н. П. Колесников, Неполные предложения, их структура и условия их употребления. (На материале трилогии А. Н. Толстого «Хождение по мукам»). (А), Тбилиси, 1954.

[9] Ср. С. А. Бах, Структура союзного сложноподчиненного предложения в прозе М. Ю. Лермонтова. (А), М., 1952, стр. 3; о языке Пушкина как идеальной норме литературного языка см. С. Ф. Молчанова, Нормы ударения в стихотворном языке Пушкина и их отношение к современным (ударение в системе глагола). (А), Ярославль, 1954.

Впрочем, описывая и группируя факты языка писателей иногда с помощью тех же приемов и по тем же рубрикам, какими пользуется и общая грамматика языка, диссертанты в отдельных случаях устанавливают преобладание одних явлений над другими в пределах изучаемого источника и таким путем выявляют индивидуальную манеру писателя выражать свои мысли. Например, среди сложносочиненных предложений в прозе Лермонтова отмечается между прочим преобладание соединительных конструкций с союзом *и*, которыми писатель «особенно часто... пользуется... для выражения присоединительных отношений» и пр.[1]. Выбор же определенных синтаксических конструкций ставится в зависимость от содержания речи (там же).

Описательный метод характеристики языка писателя или отдельных элементов грамматического строя и словарного состава его литературных произведений не пользуется популярностью у молодых исследователей[2], хотя описательные характеристики языка мастеров слова, научная грамматическая или лексикографическая инвентаризация фактов создают надежную базу для последующих обобщений, без которых не может обойтись история литературного языка[3]. Укоренилось убеждение, что подобному типу работ не могут быть свойственны качества научных исследований. Диссертантов интересует не столько подготовка материалов для будущей истории литературного языка, сколько непосредственное выявление роли писателя в этой истории.

Исследователи, изучая языковые явления, современные для писателя, иногда не прослеживают их дальнейшие исторические судьбы[4]. Авторы лишь намечают связи между языком писателя, речью литературного произведения, с одной стороны, и живыми формами национально-языкового выражения, например связи с разговорной речью, с языком устного народного творчества, с другой[5], и пр.

Простейшим способом применения исторического метода являются сопоставления языка писателя, жившего в более или менее отдаленном прошлом, с языком, современным для исследователя. Таким путем, в частности, устанавливается, что структура сложноподчиненных предложений «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева подверглась лишь немногим изменениям в дальнейшей истории литературного языка. Положение это выставлено свидетельством устойчивости его грамматического строя[6]. Или прием диахронических сопоставлений позволяет определить различные изменения, происшедшие в языке[7], например показывает, что «характер и объем разговорной и книжной лексики средины XVIII в. не совпадают с соответствующими категориями в современном русском литературном языке»[8].

Но в работах о языке писателя не всегда можно с большой определенностью очертить объем источников, привлекаемых для синхронных сопоставлений, прежде всего потому, что границы между фактами современными и фактами историческими не представляются вполне четкими: история бытует в современности, которая сама является творимой историей. Поэтому мысль исследователей не сосредоточивается на состоянии языка в один из моментов его истории, а направляется на процесс развития языка, чтобы выявить роль писателя как исторического деятеля[9].

Строго говоря, историзм не утрачивается и при использовании метода синхронных сопоставлений, показывающего, что нового внес писатель в речевой опыт людей своей эпохи, т. е. в чем именно проявил он себя как активный деятель истории литературного

---

[1] А. А. Тютяева, Сложносочиненное предложение в прозе М. Ю. Лермонтова. (А), Харьков, 1953, стр. 14.

[2] См., например: М. Б. Борисова, Язык и стиль пьесы М. Горького «Враги». (А), Л., 1952, стр. 4; Е. И. Мотина, Научная терминология в произведениях Н. А. Добролюбова. (А), М., 1954, стр. 1.

[3] Ср. известный «Опыт грамматики языка Пушкина» Е. Ф. Будде (Сб. ОРЯС, т. 77, № 4, СПб., 1904) или, например, E. A. Abbott, A shakespearian grammar, London, 1881, и др. Что же касается многочисленных лингвистических лексиконов, составленных по материалам художественных произведений писателя, то вопрос о роли их в работе историка языка заслуживает особого рассмотрения.

[4] М. К. Максимова, Наблюдения над лексикой А. И. Герцена. (По материалам «Писем с того берега»). (А), Л., 1949.

[5] Ср. Н. А. Пронь, Синтаксис повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка». (А), Саратов, 1953, стр. 5.

[6] И. М. Абрамович, Сложноподчиненные предложения в «Путешествии из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. (А), Л., 1953, стр. 17.

[7] См. Е. В. Авдошенко, Суффиксы имен существительных в языке сочинений М. В. Ломоносова. (А), М., 1954.

[8] В. В. Замкова, Лексика притч А. П. Сумарокова. (А), Л., 1953, стр. 15.

[9] Ср. Л. А. Войнова, Лексика поэзии Г. Р. Державина. (А), Л., 1954, стр. 16; см. также: Г. М. Мижевская, Морфологические особенности произведения А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». (К истории развития русского литературного языка). (А), Саратов, 1953; Н. П. Люлько, Язык и стиль пьесы А. П. Чехова «Три сестры». (А), Л., 1953, стр. 5 и др.

языка. Пусть деятельность писателя и не оказала решающего влияния на дальнейшее развитие языка, но она не была узко-индивидуальной, а ее связанность с речевой практикой современников уже сама по себе представляет явление, мимо которого не может пройти историк литературного языка. Индивидуальное привлекает исследователей лишь как зародившееся общее, как то, что входит в речь коллектива, укореняется в ней или хотя бы получает временный резонанс (ср., например, роль «личной инициативы» Рылеева, который наполнял установившуюся к его времени терминологию общественно-политического словаря «новым политическим, революционным содержанием» и придавал политические значения некоторым словам общего литературного языка[1]).

При изучении языка литературных текстов обычно отбирают факты, обладающие, с точки зрения исследователей, некоторой примечательностью. Такие факты называют «особенностями» языка той или иной литературной личности[2]. Вполне очевидна опасность для исследователя, говоря об «особенных» чертах речи писателя, полагаться только на свои впечатления о «необычности» фактов, потому что личная инициатива раскрывается лишь на фоне коллективного речевого опыта и познается при помощи обширной аппаратуры, далеко выходящей за пределы текстов изучаемого автора. Нужна большая осведомленность в фактах языка его современников и предшественников, причем не только деятелей художественного слова. Синхронно-исторические сопоставления предохраняют от «самой распространенной ошибки», давно подмеченной, в частности, французскими филологами, утверждавшими, что при изучении языка писателей часто думают, будто всякого рода его отступления от «привычных» форм составляют «особенности» его речи, свойственные только ему одному, отличающие лишь его манеру[3].

Без ясной исторической перспективы и отчетливых представлений о тенденциях литературно-языкового развития нельзя ни различать в языке писателей «общего и индивидуального», ни судить о том, как изучаемый автор творчески использовал материал общенародного языка[4]. При недостаточной строгости научного метода легко принять за узус то, что было и осталось только в сфере индивидуального употребления[5]. Хотя индивидуальная речевая система, а также язык художественной литературы являются частным выражением общенародного языка, но отсюда еще не следует, что в них нет ничего, чего не было бы в языке литературном, общенародном.

Здесь мы считаем достаточным сослаться на то, что, например, стихотворная или (более широко) поэтическая речь, протекающая в русле литературного языка, может обладать специфическими чертами, которые ничуть не претендуют на массовое распространение в общенародной речевой практике.

Разумеется, при слабом оснащении некоторых диссертаций фактическими материалами[6] и недостаточном привлечении сравнительных данных трудно убедительно доказать воздействие того или иного писателя на развитие общенародного языка. Впрочем a priori, конечно, можно утверждать, что выдающиеся художники слова, крупные публицисты и критики являются деятелями истории литературного языка, хотя бы в той мере, в какой они, употребляя определенные грамматические формы и словесные средства, как бы освящают их своим авторитетом, содействуют их относительной стабилизации и, следовательно, оказывают воздействие на становление литературно-языковых норм[7]. Участие литераторов в этом процессе обычно считают значительным[8].

---

[1] Н. В. Ермолаева, Общественно-политическая лексика стихотворных произведений К. Ф. Рылеева. (А), М., 1953.

[2] См., например, Н. Л. Юзбашева, Особенности лексики романа А. Толстого «Петр Первый» как исторического произведения. (А), Л., 1954; ср. также М. А. Шелякин, Работа И. С. Тургенева над языком «Записок охотника». (А), М., 1954, стр. 2 и др.

[3] См., например, грамматическое введение к «Lexique de la langue de Racine avec une introduction grammaticale par M. Ch. Marty-Laveaux, précédé d'une étude sur le style de Racine par M. Paul Mesnard», Paris, 1888. Ср. в этой связи: Ю. А. Бельчиков, Общественно-политическая лексика в сочинениях В. Г. Белинского 40-х гг. (А), М., 1954, стр. 7.

[4] Ср. об этой проблеме: П. П. Доценко, Лексические и грамматические особенности языка поэм А. Малышко. (А), Киев, 1953 и др.

[5] О распознавании индивидуальных и групповых отличий писал Л. В. Щерба (см. «О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании», ИАН СССР, Серия VII—Отд-ние обществ. наук, 1931, № 1). Любопытны наблюдения К. Фосслера (Der Einzelne und die Sprache, в кн.: K. Vossler, Gesammelte Aufsätze zur Sprachphilosophie, München, 1923).

[6] См. об этом: В. В. Виноградов, Изучение русского литературного языка за последнее десятилетие в СССР, стр. 40.

[7] См. Л. И. Шоцкая, Общественно-политическая лексика гражданской поэзии декабристов 20—30-х гг. XIX в. (А), Л., 1953, стр. 3.

[8] См. М. А. Карпенко, Лексика и фразеология романа А. М. Горького «Фома Гордеев». (А), Киев, 1953, стр. 1 и др.

Но выводы из исследований в ряде случаев кажутся однотипными, чрезмерно общими, мало конкретными. Чаще всего диссертанты приходят к заключениям, не очень оригинальным, вроде того, что язык писателя — это общенародный язык[1], или же что писатель подготовил почву для развития языка по пути национальной демократизации, участвовал в этом процессе[2], сделал вклад в развитие литературного языка и т. д. и т. п. Деятельность крупного писателя расценивается как «более прогрессивный этап в развитии русского литературного языка»[3]. Конкретно, например, указывается роль М. Горького в «совершенствовании строя простого предложения», конструкции же с обособленным определением, применяемые М. Горьким в повести «Фома Гордеев», один из диссертантов склонен считать «созвучными языку читателя» и тем самым активно воздействующими на разговорную речь, поднимающими язык «на новую, более высокую ступень развития»[4]. Или, например, местно-диалектные слова, удачно отобранные и использованные писателем, признаются одним из источников обогащения лексики литературного языка[5]. Отмечается участие исследуемого писателя в «упорядочении и совершенствовании русского языка»[6] и пр.

Легко заметить, что довольно часто, но не всегда с необходимыми уточнениями, исследователи упоминают о роли писателей в движении языка по пути «совершенствования» и «прогресса». Нужно учесть, что в истории лингвистических учений мысль о движении языка к «совершенству» (ср. O. Jespersen, Progress in Language, 2-d. ed., London) возникла как реакция на романтические представления о том, что «идеал» языка надо искать в далеком прошлом и что история индоевропейских языков показывает процессы «вырождения», «распада» (А. Шлейхер). Если не различать достоинств языка и степени его развития (Ж. Вандриес), то исследователь неизбежно будет испытывать значительные затруднения в оценке фактов. В самом деле, появление в русском языке дифференцированных средств выражения прямого дополнения имен существительных одушевленных и неодушевленных можно считать «достижением» языка, показателем его стремления к большей точности выражения мысли. Но как быть, например, с известным фактом утраты инфинитива болгарским или новогреческим языком? Или если исчезновение во французском языке imparfait du subjonctif допустимо признать показателем тенденции языка к более экономному выражению в грамматических формах грамматических отношений, то факт сведения в одно современным французским языком двух прошедших времен (passé défini и passé indéfini) вряд ли заслуживает «положительной оценки» в качестве одного из доказательств идеи неуклонного улучшения языка, его совершенствования[7]. Идея «совершенствования» языка не становится более ясной, когда ее выдвигают в работах о языке художественной литературы. Вообще нам кажется сомнительным, что для всех периодов истории языка приложима теория постепенного «улучшения» его морфологических форм, синтаксических конструкций и пр. Если же и признать русский литературный язык, отраженный, например, в произведениях Пушкина, «менее совершенным», чем современный русский язык, используемый советскими писателями, то ведь само по себе большее совершенство «сырого материала» еще не обеспечивает высокого качества «продукции».

О существенных признаках различных «форм» литературного языка в историческом развитии позволяют судить диссертации, в которых рассматриваются, например, стихотворная речь, речь прозаическая той или иной литературно-жанровой разновидности. Упомянем работу о «Беспредложных именных сочетаниях в поэтическом языке Пушкина», посвященную проблеме словосочетания как лексико-грамматической единицы и показывающую использование одной из именных конструкций, присущих поэтическому языку Пушкинской эпохи[8]. Для истории формирования поэтического словаря русского литературного языка служат общие работы о лексике поэтических произве-

---

[1] См. К. В. Ковалева, Элементы народного языка в баснях А. П. Сумарокова. (А), Минск, 1955, стр. 19, и др.

[2] С. М. Потапов, О некоторых особенностях языка и стиля романа А. М. Горького «Мать». (А), Харьков, 1953, стр. 14; С. И. Глушков, Язык оды М. В. Ломоносова. (А), Киев, 1954, стр. 14.

[3] В. П. Айдарова, указ. автореф., стр. 5 и сл.

[4] Л. А. Лавровская, Приемы и принципы построения А. М. Горьким простого предложения с деепричастным оборотом и обособленным определением (по материалам повести «Фома Гордеев»). (А), М., 1955, стр. 16.

[5] М. В. Глушкова, Принципы использования диалектизмов в языке советских романов и повестей на колхозную тему. (А), Саратов, 1954, стр. 15.

[6] В. А. Приходько, указ. автореф., стр. 4.

[7] См. Ж. Вандриес, Язык, М., 1937, стр. 108.

[8] М. Т. Тагиев, Беспредложные именные словосочетания в поэтическом языке А. С. Пушкина (словосочетания с именем существительным в родительном падеже). (А), М., 1954.

дений писателя[1]. Назовем и исследование о «Кратких и полных именах прилагательных в языке произведений Сумарокова»[2].

Некоторые синтаксические черты языка русской научной прозы, зародившейся в середине XVIII в., устанавливаются на основании анализа языка научных сочинений Ломоносова. Из них отобраны и систематизированы по группам основные типы относительных конструкций, определены функции отдельных видов придаточных предложений, причем различение архаичных черт синтаксиса свидетельствует о тенденции ставить факты в некоторую историческую перспективу[3]. Один из исследователей, определяя по произведениям Писарева характерные признаки «научно-популярного языка», приходит к выводу о том, что подбор словесных средств и грамматических форм в данном виде литературного выражения определяется стремлением автора к общепонятности, доступности для широкого читателя[4]. Не затрагивая здесь вопроса о возможности характеризовать специфику лингвистических категорий с помощью таких понятий, как «доступность», «понятность»[5], заметим только, что исследователи определяют стили литературного языка по соответствующим видам устной или письменной речи[6]. Но сами факты изучения разных речевых стилей по отражению их в произведениях художественной литературы показывают, что речь художественно-беллетристических произведений не рассматривается в ряду функциональных стилей. Язык художественной литературы признается способным отражать всю сложную систему литературного языка[7], так же как художественная литература отражает жизнь во всем ее реальном многообразии. В некоторых диссертациях уточняются понятия «стиль публицистический»[8], в частности черты его лексики[9], синтаксической структуры[10], понятие просторечия, его роли в языке литературы[11] и др. Выявляются экспрессивные качества, заложенные в речевых стилях и показывающие, что сам материал литературного языка, которым писатель пользуется как определенной данностью, обладает выразительными свойствами. Вместе с тем диссертанты подмечают, как под воздействием литературных произведений писателя расширяется сфера употребления элементов различных речевых стилей литературного языка, внелитературно-просторечных форм и др. В ряде работ перекрещиваются лингвистические понятия «речевых стилей» с понятиями литературных жанров[12].

Исследователи изучают литературный язык данного периода по языку писателей как по одному из наиболее ярких и сложных проявлений литературного языка[13].

---

[1] Ср. В. Ф. Алтайская, Лексика поэзии Дениса Давыдова. (А), Ужгород, 1950, и др.

[2] Е. А. Алехина, Краткие и полные имена прилагательные в языке произведений А. П. Сумарокова. (А), М., 1954.

[3] Г. Н. Акимова, Относительное подчинение в научной прозе М. В. Ломоносова. (А), Л., 1955.

[4] О. Н. Лимаренко, Синтаксис научно-популярного языка Д. И. Писарева. (А), Саратов, 1953, стр. 24.

[5] Установка на «понятность» входит в намерения любой коммуникации. Кстати, отбор слов по принципу «общепонятности» и «общедоступности» представлен в другой диссертации как характерный для писателя, работающего в жанре комедии (Е. Э. Биржакова, Лексика комедий И. А. Крылова. (А), Л., 1953.

[6] См. А. И. Ефимов, О языке художественных произведений, 2-е изд., М., 1954, стр. 10—15.

[7] См. В. Д. Левин, О месте языка художественной литературы в системе стилей национального языка, сб. «Вопросы культуры речи», вып. I.

[8] Ср. К. И. Павлова, Особенности языкового стиля публицистических произведений А. М. Горького периода советских лет. (А.), Киев, 1954; см. также В. А. Сиротина, Особенности языка и стиля публицистики А. М. Горького советского периода, Киев, 1952.

[9] См. М. К. Максимова, указ. автореф.

[10] В. А. Савельев, Наблюдения над структурой и стилистическими функциями сложного предложения в публицистических произведениях В. Г. Короленко. (А), М., 1955. Работа ориентирована на обслуживание задач истории русского литературного языка и, как пишет автор, предназначена для «будущих обобщений в области грамматической стилистики» (стр. 5).

[11] Г. Ф. Митрофанов, Внелитературно-разговорная лексика повести А. М. Горького «Фома Гордеев». (А), Томск, 1954; ср. еще В. Н. Муравьева, Просторечная и диалектная лексика в рассказах Мамина-Сибиряка 80—90-х гг. (А), М., 1952; см. особенно В. П. Вомперский, Лексика и фразеология произведений Салтыкова-Щедрина 80-х гг. (О роли просторечия в языке сатиры). (А), М., 1954.

[12] Ср. Е. Ф. Петрищева, Лексика и фразеология сатирической прозы И. А. Крылова. (А), Л., 1953, стр. 21 и др.

[13] См. Н. Ю. Шведова, К вопросу об общенародном и индивидуальном в языке писателя, ВЯ, 1952, № 2, стр. 107.

При таком подходе становится излишней та «критика текстов», которая заставляет историков литературы, отбирающих для нее источники, отличать собственно художественные произведения от памятников письменности. Языковеды заняты фактами общенародного литературного языка, а не вопросами их использования в составе целостной литературной композиции. Диссертанты исследуют как бы «физические свойства и структуру строительного материала», а не способы его «архитектурного» использования [1].

Изучение в этом аспекте языка писателей, произведений художественной литературы отнюдь не создает полного отрыва от стилистики, всегда имеющей дело с отбором. Связи таких работ со стилистикой сохраняются хотя бы в той мере, в какой собранный исследователем материал показывает, какие формы, фразеологизмы, синтаксические конструкции писатель отобрал, какие лексические пласты и экспрессивные средства национально-языковой системы он использовал.

Законность изучения общего языка, его грамматики и истории на основе такого важного источника, каким является язык писателей, речь произведений художественной литературы, не подлежит сомнению, хотя не всегда и не всеми признается целесообразность анализа языка писателей в отрыве от стилистических проблем [2]. Нужно только помнить, что нормы языкового сознания коллектива не отражаются в языке писателей с зеркальной точностью. Отражение это дает реалистический «образ» литературного языка. Но исследователь имеет достаточно веские основания, изучая язык народа, обращаться к индивидуальным речевым системам, художественно организованным, подобно тому, как, например, историк культуры вправе познавать историческую действительность, в частности, по образному ее отражению в произведениях реалистического искусства. Поэтому языковой материал литературного произведения признают способным отражать «в художественно-преобразованном виде... основные процессы и внутренние закономерности общенародного языка» [3].

Значительная группа диссертаций проецируется сразу в две плоскости. Во-первых, факты языка писателя осмысляются в их отношении к литературному языку, его нормам и речевым стилям, а также к общенародному языку с его местнодиалектными разветвлениями. Во-вторых, рассматриваются функции тех языковых средств, какие отобраны писателями для выражения определенного содержания, идейного эстетического замысла. Диссертантов интересует вопрос о переходе категорий общенародного языка в категории художественно-стилистические. Исследователи применяют стилистический подход, в основе которого лежит признание неотделимости языка в художественной литературе от идейного замысла писателя, от образной ткани произведения, от характера действующих лиц и от той творческой личности повествователя, которая создается всей композицией художественного произведения [4]. Но, интересуясь мотивами отбора и спецификой организации речевого материала, осмысляя этот материал в связи с идеями, эстетическими задачами, поставленными литераторами и отражающими черты их мировоззрения [5], диссертанты и здесь не обходят вопроса о влиянии писателя на развитие литературного языка и на оформление его стилей [6].

Как правило, в вводных разделах диссертационных работ мы не встречаем оригинальных определений тех основополагающих понятий, с которыми постоянно имеют дело исследователи языка и стиля. Обычно используются уже известные определения стилей речи, стиля языка, индивидуального стиля писателя и др. [7]. На суждениях исследователей о проблемах стилистического изучения запечатлелось состояние разнобоя

---

[1] Правда, это положение выступает больше теоретическим постулатом, чем фактом действительности, потому что на практике исследователи-грамматисты и историки языка далеко не всегда отстраняют вопросы, которые обычно ставятся при стилистическом изучении языка литературно-художественных памятников (ср., например, К. И. Павлова, указ. автореф. и ряд других).

[2] Ср. Г. И. Шкляревский, Язык и стиль публицистики А. М. Горького (На материале циклов очерков-памфлетов «В Америке» и «Мои интервью»). (А), Харьков, 1953, стр. 5.

[3] П. В. Вальков, Некоторые синтаксические особенности диалогической речи по пьесе М. Горького «Васса Железнова» (вариант 1910 г.). (А), Л., 1955, стр. 4.

[4] См. В. Виноградов, Насущные задачи советского литературоведения, «Знамя», 1951, № 7, стр. 148.

[5] Ср. О. А. Красильникова, Фразеологический состав поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души». (А), Харьков, 1953.

[6] Ср.: М. Я. Кривонкина, Общественно-политическая лексика публицистики А. М. Горького советского периода. (А), М., 1953; А. Т. Кунгурова, Лексика комедий А. П. Сумарокова. (А), М., 1954.

[7] Ср.: Н. Ф. Шумилов, Лексика и фразеология комедии В. Маяковского «Баня». (А), М., 1955; О. А. Шестакова, Работа А. М. Горького над языком и стилем повести «Фома Гордеев». (А), М., 1953.

и сравнительная бедность разработки научной теории, которые были обнаружены, в частности, в дискуссии по стилистике[1].

Довольно широко распространено представление о системном характере речевых стилей и представление о литературном языке как в известном смысле «системе систем». Нельзя не обратить внимания на то, что обычно не учитывается целесообразность разграничения понятия «стилей языка» и «стилей речи». Далеко не редким является неразличение речевого стиля и индивидуального стиля высказывания, смешение этих двух категорий. Наблюдается недифференцированный подход при попытках классификации речевых стилей: эмоционально-экспрессивная окраска слов рассматривается в одном плане со стилистической выразительностью, зависимой от ограниченности сферы общественного применения языка. Не всегда отличают стили языка, стили речи от речевых средств, связанных с той или иной жанровой приметой произведения художественной литературы. Правда, наличие таких связей может не нуждаться в особых доказательствах[2], однако оно характеризует не систему общего литературного языка, а только уточняет с помощью некоторых языковых признаков жанровые черты тех или иных литературных произведений.

Рассматривая литературные тексты не только как памятники письменности и источники для истории литературного языка, но и в их художественной специфике, диссертанты исходят из признания слитности коммуникативной и эстетической функций языка в произведениях словесного искусства. На этой основе и создается два тесно связанных между собой плана изучения — «стилистико-языковой», в котором разрешаются вопросы соотнесенности использованных писателем средств языка с общенародным языком, включая его диалектно-профессиональные ответвления, с литературным языком в его стилистическом многообразии, и план «литературно-стилистический», устанавливающий в аспекте целостной художественной композиции характер отбора языковых средств для данного литературного произведения[3], способы превращения материала общего языка в «словесно-художественный стиль (слог) писателя»[4].

Следовательно, с одной стороны, такие диссертации служат познанию общей языковой системы, процессов развития литературного языка, поскольку отобранный материал общего языка, несмотря на особые качества его как «первоэлемента литературы», остается языком общенародным[5]. С другой стороны, в исследованиях, отнесенных к этой группе, осуществлен стилистический подход к языку, рассмотрен отбор лексических, фразеологических и грамматических средств, обусловленный творческим методом писателя, его эстетическими установками, индивидуальной манерой и пр.[6]. Авторов занимает вопрос об использовании языка как орудия борьбы[7], как средства выражения идеологии своего класса, пропаганды своих идей[8]. Понятие индивидуального художественного стиля тесно связывается с мировоззрением писателя[9], которое обусловливает собой соответствующий отбор и художественное применение средств общенародного языка[10]. Тема, идея произведения, его образная система признаются неотделимыми от языка, этого основного материала произведения литературного искусства[11]. Эстетическая проблема типического также включается в круг проблем изучения языка и стиля писателя[12]. Для стилистического анализа считают важным уста-

---

[1] См. об этом В. В. Виноградов, Итоги обсуждения вопросов стилистики, ВЯ, 1955, № 1.

[2] См.: Л. П. Черкасова, Стилистические средства пародии в журнале Н.А. Добролюбова «Свисток». (А), Харьков, 1954; М. И. Хмелинина, Фразеология ранних фельетонов А. М. Горького. (А), М., 1952; Т. Г. Ильинская, Лексика «Истории Петра» Пушкина. (А), Тбилиси, 1954.

[3] В. Н. Хохлачева, Разговорная лексика I тома «Мертвых душ» Н. В. Гоголя. (А), М., 1952, стр. 4.

[4] Г. И. Шкляревский, указ. автореф.

[5] Ср. М. А. Карпенко, указ. автореф.

[6] Ср. С. А. Кудряшов, Лексика и фразеология поэм И.С. Никитина. (А), М., 1954 и др.

[7] Ср. А. Х. Мищенко, Публицистическая лексика и фразеология А. И. Герцена (по статьям в «Колоколе»). (А), М., 1954.

[8] С. А. Пугач, О языке и стиле Писарева-публициста. (А), Харьков, 1954; О выражении классовой идеологии в языковом стиле см.: Г. А. Шелюто, Стиль и словарный состав публицистики Н. Г. Чернышевского. (А), Киев, 1952, стр. 1.

[9] П. Г. Минеев, Художественные особенности «Тихого Дона» М. Шолохова. (А), Черновцы, 1954, стр. 14.

[10] С. Г. Ильенко, Стилистические особенности автобиографического жанра у М. Горького. (А), Л., 1951, стр. 4.

[11] В. И. Кононова, Языковые средства стилизации в советском историческом романе. (А), М., 1954.

[12] С. А. Пугач, указ. автореф.

новить осуществление писателем «принципа соответствия средств изображения изображаемому миру» [1].

Есть случаи, когда грамматические формы прямолинейно ставятся в связь с выражением идеологии писателя и с целями словесно-живописного выражения. Например, указывается на «бесконечное разнообразие» (!) безличных предложений, которые используются писателем для воплощения идейно-художественного замысла и ставятся им «на вооружение борьбы за свободу, за счастье народа»... и т. д. [2].

Легко заметить, что вопросы изучения языка и стиля литературных произведений выдвигаются не только в пределах собственных теоретических задач науки о языке, но и в широком практическом плане, в каком их ставил М. Горький, призывавший изучать речевой опыт выдающихся писателей, знакомиться с приемами техники литературного мастерства[3], раскрывать тайны искусства словесной живописи и бороться за чистоту, смысловую точность языка[4]. Литератор как мастер становится предметом изучения не только литературных критиков [5], но и ученых-языковедов, которые стремятся рассматривать язык, стиль произведений в связи с их содержанием, чтобы «глубже раскрыть своеобразие таланта» писателя[6], понять технику словесно-живописного искусства и таким путем оказать помощь писателям в «совершенствовании художественной формы» [7], содействовать улучшению качества литературных произведений [8]. Знакомство с деятельностью крупных мастеров слова должно помочь в борьбе за реалистическое искусство[9]. Опыт русской классической литературы осваивается для решения задачи, поставленной партией, — создать полноценные художественные произведения, в которых глубоко и полно отразилась бы советская действительность[10].

Признание системного характера языка еще не приводит, однако, к достаточной полноте изучения различных сторон его структуры. Чаще всего изучается лексика произведений. Большое внимание уделяется местным диалектизмам в языке художественной литературы[11]. Если из общего словарного состава отбирается для исследования лишь один «лексический пласт», то исследователи обычно довольствуются ссылкой на тесное взаимодействие с другими лексическими пластами изучаемого вида лексики[12]. Иногда «удачное переплетение» разностильных лексических категорий считают верным средством достижения «высокой художественности»[13]. Заметим, что диссертанты, касаясь вопросов эмоционально-экспрессивной лексики, не всегда учитывают возможность тяготения одного и того же слова к разным видам экспрессии[14].

При изучении различных «лексических пластов» выясняется, насколько широко охватил писатель словарный состав общенародного языка. Но не все в инвентарной описи лексических средств, использованных писателем, имеет значение для художественно-стилистической характеристики его речи. Только в тех случаях, когда материал общенародного языка содержит в себе смысловой параллелизм и располагает определенными синонимическими соответствиями, позволяющими делать из них выбор, можно усматривать в речи писателя «стилистическое намерение», иначе говоря —предпочтение

---

[1] Ср. В. Н. Хохлачева, указ. автореф.

[2] Т. П. Малина, Безличные предложения и их стилистические функции в произведениях А. М. Горького. (А), Киев, 1953, стр. 16.

[3] Ознакомление это должно «служить дальнейшему обогащению различных стилей советской художественной литературы» [см. А. Д. Алексеенко, Работа А. М. Горького над языком романа «Мать». (А), Пенза, 1953].

[4] См. Т. А. Дзасохова, Работа А. М. Горького над языком романа «Дело Артамоновых». (А), М., 1954.

[5] Ср. М. Горький, Собр. соч., т. 25, М., 1953, стр. 260.

[6] См. Т. К. Черторижская, Особенности языка и стиля трилогии А. Н. Толстого «Хождение по мукам». (А.), Киев, 1953, стр. 3.

[7] С. О. Цаленчук, Язык и стиль произведений А. А. Фадеева (ранние повести и роман «Разгром»). (А), Львов, 1951.

[8] Н. В. Черемисина, О языке и стиле советской научно-художественной прозы. (А), Харьков, 1953; В. И. Кононова, указ. автореф.

[9] Л. А. Введенская, Лексика драмы «Любовь Яровая» К. А. Тренева. (А), М., 1952, стр. 1; Л. Е. Ярощук, Художественная проза Герцена 40-х гг. (А), М., 1953, и др.

[10] Ср. Н. С. Манаев, Роман Тургенева «Отцы и дети» (Проблематика и художественное мастерство). (А), М., 1953.

[11] К. Л. Ряшенцев, Диалектная лексика в авторской речи М. А.Шолохова, Дзауджикау, 1949; см. еще М. В. Глушкова, указ. автореф., и ряд других.

[12] П. М. Фесуненко, Особенности лексики советской исторической повести для юношества. (А), Киев, 1954, стр. 3—4.

[13] И. А. Федосов, Лексика и фразеология романа А. М. Горького «Мать». (А), М., 1953, стр. 1.

[14] О лексико-семантическом анализе см. в докторской диссертации В. А. Звегинцева «О принципах семасиологических исследований» (М., 1954).

одних средств выражения другим. Если же возможностей такого выбора нет, то писатель использует словесный материал только как названия предметов, явлений и пр., за которыми закреплены определенные словесные обозначения. Употребление таких речевых средств обусловлено не избирательной деятельностью, но самим предметным содержанием речи[1]. В этом уточнении особенно нуждаются диссертации, посвященные роли терминологической лексики в произведениях художественной литературы. Бесспорно, однако, что производственно-технические термины способны придать речи литературного произведения определенную тональность[2].

Стремление к возможно большей точности выводов заставляет некоторых исследователей пользоваться такими объективными показателями, какими являются свидетельства математических подсчетов. Использование цифровых данных бывает полезным, например, при изучении структурных соотношений различных элементов системы языка и пр. Подсчет слов определенной категории может показать проявления личных склонностей писателя, особенностей его видения мира и т. д. Вообще статистические приемы изучения уместны лишь тогда, когда с их помощью раскрываются внутренние закономерности, существенные черты изучаемого предмета. В других же случаях они создают только видимость строго объективной характеристики. Вряд ли очевидна целесообразность вычисления в процентах словарного состава произведений писателя, чтобы языком цифр определить «удельный вес» разных «лексических пластов», устанавливаемых по различным признакам, в частности по признаку этимологическому[3]. Но некоторым исследователям, добивающимся объективной определенности выводов, кажется весьма заманчивой возможность широко пользоваться цифровой символикой, хотя этот прием таит в себе некоторые опасности. «Всякие цифры вообще, а особенно цифры статистические,— писал А. Льесс,—действуют на ум с особенным очарованием. Символы точности, они носят в самих себе неотразимую убедительность непреложного факта... Они сразу же овладевают вниманием и подчиняют себе всецело, если во время не принять мер предосторожности против их покоряющего влияния. Они с необыкновенным искусством могут прикрывать парадоксы и распространять заблуждения»[4].

Может показаться странным, что обширной практике изучения языка и стиля произведений художественной литературы не предшествовали попытки специального «искусствоведческого» определения самого изучаемого предмета — литературного произведения как особого рода эстетического объекта, который может быть познан лишь в неразрывном единстве «содержимого» и средств его словесно-художественного воплощения. Разработка вопроса в этом плане не прошла бы бесследно для уяснения таких понятий, как «стиль литературного произведения», а также для определения места языка в структуре стиля эстетического объекта, для уточнения отношений языка художественной литературы к системе стилей национального языка и пр. В сущности, при определении задач стилистического изучения языка художественной литературы идея неразрывности всех компонентов произведения литературного искусства уже признана методологической предпосылкой. Она же определяет собой и то общее направление научного анализа художественных произведений, которое в общих чертах намечено В. В. Виноградовым[5].

Постановка проблемы языка художественного произведения как индивидуального стиля, служащего средством выражения мировоззрения писателя, привела к мысли о необходимости «взаимодействия» языковедческого и литературоведческого подхода при исследовании стиля литературных произведений[6] Но в этой области сделано еще очень мало по причинам, о которых писал Л. Шпитцер, утверждавший, что «историки литературы страдают... недостатком образования лингвистического, лингвисты—эстетического, от чего в равной мере страдает исследование стиля... Результатом взаимной отчужденности наук о литературе и языке является то обстоятельство, что литературные памятники обычно исследуются лингвистами... с точки зрения их лингвистической,

---

[1] См. Д. Д. Ильин, Лексический состав произведений М. В. Исаковского. (А), М., 1954.

[2] См. И. С. Михалко, Лексика и фразеология современных советских романов на индустриальную тему (1945—1951 гг.). (А), Киев, 1953; см. также Ф. П. Сороколетов, Производственно-терминологическая лексика в прозе после Великой Отечественной войны... (А), Л., 1952.

[3] В. Ф. Алтайская, указ. автореф., ср. также подсчет по грамматическому составу диалектных и просторечно-разговорных элементов в диссертации Ф. А. Маркановой «Диалектные и просторечно-разговорные элементы в языке художественных произведений И. С. Тургенева» [Ин-т языка и лит-ры им. А. С. Пушкина АН УзбССР, (А), Ташкент, 1955, стр. 12].

[4] A. Liesse, La statistique, Paris, 1912, стр. 46.

[5] См. В. В. Виноградов, Язык художественного произведения, стр. 5.

[6] Ср.: В. В. Виноградов, Изучение русского литературного языка за последнее десятилетие в СССР, стр. 37; Л. И. Тимофеев, Об анализе языка художественно-литературного произведения, «Литература в школе», 1954, № 4.

историко-документальной ценности (в духе, например, Асколи, который... усматривает „пропасть между искусством и языком, между наукой о литературе и наукой о слове“»[1]. Но некоторые авторы интересуются явлениями образно-эстетической трансформации языка, используемого в речи литературных произведений[2]. В этом плане исследователей особенно занимает стилистически нейтральная лексика, которая, входя в состав литературно-художественного текста, приобретает экспрессивно-стилистические качества[3], так как происходит «заражение» («contagion») — действие одних слов на другие (Дармстетер, Бреаль).

Признание индивидуального стиля предметом языковедческого и литературоведческого изучения [4], идея примата образного содержания и обусловленности им речевых средств выражения обычно носят лишь декларативный характер. Ограничение понятия художественного стиля писателя речевым материалом, рассматриваемым в плане использования общенародного языка, не только снимает проблему индивидуального стиля как средства выражения мировоззрения писателя, но и способно привести к выводу о том, что у изучаемого автора вообще «нет своего индивидуального стиля» (?), а наблюдается лишь большее или меньшее отличие одного писателя от других «в пределах единого языка данной нации, данного народа» [5]. Вывод этот нам кажется весьма симптоматичным.

Мы не могли охватить все проблемы и методические задачи, поставленные в диссертационных работах. Но и рассмотренный материал показывает, что будущая история литературного языка сможет опереться на многочисленные факты, которые собраны, систематизированы и осмыслены в многочисленных исследованиях о языке и стиле писателей. Вполне очевидно, что научная теория все еще значительно отстает от практики изучения, которая дает основу для разработки теоретических вопросов истории русского литературного языка и стилистики художественной речи.

Р. Р. Гельгардт

НОВЫЙ КИТАЙСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

В июне 1957 г. в Китайской Народной Республике вышел в свет первый номер нового филологического журнала «Западные языки и литературы» («Сифан юйвэнь»). Редакционный совет журнала учрежден при Пекинском институте иностранных языков. Периодичность издания — четыре раза в год. К настоящему времени вышло уже несколько номеров этого журнала.

Появление нового журнала — заметное событие в научной жизни Китая. В Китайской Народной Республике издается три журнала, посвященных китайскому языку и письменности, выходят специальный журнал по реформе китайской письменности, журналы по китайской литературе, журналы по русскому языку, однако до сих пор не было специального печатного органа, который бы систематически освещал вопросы, связанные с изучением и преподаванием западных языков и литературы. Между тем, как отмечается в редакционной статье первого номера, в Китае уже много лет ведется преподавание западных языков, причем за последние годы преподавание этих языков значительно расширено. В настоящее время в Китае существует восемь институтов иностранных языков, в восьми университетах и семнадцати педагогических институтах имеются специальные факультеты иностранных языков с общим количеством студентов свыше пятнадцати тысяч человек.

Новый журнал должен явиться серьезным стимулом для развертывания научно-исследовательской работы в области западных языков и литератур, а также должен стать трибуной обобщения и освещения опыта преподавания западных языков. В журнале будут освещаться как вопросы преподавания, так и вопросы, связанные с изучением языков и литератур. При этом редакция предполагает пока ограничиться матери-

---

[1] Л. Шпитцер, Словесное искусство и наука о языке, [сб.] «Проблемы литературной формы», Л., 1928, стр. 191—192.

[2] Ср.: В. И. Зебель, Язык повести «Детство» А. М. Горького. (А), Харьков, 1954; С. А. Пугач, указ. автореф.

[3] Ср. Г. Ф. Митрофанов, указ. автореф.

[4] В. В. Виноградов, Итоги обсуждения вопросов стилистики, стр. 86.

[5] А. П. Андриевская, Язык художественной прозы и публицистики военных лет К. Симонова. (А), Сталино, 1954, стр. 14—15.

алом английского, французского, немецкого, испанского, итальянского и румынского языков и литератур.

В связи с тем, что в Китае издается ряд журналов, специально посвященных изучению русского языка, в новом журнале, как отмечает редакция, вопросы русского языка освещаться не будут, хотя предполагается публикация материалов русского языка в сопоставлении с другими языками. Со временем редакция предполагает также начать публикацию комплексных сравнительных исследований, в частности по романским и германским языкам, а также по общей индоевропеистике.

Редакция предполагает публиковать в журнале статьи и материалы, посвященные наиболее важным проблемам преподавания западных языков; освещать опыт их преподавания; публиковать лингвистические исследования; обсуждать на страницах журнала вопросы переводческой работы, а также общие и частные литературоведческие проблемы; предполагается также публикация различных библиографических материалов; широкая публикация рецензий и откликов на новые китайские и зарубежные издания.

Редакция подчеркивает, что она намерена неуклонно осуществлять курс партии и правительства: «пусть соперничают все ученые»— и сделать журнал постоянной ареной научных дискуссий и споров.

В первых номерах журнала, в соответствии с намеченным планом, опубликованы по вопросам методики преподавания статьи китайских ученых и советских специалистов, работающих в Пекинском институте иностранных языков, а также работы преподавателей западных языков других вузов. В этих статьях поднимаются важные проблемы методов и последовательности обучения (статья Чжу Гуан-цяня, № 1), вопросы научно-исследовательской работы в области западных языков и литературы (статья Фань Цунь-чжуна, № 1), вопросы повышения квалификации преподавателей (статья Р. А. Шмелевой, № 3) и другие. В статьях, посвященных проблемам перевода, освещаются, например, опыт переводческой работы на VIII съезде КПК (статья Чэнь Динминя, № 1), проблема перевода идиоматических выражений с китайского языка на английский (статья Чжан Пэй-цзи, № 3) и т. д.

Большое место в журнале отведено публикации лингвистических исследований. Среди работ по общим проблемам укажем, например, статью Цэнь Ци-сяна «Исторический обзор сравнительно-исторического изучения индоевропейских языков» (№ 1) и Ли Фунина «Формирование и развитие английского национального литературного языка» (№ 1); по более частным вопросам статьи, посвященные исследованию предлогов *à* и *de* во французском языке (автор Го Линь-гэ, №№ 1, 2), сравнительному анализу фонетических систем английского языка и кантонского диалекта (автор Фан Шу-чжэнь, № 2), сравнительному анализу ряда корней русского и английского языков (автор Гань Ши-фу, № 2) и др. Полно и разнообразно представлен отдел критики и библиографии. Журнал печатает различные обзоры и рецензии на новинки китайской и зарубежной научной литературы лингвистического, литературоведческого и учебно-методического характера. В статье Шуй Тянь-туна «Избранные библиографические пособия по западным языкам и литературе» (№ 1) содержится обширный перечень и краткая характеристика основных библиографических работ на английском языке по самым различным вопросам языка и литературы. В отделе критики и библиографии можно найти отклики на такие работы, как А. И. Смирницкий «Лексикология английского языка», F. Brunot и Ch. Bruneau «Précis de grammaire historique de la langue française», C. C. Fries «The Structure of English», R. B. Farrell «A Dictionary of German Synonyms», Чэнь Линь и др., «Учебник английского языка для вузов» и некоторые др.

С большим вниманием китайские ученые следят за научными публикациями в Советском Союзе. Наряду с откликами на отдельные работы по языку и литературе, публикующимися в каждом из номеров журнала, в первом номере помещена статья Тань Цзы-цяна «Советский журнал „Вопросы языкознания“», дающая суммарную характеристику работы журнала за пять лет его существования.

Таково, в общих чертах, основное содержание нового китайского журнала. Наибольшее место в нем занимают лингвистические и литературоведческие статьи, а также критико-библиографические работы. Вопросам преподавания иностранных языков (эти вопросы касаются только высшей школы) и переводческой работы в количественном отношении посвящено меньше статей. Кроме того, журнал в редакционных и передовых статьях освещает также важные вопросы партийного руководства научной и преподавательской работой в Китайской Народной Республике.

Советские языковеды и литературоведы радуются появлению у китайских коллег нового журнала и желают им больших успехов в работе.

В. М. Солнцев

ВЕНСКИЙ СЛАВИСТИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК*

Выход в свет первого тома австрийского славистического ежегодника «Wiener slavistisches Jahrbuch» (WSJ) был приурочен к столетию существования кафедры славистики при Венском университете (1849—1949). Стремление опереться на богатые традиции венской славистической школы чувствуется также в статье редактора ежегодника Р. Ягодича (т. I, стр. 1—52), посвященной деятельности работавших в Вене Б. Копитара, Ф. Миклошича, В. Ягича и современному состоянию австрийской славистики. Учитывая возросшее влияние славянских государств в Европе, Р. Ягодич делает вывод о необходимости быстрого развития всех разделов славянской филологии в Австрии. WSJ должен, по его мнению, способствовать такому развитию, публикуя языковедческие и литературоведческие работы австрийских и заграничных авторов. За семь лет своего существования (вышло пять томов) WSJ действительно сумел объединить лучшие силы австрийской славистики и наладить прочные связи с языковедами ряда европейских, преимущественно соседних стран.

Издание, ограниченное славистической тематикой, естественно, не могло отвести много места вопросам общего языкознания. Из опубликованных материалов выделяется статья акад. А. Белича, излагающего взгляды белградской лингвистической школы на синтагму и предложение (т. IV, стр. 5—14). Определяя синтагму как органическое единство в противоположность двучленному предложению (die Zweiheit), автор подчеркивает, что объяснить многие языковые процессы можно только внутри синтагмы; так, исчезновение падежных форм становится возможным, потому что синтагма принимает на себя их значения (например, сербские синтагмы *говорио сам људима* и *говорио сам људима* при совпадении форм падежей различаются так же, как и соответствующие русские *говорил людям* и *говорил с людьми*, где совпадения нет). А. Белич противопоставляет точку зрения белградской лингвистической школы взглядам Ш. Балли, возводившего любую синтагму к двучленному предложению, и И. Мещанинова, руководствовавшегося, по мнению автора, чисто формальными критериями при своей классификации.

Вопросы общей фонетики на славянском материале решает работа Г. Гальтона (т. V, стр. 37—58), который объясняет закрепление ударения в чешском и польском языках действием закона ритмического чередования (die rhytmische Alternation) ударных и безударных слогов. Автор резко полемизирует с лингвистами пражской школы (Н. С. Трубецким, Р. Якобсоном), выделявшими функции ударения — смыслоразличительную (в языках с подвижным ударением)[1] и делимитативную[2], т. е. указывающую на границу слова (в языках с закрепленным ударением). По мнению Г. Гальтона, чешская и польская системы ударения возникли из одной и той же ритмической схемы: + — + — (трехсложные звуковые такты примкнули к ней позднее). В отличие от чешского, где сохраняющиеся долготы служат целям ритмической альтернации, в польском первичное начальное ударение вызывало несоразмерный ритмический перевес начала звукового такта, поэтому здесь установился второй из возможных по упомянутой схеме вариантов: закрепленное ударение на предпоследнем слоге. Выдвигаемое автором универсальное объяснение (оно же применяется к возникновению «слабых» и «сильных» редуцированных) выиграло бы в доказательности, если бы было связано с фактами истории исследуемых языков (например, с датировкой закрепления западнославянского ударения на основании анализа заимствований). Анализ закрепленного или частично закрепленного македонского ударения, возможно, также внес бы коррективы в теорию автора[3].

---

* Wiener slavistisches Jahrbuch. Hrsg. vom Seminar für slavische Philologie an der Universität Wien durch Rudolf Jagoditsch. Bd. I—V, Wien — Graz — Köln, 1950—1955.

[1] Отрицая морфологическую функцию ударения в современном русском языке (т. е. его способность характеризовать грамматические категории, например ед. и мн. число претерита сильных глаголов в прагерманском), автор приводит неудачный пример: *вина́*, род. падеж *вины́* — им. падеж мн. числа *вины́* при *стена́*, *стены́* — *сте́ны*. Здесь ударение как раз является характеристикой всей категории. Именно поэтому приводимое Г. Гальтоном *вины́* (им. падеж мн. числа) воспринимается сейчас как архаизм (ср. также *страны́*; в других случаях мн. число перестает употребляться в литературном языке: *жара́*, *пора́* при диалект. *в те поры́*, *балда́* и т. п.): в им. падеже мн. числа ударение на первом слоге двухсложных существительных жен. рода проведено без исключений (*ви́ны*, *стра́ны* и т. д.).

[2] Ср. H. Galton, On the supposed delimitative accent in West Slav, «Archivum linguisticum», vol. 7, fasc. 2, Glasgow, 1955.

[3] Македонские говоры засвидетельствовали различные стадии процесса: 1) ударение подвижное в пределах: а) последних трех слогов (Кратово), б) последних двух слогов (Воден), в) третьего и второго с конца слогов (Тиквеш); 2) ударение закрепленное: а) на предпоследнем слоге (Костур), б) на третьем с конца слоге (Скопье).

В. Аппель в своих заметках по экспериментальной фонетике (часть 1 — т. I, стр. 53—70; часть 2 — т. II, стр. 95—102; обещанное продолжение еще не появилось) на основе оригинального метода графической регистрации речи определяет сербские нисходящие ударения (∼\) как экспираторные с делимитативной (в разрез со взглядами Г. Гальтона — ср. выше) функцией, изменяющиеся под влиянием фразовой интонации, а сербские восходящие (/ \) — как музыкальные ударения, не зависящие от интонации фразы.

В своей статье обзорного характера (т. II, стр. 50—72) Й. Матль считает основной задачей современной славистики проследить по языку духовную жизнь и развитие славянских народов. Он обращает основное внимание на исследования в области топонимии, этимологии (подчеркивается значение семантической стороны сопоставлений), связанные с изучением реалий, истории и культуры. Считая в духе К. Фосслера предшествующий этап в языкознании «формально-грамматическим», автор, дающий обширную библиографию по упомянутым выше разделам славянского языкознания, не упоминает хотя бы вкратце о работах, трактующих вопросы языковой структуры (фонетической, морфологической, синтаксической), так что его обзор страдает некоторой односторонностью. К счастью, такой односторонности нет в подборе работ по славянскому языкознанию, опубликованных ежегодником.

Свою схему периодизации праславянского языка излагает Т. Лер-Сплавинский (т. V, стр. 5—9). Внося поправку в датировку праславянского языка, предложенную в 1935 г. Н. Ван-Вейком[1], польский ученый считает, что второй период развития праславянского языка (во время которого произошли важнейшие праславянские фонетические сдвиги) длился с IV в. до н. э. по III в. н. э. Спорно определение конца этого периода на основании наличия результатов второй палатализации (прошедшей в период начинающегося распада славянской общности) в праславянских заимствованиях из готского, воспринятых, по мнению автора, во II—III вв. н. э. Если даже принять такую датировку заимствований (готы двигались из Причерноморья к западу с III до V в. н. э.), не исключена возможность, что вторая палатализация прошла намного позже восприятия заимствований и отразилась в них так же, как и в исконно славянских словах.

Важным вопросам расселения южных и западных славян в VIII—IX вв. н. э. посвящены статьи К. Пиука (т. I, стр. 112—129) и итальянского слависта А. Кронния (т. II, стр. 6—21). Если первый, полемизируя со словацким ученым Я. Станиславом, объясняет большинство славянских имен в евангелии Чивидале (имена внесены на поля евангелия в VIII—IX вв. славянскими дарителями на севере Италии) как южнославянские, то второй вообще ставит под сомнение общепринятое чтение этих имен и подвергает их новому тщательному анализу. Однако и этот новый анализ не подтверждает гипотезу Я. Станислава о преимущественно западнославянском характере имен, поддерживающую его теорию о первоначальном словацком населении в Паннонии. На более раннюю, дославянскую историю Паннонии бросает свет предложенная Р. Нахтигалем (т. IV, стр. 15—19) этимология лат. *Pelso*, античного названия озера Балатон. Люблянский ученый справедливо отводит связь со славянск. **ples*, *pleso* (ср. русск. *плёс*) и сближает слово с алб. *pül* «лес» из иллирийск. **pelso-*. Тогда единственным славянским названием озера является **Boltьno*, откуда венг. *Balaton*.

Развитию отдельных славянских языков после распада праславянского также посвящен ряд статей. К. Рёслер, рассмотрев способы образования аналитического будущего времени в славянских и ряде других европейских языков (т. 2, стр. 103—149), приходит к выводу, что формы с глаголом **bǫdǫ* (восточно- и западнославянские) восходят к средневерхненемецким формам аналитического будущего с *werden*, появляющимся с XI в. (в западнославянских языках, по Рёслеру, формы с **bǫdǫ* — с XIII—XIV вв., в восточнославянских — с XV—XVI вв.). Из того же источника аналогичные формы проникли в ряд чакавских говоров сербского языка, но, ввиду закрепления в южнославянских языках будущего с **xъtjǫ*, там они не получили развития[2].

---

[1] Собственно, Н. Ван-Вейк указывал на наличие двух неравных периодов в развитии праславянского языка: первого (медленное развитие), занявшего около двух *тысячелетий, и второго (коренное изменение языковой структуры), длившегося* два-три столетия. Т. Лер-Сплавинский приходит к выводу о неточности подобного деления, исходя из своего известного предположения о том, что праславянский язык выделился ок. 1300 в. до н. э. в результате распространения носителей лужицкой культуры в район Одера—Вислы — Верхнего Днестра.

[2] Нельзя не обратить внимания на тот факт, что южнославянские языки, постепенно теряющие простое будущее (ср. болг. *ще дам*//*ще давам*, серб. *даћу*//*даваћу*), *воспользовались для образования аналитического будущего глаголом несовершенного* вида (**xъlěti*), а восточно- и западнославянские языки, где формы простого будущего обычны (русск. *дам*, польск. *dam*, чешск. *dám*),— глаголом совершенного вида **bǫdǫ* (ср. также др.-русск. *учьну*, *почьну* и т. п.), восходящим к и.-е. аористному корню

Г. Вытженс, специально исследовавший факты русского языка (т. III, стр. 24—27), дает еще более позднюю датировку распространения здесь форм с *буду* (2-я половина XVII в.; впервые форма засвидетельствована достоверно в «Повести о начале Москвы»). Однако в вопросе о происхождении таких форм он осторожнее К. Рёслера. (Этот последний, впрочем, указывает, что его предположение нельзя считать доказанным, пока к исследованию не привлечен более обширный материал.) Не отрицая возможности западного влияния (особенно в сочинениях И. Пересветова, где часты формы с *буду*), Г. Вытженс ищет истоки аналитического будущего в оборотах типа: *будетъ имъ* (дат. падеж) *сѣсти на конь* и в сочетаниях *буду* с причастиями на *-l-*. Можно еще отметить, что многообразие глаголов, служащих для образования аналитического будущего уже в др.-русск. (*иму, учьну, зачьну, почьну* и т. п.), свидетельствует о давнем наличии «слабого звена» и языковой системе.

Возникновение неизменяемого деепричастия в русском языке прослеживает Р. Стола на материале Лаврентьевского списка летописи (т. V, стр. 14—27). Начало этого процесса обусловлено, по его мнению, исчезновением двойственного числа как живой категории и колебаниями в согласовании при подлежащем с собирательным значением. Большое число примеров подтверждает мысль автора, что в упомянутых случаях разное согласование причастия и глагола приводит к развитию причастия в несогласованную деепричастную форму (zweirängiges Prädikat, по его терминологии).

Новые данные о сокращении долгот в современных сербских диалектах приводит белградский лингвист И. Попович (т. IV, стр. 97—129). Систему, зарегистрированную в свое время Вуком Караджичем, сохраняют в неприкосновенности лишь диалекты центральной динарской области, диалекты же к западу, востоку и юго-востоку от нее представляют ряд степеней утраты долготы: частичная (Белград) и полная (среднеморавские говоры) утрата заударных долгот при сохранении предударных; утрата всех безударных долгот (крайние юго-восточные говоры). Автор предвидит такой период, когда все диалекты сербского языка придут к состоянию, засвидетельствованному современным словенским (долгота лишь под ударением), и склонен приписывать весь процесс внешним влияниям на северо-западе и юго-востоке. Однако здесь следует также учитывать проявление общеславянской тенденции.

Читатель WSJ, не знакомый с новейшей югославской лингвистической литературой, найдет в статье П. Храше-Вире (т. I, стр. 87—100) точную информацию об основных особенностях македонского литературного языка. В целом же материалы по современным славянским языкам — наиболее уязвимое место ежегодника, выходящего в неславянской стране. Напротив, этимологические разыскания представлены весьма широко. Прежде всего хочется отметить кропотливую работу С. Боднарчука, регулярно публикующего обстоятельные разборы выходящих в свет выпусков словарей: «Russisches etymologisches Wörterbuch» М. Фасмера (т. II, стр. 198; т. III, стр. 115—120; т. IV, стр. 147—154; т. V, стр. 172—174), «Słownik etimologiczny języka polskiego» Ф. Славского (т. IV, стр. 160—166; т. V, стр. 205), «Litauisches etymologisches Wörterbuch» Э. Френкеля (т. V, стр. 203—205) — и давшего ряд украинских дополнений к словарю М. Фасмера (т. V, стр. 28—36). Сопоставляя различные точки зрения на задачу составителя этимологического словаря[1], С. Боднарчук высоко оценивает словарь М. Фасмера и испанский этимологический словарь Х. Коромминаса[2]. Одновременно он признает и целесообразность создания этимологического словаря на более узкой основе, как это делает Ф. Славский.

Из заметок этимологического характера заслуживают упоминания удачное объяснение южнославянских названий для ветра (болг. *хала, ламя*; серб. *ћоровац*, собственно «слепец») из античной мифологии, данное Л. Садник (т. I, стр. 130—133), и возведение от слав. **kovъ* «преследование» к и.-е. корню **kou//keu*; ср. праслав. **čuti* «чу//ять» — «идти по следу», данное Р. Айцетмюллером (т. II, стр. 152—153). Едва ли на верном пути находится Г. Нейхаузер, считающий (т. I, стр. 110—111) русск. *перепелятник, ягнятник* (названия хищных птиц) сложениями со второй частью — производным от глагола **jęti, jьmǫ*, «брать», т. е. «хватать добычу». Скорее это обычные производные от названий молодых существ на **-ę, -ęte* (**perpelę, *jagnę*), такие же, как, например, русск. *телятница*.

Следует приветствовать появление на страницах славистического издания статьи по палеографии. Т. Экхардт, параллельно с уточнением терминов «устав» и «уѩ-

---

(ср. Ch. Stang, Das slavische und baltische Verbum, Oslo, 1942, стр. 53). Все это стоит в связи с разной степенью развития видовых различий в упомянутых двух группах славянских языков и делает заимствование, предполагаемое К. Рёслером, менее вероятным.

[1] В том числе точки зрения советских ученых (М. Петерсона, В. Абаева, Р. Ачаряна), высказывавшихся в дискуссии, которая была организована «Вопросами языкознания» (см. 1952, №№ 4—5; ср. WSJ, т. IV, стр. 148—149).

[2] J. Corominas, Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana, vol. I—III (A — Re), Berna, 1954.

циальное письмо» («die Unziale»), намечает основные этапы развития глаголического и кириллического письма (т. IV, стр. 130—146). В своем докладе на Славянском коллоквиуме в Вене[1] он справедливо замечает, что окончательное решение вопроса о происхождении славянских азбук сможет дать именно сравнительная палеография.

В WSJ хорошо поставлена информационная часть. Кроме уже упомянутых рецензий С. Боднарчука [он же в т. IV (на стр. 171—182) после подробного анализа отрицательно оценивает книгу Д. Дечева «Характеристика на тракийския език» (София, 1952)], следует отметить большой обзор новой (начавшей выходить с 1952 г. и позднее) периодики по славистике, сделанный Р. Ягодичем (т. V, стр. 121—146)[2].

Критический разбор ряда положений Н. С. Трубецкого дает Э. Кошмидер в своей рецензии (т. V, стр. 148—160) на издание его «Altkirchenslavische Grammatik» (Wien, 1954). Рецензенты WSJ внимательно следят и за развитием новых методов в языкознании. Так, Г. Вытженс излагает (т. IV, стр. 157—159) содержание книги Г. Йосселсона о статистике ходовых слов русского литературного языка (H. Josselson, The Russian Word Count..., Detroit, 1953).

В заключение следует сказать, что от тома к тому работы по языкознанию занимают все более важное и значительное место в ежегоднике. Правда, издание не удалось пока расширить, как это предполагала редакция, но достаточно сравнить пятый том (1956 г.) с его обширными обзорами (25 стр.), рецензиями (более 40 стр.), крупными проблемными статьями с третьим томом (1953 г.), где была опубликована лишь одна лингвистическая статья и три небольшие рецензии.

Материалы WSJ позволяют надеяться, что австрийская славистика, обладающая славными традициями, даст еще немало интересного в разных областях языкознания.

В. М. Иллич-Свитыч

---

[1] Информация о работе коллоквиума, организованного в 1956 г., дается в WSJ (т. V, стр. 217—220).

[2] Рассмотрены издания: «Ricerche slavistiche», «Harvard slavic Studies», «Scandoslavica», «Zeitschrift für Slavistik», «Die Welt der Slaven».

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1958

РЕЦЕНЗИИ

А. И. Ефимов. **Стилистика художественной речи.**— Изд-во Моск. ун-та, 1957. 448 стр.

Рецензируемая работа А. И. Ефимова, в которую включен материал и двух ранее опубликованных им книг[1], представляет собой объемистый труд, затрагивающий широкий круг вопросов, построенный на большом и разнообразном материале. Термином «художественная речь» здесь охватывается язык не только художественной литературы, но и тех произведений публицистики, которые представляют художественную ценность и поэтому требуют особого внимания с точки зрения стилистической. Такое расширение круга исследуемого материала представляется вполне правильным и плодотворным. К рассмотрению поставленных вопросов А. И. Ефимов подходит без предвзятого скепсиса (как это за последнее время имело место в целом ряде статей по стилистике), и стилистические явления (в частности, стили речи и стили литературы) он рассматривает как реальные факты языка, отмечая в то же время всю их сложность и взаимопереплетенность. Вполне правильно поступает А. И. Ефимов, не противопоставляя стилистику художественной речи стилистике общенародного языка, а считая ее, напротив, существеннейшей составной частью последней и подчеркивая важность языковедческого анализа стиля писателя.

В книге поднято много новых вопросов, и несомненной заслугой автора является, в частности, то большое внимание, которое он уделяет стилистическим возможностям общеупотребительной лексики; обычно, как он справедливо отмечает, изучение этой лексики заслоняется в исследованиях интересом ко всякого вида инородным по отношению к ней лексическим элементам — архаизмам, варваризмам, диалектизмам и т. п. Ценно, что в круг вопросов стилистики художественной речи автор включает «стили произношения и их изобразительную роль», посвящая им отдельную главу. Большой материал конкретных наблюдений и ряд оригинальных соображений читатель найдет в грамматических главах книги; в последней из них рассмотрен и мало изученный вопрос — «стилистические функции пунктуационных знаков». Безусловно положительной оценки заслуживает также стремление автора подходить к фактам стилистики исторически, что находит выражение в многочисленных исторических экскурсах. В книге А. И. Ефимова филолог — как лингвист, так и литературовед — найдет немало интересных наблюдений и соображений и большую пищу для размышлений.

Естественно, что в труде, представляющем опыт построения стилистики художественной речи, найдутся и недостатки, отражающие общее состояние в разработке вопросов стилистики. Первый из них — это неразграниченность задач общей стилистики, с одной стороны, стилистики конкретного национального языка и языка его художественной литературы, с другой. Из-за этой неразграниченности в работах по стилистике разных национальных языков не только дублируется многое (определения понятий, описание одних и тех же явлений, встречающихся в разных языках, как, например, все виды тропов), но и остаются невыделенными черты, специфические именно для данного языка: ведь если определение метафоры остается одинаковым для разных языков, то в понятие инверсии, например, вкладывается различное содержание в зависимости от характера порядка слов каждого данного языка. Пока не продвинется сопоставительное изучение конкретных языков (в синхронном разрезе), притом не только изучение их грамматики, но и лексики, до тех пор нельзя будет и изжить этот недостаток работ по стилистике отдельных языков.

Книга А. И. Ефимова построена на материале русского языка, и та художественная речь, стилистика которой здесь имеется в виду,— это русская художественная речь. Применительно к ней автор ставит и пытается разрешить некоторые задачи общей стилистики. Интересы последней страдают при этом в несравненно меньшей степени, чем интересы стилистики русской, поскольку ее специфические черты — особенно в об-

---

[1] А. И. Ефимов, Об изучении языка художественных произведений, М., 1952; его же, О языке художественных произведений, М., 1954.

ласти лексики — могли бы быть установлены путем сопоставления с другими (на первых порах — хотя бы с немногими и односистемными) языками. А. И. Ефимов в главах своей книги, посвященных лексике и фразеологии, много говорит о меткости и гибкости русского языка, ссылаясь на интересные и многочисленные суждения по этому поводу русских классиков (в частности, на замечания об особом характере добродушия и юмора, свойственном русскому языку), но дальше этого не идет. Не использует он и тех немногочисленных работ по стилистике иностранных языков, какие существуют в нашей научной литературе. Конечно, специфика грамматических средств каждого данного языка и специфика их стилистического использования так велики, что практически отсутствие сопоставлений с другими языками обычно не влечет к ошибкам, но убедительность наблюдений над лексико-стилистическими явлениями, как характерными для определенного языка, значительно понижается.

Другой недостаток, свойственный большинству работ по стилистике, в том числе и рецензируемой книге,— это отсутствие определений для самых основных понятий, которые в процессе изложения встречаются постоянно,— таких, как «образ», «образность», «выразительные средства» и т. п. Эти слова употребляются и А. И. Ефимовым и другими авторами так, как будто смысл их подразумевается сам собой, а между тем, как явствует из контекста, содержание, вкладываемое в них, настолько емко, что оказывается расплывчатым. В силу этого, например, определение такого основного понятия, как «речевая экспрессия», оказывается при всей его многословности тавтологическим («Под экспрессией понимаются выразительно-изобразительные качества речи, которые отличают ее от обычной, стилистически нейтральной, делают речевые средства яркими, образными, эмоционально окрашенными»—стр. 82). «Образ»— один из терминов, наиболее популярных в литературоведении, но достаточно неопределенный и там — независимо от того, применяется ли он к персонажу или к месту действия или еще к чему-либо,— должен был бы в стилистике иметь несколько иное терминологическое значение,— поскольку здесь он применяется к гораздо меньшим единицам содержания, к деталям в характере персонажа, в его переживаниях или же в обрисовке пейзажа. А. И. Ефимов же, говоря о мастерстве писателей, многократно и настойчиво подчеркивает их умение «сливать слово с образом». Но поскольку в литературном произведении образ всегда выражен словами и только на их основе существует для читателя, эта так часто повторяемая формула ничего и не раскрывает. Что же касается «образности», «образной речи», то автор, в соответствии с существующей традицией, понимает ее в очень ограниченном, зато, правда, вполне определенном смысле. Сделав сперва оговорку о том, что «образность языка художественных произведений создается при помощи весьма различных речевых средств и приемов их употребления», он непосредственно вслед за этим высказывает более категорическое суждение: «Однако основным и наиболее характерным средством является обычно использование в словах их переносно-фигуральных значений» (стр. 48). А далее в короткой главке, рассматривающей «художественно-эстетические качества образного языка литературных произведений» (стр. 48—53), автор затрагивает лишь случаи метафорического словоупотребления, оставляя тем самым за пределами исследования всю область использования прямых номинативных значений слова при создании образов и образности речи. Неслучайно, по-видимому, и в главах о лексико-семантических средствах стиля так редки примеры из прозы Пушкина, Лермонтова, Тургенева, т. е. из прозы, где преобладает вещественно-точное слово. Вопрос о самом трудном виде мастерства — о мастерстве простоты и точности повествования и описания — остается не только не затронутым, но даже не названным.

А. И. Ефимов совершенно справедливо критикует те литературоведческие исследования, где лишь бегло и кратко говорится о своеобразии языка писателя и где «обычно фигурируют общие и избитые фразы о простоте, ясности и сочности языка» (стр. 29). Сам он, лингвистически точно и подробно характеризуя те или иные стилистические приемы писателя, при оценке их художественного эффекта постоянно пользуется, однако, очень однообразным и мало выразительным набором слов — таких, как «меткость», «гибкость», «выразительность», «красота языка». Спору нет, что данные качества присущи авторам, о которых идет речь, но авторы эти — зачастую очень разные, и хотелось бы более уточненной для стиля каждого из них, индивидуализированной, хотя бы и менее пышной характеристики.

В понятие «художественная речь» автор вкладывает лингвистический смысл, и это плодотворно прежде всего потому, что способствует конкретности анализа явлений. Но при этом явно недостаточно учитывается эстетическая функция языка в художественном произведении и его обусловленность общим художественным методом автора, вопрос о котором не может быть решен целиком в лингвистическом плане. Понятие речевой экспрессии не покрывает эстетической функции языка, а маленькая главка о речевой экспрессии и эстетике слова (стр. 93—97), имеющая скорее декларативный характер, не решает дела.

Пробелом в книге следует признать отсутствие отдельной главы о поэтической речи, все особенности которой — и лексико-семантические, и морфологические, и синтаксические — настолько специфичны по своему качеству и по эстетической функции, что

требуют специального рассмотрения. Здесь же возникает и лингвистический вопрос (слишком часто, правда, получавший дилетантское решение) о связи форм стиха со спецификой звукового строя языка. Изучение всего этого круга вопросов — задача, конечно, сложная, но без попытки серьезного ее рассмотрения характеристика художественной речи остается неполной. Отдельные же, разбросанные по книге, сами по себе интересные наблюдения над особенностями отбора и употребления слов в поэзии, а также замечания о поэтическом синтаксисе фрагментарны и явно недостаточны.

А. И. Ефимов широко пользуется (и это вполне правомерно) понятием стилей применительно и к общенародному, и к литературному языку. Однако его классификация стилей и элементов словарного состава, а также способ определения стилистической принадлежности отдельных слов и грамматических форм оставляют чувство неудовлетворенности. В отношении как общенародного, так и литературного языка он ограничивает свою классификацию стилями книжно-письменного характера (стили художественно-беллетристические, общественно-публицистические, стили научного изложения, производственно-технические, официально-документальные, эпистолярные), соответствующими определенным жанрам книжно-письменного материала и совпадающими в общенародном и литературном языке, только перечисляемыми в разной последовательности применительно к каждому из них (стр. 19 и 39—40); устные же формы, даже такие организованные, как ораторская речь, остаются за пределами стилистической классификации. В языке общенародном, параллельно с жанровыми стилями, автор выделяет еще стили «эмоционально-экспрессивные» (приподнято-торжественный, нейтральный и сниженный, или фамильярный,— см. стр. 21) и «социально-речевые» (см. стр. 21—23). С применением здесь термина «стиль» нельзя согласиться, ведь эмоционально-экспрессивные «стили» часто сменяются в пределах конкретной речи или произведения, зачастую очень неустойчивы, и правильнее говорить здесь, как это делает, например Э. Г. Ризель в своем «Очерке немецкой стилистики»[1], о разных «стилевых окрасках», или «оттенках», подчеркивая тем самым особое качество этого явления. Что же касается «стилей» социально-речевых, то они еще менее отвечают понятию стиля как устойчивой системы отбора и организации речи. К тому же, хотя эти стили и даны автором применительно к языку литературному, фактически, как явствует из примеров (см. стр. 22—23), они целиком относятся к языку художественной литературы и представляют не что иное, как социально-речевые характеристики отдельных литературных персонажей, отражающие в той или иной степени устно-разговорные, просторечные или диалектные и т. п. формы речи.

В пределах «художественной речи», т. е. прямого объекта своего исследования, А. И. Ефимов специально не выделяет стилей, оперируя очерченными ранее понятиями жанровых, эмоциально-экспрессивных и «социально-речевых» стилей или отдельных их элементов. Зато он в словарном составе языка произведений художественной литературы и публицистики выделяет шесть «основных лексических серий», соответствующих жанровым разновидностям стилей (только опять в другом порядке), а именно: «1) общественно-публицистическую, 2) художественно-поэтическую, 3) профессионально-техническую, 4) научно-терминологическую, 5) литературно-критическую, 6) официально-документальную» (стр. 198). Но поскольку каждая жанровая разновидность стиля представляет систему определенным образом отобранных и организованных речевых средств общенародного языка, постольку отнесение к той или иной «лексической серии» оказывается бесспорным лишь для сравнительно ограниченного числа специфических слов, а в ряде случаев одно слово может быть отнесено к нескольким сериям (скажем, слово *роза*, к которому, как отмечает А. И. Ефимов на стр. 128, часто прибегает поэт-лирик, но которое в труде по ботанике может быть применено и как термин). Поэтому автор в своих попытках установления принадлежности того или иного слова к «лексической серии» или — тем более — «к социально-речевым стилям», наконец, к предметно-тематическим рубрикам, сталкивается с большими затруднениями (особенно когда речь идет об общеупотребительных словах) и делает спорные или непоследовательные заключения. Так, например, он на стр. 293 относит к «терминам крестьянского быта» слова *мед*, *мельница*, *нива*, *ручьи* (употребленные Салтыковым-Щедриным, правда, в фигурально-метафорическом значении), а на стр. 294 относит к числу слов «военного характера» слово *генерал* (в сочетании *литературный генерал*) и тут же, через несколько строк, иллюстрирует «объединение книжного и предметно-бытового слова» таким примером, как *солдат-литератор*.

Подобных случаев спорной или прямо произвольной «стилистической» характеристики отдельных слов, фразеологических сочетаний и даже грамматических форм в книге довольно много. Так, на стр. 278 выражение *жалкие слова* отнесено к художественно-беллетристической фразеологической серии, на стр. 359 формы *много умнее*, *много красивее* определяются как разговорно-просторечные. На стр. 327 читаем: «Преимущественно в научно-технической речи употребляется суффикс *-ор* (*изолятор*, *инкубатор*). Это же можно сказать о суффиксе *-ун* (*ползун*, *шатун*)». А как же определить слова

[1] E. Riesel, Abriß der deutschen Stilistik, M., 1954.

с суффиксом *-ун* — *болтун, лгун, шалун,* вовсе не относящиеся к технике, и другие того же типа? Корни самоочевидной зыбкости подобных стилистических приурочений— в стремлении автора определить стилистическую принадлежность любого слова, любой формы, при недостаточном внимании к той сложности, какую представляет сочетание разнообразнейших элементов любого стиля и которая не позволяет столь легко выяснить стилистический «паспорт» каждого отдельного элемента, применяемого в разных стилях.

Точности стилистического анализа вредит иногда допускаемое автором смешение стилистической роли и номинативного значения словесных средств, создающих тот или иной «образ». Это наиболее резко сказывается в главе «Речевые средства юмора и сатиры» (стр. 61—71), где в ряде используемых примеров дело сводится чаще всего к выбору слов и сочетаний слов с такими номинативными значениями, которые наиболее прямо выражают данное содержание, и к наличию известной фамильярно-бытовой окраски (см. в особенности пример из «Мертвых душ» на стр. 69). Приводимый же на стр. 63 пример (начало X главы «Евгения Онегина») по своему характеру представляет образец не столько сатиры, сколько высокого и прямо обличительного пафоса.

Возражения не принципиального, а скорее методического порядка вызывает структура книги, последовательность ее глав. В ней затрагиваются три основные группы проблем: 1) общеметодологические (определение важнейших понятий, связанных со стилями и с языком художественной литературы), 2) лексикологические и фразеологические и 3) грамматические. Между тем только вопросы, связанные с грамматическими выразительными средствами, даны в прямой последовательности последних пяти глав, первые же две группы проблем даются вперемешку: после трех глав, посвященных общим понятиям стилистики, идет глава о метафоризации значений, затем вклинивается глава «Стили произношения и их изобразительная роль», которая должна была бы либо предшествовать главам о лексике, либо стоять в самом конце; затем следуют главы «Писатель и общенародный язык» и «Работа писателя над языком своих произведений», имеющие более общий методологический характер, и лишь после этого автор возвращается к лексикологическим темам. Определение речевой экспрессии должно было бы быть дано значительно раньше, т. е. в первой же главе, а вопрос о ней ставится только в третьей. Точное определение понятий «язык писателя» и «слог писателя» тоже дается очень поздно (стр. 166 и сл.), а между тем автор часто пользуется ими и раньше, обычно употребляя их вместе, как некое парное устойчивое сочетание. Что касается предложенной А. И. Ефимовым (еще в предыдущих его работах) замены старым термином «слог» термина «индивидуальный стиль писателя», то ее можно признать целесообразной, поскольку она позволяет избежать дублирования слова «стиль». Насколько привьется эта замена, покажет терминологическое словоупотребление в работах ближайших лет.

В своем стремлении охватить всю область стилистических явлений художественной речи, автор постоянно ставит новые вопросы и задачи, называя их «интересными» или «особыми», но в ряде случаев только коротко формулирует их и, не задерживаясь, сразу же переходит к другим темам. Иногда это придает изложению характер своеобразного перечня или каталога проблем стилистики.

Недостатком изложения является очень неравномерная степень его насыщенности иллюстративным материалом. Если в некоторых главах (особенно в грамматических) показан огромный конкретный материал, интересный всегда, даже если толкование его и спорно, то другие (в частности, первые) главы книги намного беднее им и тем самым производят более схематическое впечатление.

Автор злоупотребляет словом *закономерность*, которое применяет по поводу очень многих упоминаемых им стилистических явлений и в ряде случаев не поясняя, в чем данная закономерность состоит. А между тем, как показывает пример удачного исторического экскурса по поводу метафорического употребления слова *гнездо* (в заглавии тургеневского «Дворянского гнезда»), в это ответственное понятие мог бы быть вложен вполне конкретный и убедительный смысл — взамен того декларативного характера, который ему легко может приписать читатель.

Книга в целом написана достаточно ясным и богатым языком, которому в отдельных местах вредят частые повторения одних и тех же «устойчивых» сочетаний слов (вроде «великий сатирик»— о Щедрине, «великий критик»— о Белинском) или метафорических формул (вроде «сливать слово с образом»). Простоте и строгости научного изложения, желательной и в труде о художественной речи, вредит перифрастическое многословие по поводу общеизвестных фактов (например, на стр. 151 о Пушкине: «Его няня, Арина Родионовна, прекрасно знавшая русские сказки, умело вводила одаренного мальчика в мир родных звуков и красочной народной фантазии») или известная примитивность оценочных средств, используемых автором в суждениях о давно установленных бесспорных ценностях (например, когда он на стр. 232 хвалит Пушкина за письмо Татьяны: «Но как пламенный патриот, „родной земли спасая честь", поэт все же написал его русским языком и написал так хорошо, такими обаятельными словами и выражениями, что оно поразило современников»).

Как лексикографическую неточность следует отметить приведенную на стр. 229 форму слова *махать*, которое «в салонном жаргоне XVIII века употреблялось в зна-

чении *кокетничать, волочиться*». В таком значении употреблялась возвратная форма этого глагола, т. е. слово *махаться*.

Неудачна формулировка (на стр. 311), касающаяся обязательного употребления формы мужского рода при обозначении общественного положения или должности, занимаемой женщинами: «Когда же речь идет о выдающихся женщинах, героях, лауреатах, то принято пользоваться формами мужского рода, например: *Герой Советского Союза, депутат Верховного Совета, директор, прокурор, начальник станции* такая-то и т. д.». Но подобная редакция допускает и такое истолкование, как будто о женщине не выдающейся даже в нейтральной форме речи можно сказать *директорша, прокурорша, начальница*.

В книге есть и совсем мелкие, тем не менее досадные примеры неточности и небрежности. На стр. 92 знаменитое своей безглагольностью стихотворение Фета «Шопот, робкое дыханье» приписано Тютчеву, а на стр. 86 отрывочек из диалога между Обломовым и Захаром, имена которых упоминаются в приводимых ремарках, оказывается взятым из ...«Обрыва». Всего этого не должно было бы быть в такой серьезной книге.

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что построение стилистики художественной речи, так же как и стилистики общенародного языка остается еще задачей, подлежащей разрешению — задачей сложной и трудоемкой. Но самое появление книги А. И. Ефимова, при всех отмеченных недостатках и пробелах, при всей спорности ряда положений и излишней поспешности некоторых обобщений, следует приветствовать как свидетельство большой работы, уже ведущейся в области стилистики и постепенно движущей дело ее изучения вперед, заставляющей думать и спорить о множестве трудных вопросов.

А. В. Федоров

John. B. Carroll. **The study of language.** A survey of linguistics and related disciplines in America.— Cambridge, Harvard univ. press, 1953. XI, 289 стр. Библиогр. стр. 246—268.

Книга Джона Кэрролла «Изучение языка» представляет собой критический обзор современного состояния тех научных дисциплин, которые занимаются изучением языка, речи и вообще средств общения. Кроме лингвистики, к числу этих дисциплин относятся, например, теория информации, психология, а также философия и антропология. Подходу этих наук к изучению языка и речи, их методам и достигнутым результатам отводятся отдельные главы книги.

Первая после введения глава посвящена лингвистике. Язык, по мнению Кэрролла,— это структурная система произвольных звуковых знаков и последовательностей звуковых знаков, выполняющая коммуникативную функцию в человеческом коллективе и довольно полно перечисляющая предметы, события и процессы внешнего мира. Это определение исключает из рассмотрения лингвистики все, что не является звуковым языком, т. е. «язык жестов», «письменный язык» и всякого рода системы научных обозначений. Следовательно, оказывается, что язык входит в семиологическую систему, но занимает в ней особое место.

Задача лингвистики формулируется Кэрроллом также в соссюровском плане: лингвистика изучает языковую систему, «языковой код» («la langue»), который следует отличать от манифестации этой системы в языке отдельных индивидов («la parole»). Автор при этом ссылается на труды современных менталистов и дескриптивистов — Э. Сепира, Л. Блумфилда, З. Харриса, Б. Блоха, Дж. Трейджера и др. В этой же главе дается краткий обзор истории лингвистики от античной Греции до наших дней.

Основными разделами лингвистики автор считает фонетику, фонологию, морфологию, морфонологию, синтаксис и лексикологию. При этом данные разделы могут изучаться синхронно (дескриптивная лингвистика) и диахронно (сравнительно-историческая лингвистика). Приемы и методы дескриптивной лингвистики рассматриваются отдельно и весьма подробно. Автор явно стоит на позициях этого лингвистического направления, хотя и возражает иногда некоторым из дескриптивистов по отдельным вопросам. Кэрролл считает, что дескриптивная лингвистика в настоящее время имеет устоявшуюся методологию, на основе которой удалось сделать лингвистику точной гуманитарной наукой.

Приемы дескриптивного анализа, применяемые в различных областях языкознания— в фонетике, фонологии, морфологии и синтаксисе, Кэрролл описывает по отдельности, сопровождая изложение многочисленными ссылками на существующие работы.

Довольно много места в главе, посвященной лингвистике, уделяется сравнительно-историческому методу. По мнению автора, этот метод является необходимым для общей лингвистики: к нему обращаются даже дескриптивисты. В то же время Кэрролл указывает и на недостатки сравнительно-исторического метода: он бессилен, если не располагает достаточным количеством письменных памятников. Автор считает, что соединение срав-

нительно-исторического и дескриптивного методов дало бы весьма продуктивные результаты.

Относительно подробно описаны попытки статистического подхода к языку. Количественные характеристики языка выявлялись учеными различных специальностей — лингвистами, статистиками, психологами. Известны работы Ч. Хоккетта, И. Гринберга, М. Сводеша, Э. Торндайка, Г. Ципфа, У. Юла и др. Однако автор выражает сомнение в том, что изучение частотности языковых категорий может способствовать изучению структуры языка, так как частотность —категория, относящаяся не к языку («la langue» в соссюровском смысле), а к речи.

Следующая — третья — глава книги Кэрролла посвящена проблеме взаимоотношения лингвистики и психологии, точнее — той отрасли психологии, которая изучает речевую деятельность человека. Автор дает обзор взглядов на язык наиболее известных психологов и взглядов на психологию наиболее известных лингвистов. Выясняется, что несмотря на то, что лингвистика и психология по-настоящему не объединяли результатов своих исследований и не обогащали друг друга, у них много общих проблем. Поэтому между данными научными дисциплинами должна быть установлена самая тесная связь. В последнее время наметилось их сближение на основе увеличения интереса к теории речевой коммуникации. Кэрролл излагает содержание многочисленных произведенных в последнее время опытов, связанных с определением количества информации в речи, избыточности речи и пр. Все подобные опыты основаны на теории информации Шеннона, плодотворность применения которой для лингвистики и психологии становится все более очевидной.

Четвертая глава книги озаглавлена «Лингвистика и общественные науки». Автор указывает на связь лингвистики с антропологией, этнографией, социологией и т. д. Кэрролл отмечает, что нельзя изучать историю и культуру народа, не привлекая к изучению его язык и, наоборот, нельзя изучать язык в отрыве от истории народа. Тесная связь лингвистики с общественными науками породила своеобразные прикладные отрасли лингвистики. Это — создание письменности для бесписьменных народов, составление словарей, международных искусственных языков и пр.

В следующей главе — «Лингвистика и философия»— Кэрролл дает довольно краткий критический обзор взглядов философов и логиков, особенно современных неопозитивистов Р. Карнапа, Э. Кассирера и др., на проблемы знаковости языка, значения слова, связи слов, понятий и вещей. Кэрролл считает, что многие из этих основных проблем остаются неразрешенными, потому что исследователи не учитывают данных психологии.

Шестая глава книги посвящена роли языка в обучении и образовании. Основная мысль автора по этому вопросу: обучение языку, родному и иностранному, должно основываться на достижениях лингвистической теории. Кэрролл приводит взгляды видных лингвистов, например Л. Блумфилда, на методику преподавания языка. Перечисляется и кратко рассматривается большое количество учебников английского языка. Описывается система образования в Америке. Эта глава может быть интересна педагогам.

В седьмой главе, посвященной применению теории коммуникации и теории информации к изучению речи, Кэрролл кратко, но очень обстоятельно, ясно и доступно излагает основы этих теорий. Вводятся понятия пропускной способности канала, избыточности, меры информации и пр. В качестве примера применения теории информации к изучению языка рассматривается работа Р. Якобсона, Г. Фанта и М. Халле «Введение в анализ речи» («Preliminaries to speech analysis»). Рекомендуется литература по вопросам кибернетики, например книги Н. Винера («Cybernetics» и «The human use of human beings»). В этой же главе перечисляются и описываются существующие аппараты для анализа и синтеза звуков речи. Кратко обсуждаются лингвистические проблемы, возникающие при машинном переводе.

В восьмой главе дан список американских лингвистических, филологических и философских организаций, журналов и других периодических изданий.

Последняя глава книги подводит итоги обзору развития лингвистики и смежных с ней наук. Кэрролл считает, что, хотя уже достигнуты значительные результаты, многое в изучении языков еще не сделано. Для успешного развития лингвистики в будущем необходимо, чтобы специалисты-языковеды были компетентны в широкой области общественных и естественных наук; при этом основным их профилем должна быть теория информации.

В конце этой работы имеется обширная библиография (приблизительно 530 названий) по языкознанию и смежным дисциплинам. Критико-библиографический характер книги Кэрролла и популярное изложение делают ее, с одной стороны, удобным справочником, с другой — своеобразным вводным пособием для специалистов в области различных отраслей знания, заинтересованных в изучении языка и речи, но не являющихся лингвистами.

Т. Н. Молошная

Kurt Baldinger. Die Semasiologie. Versuch eines Überblicks (Vorträge und Schriften [Deutsche Akad. der Wiss. zu Berlin], Hf. 61).— Berlin. Akad. Verlag, 1957, 40 стр., 1 л. табл.

Книга «Семасиология» немецкого ученого К. Балдингера, известного исследователя в области лексикографии и семантики, состоит из трех основных разделов: 1) истории семасиологии до 1900 г., 2) описания семасиологии XX в., 3) изложения позитивной концепции самого исследователя. К ней прилагаются таблицы «Структура языкознания» и «Синоптическая таблица развития языкознания, начиная от эпохи романтизма».

Как указывает сам автор, большое влияние на его взгляды относительно сущности семасиологии как лингвистической дисциплины оказали последние работы С. Ульмана и Х. Кронассера [1]. Однако в целом взгляды К. Балдингера во многом сложились под непосредственным воздействием школы де Соссюра и трудов Л. Шпитцера и Л. Вейсгербера.

Говоря о развитии семасиологии до 1900 г., К. Балдингер в первую очередь останавливается на трудах С. К. Райзига, М. Бреаля и Ф. Хеердегена, подробно характеризуя также и психологическое направление в изучении семантических изменений — работы В. Вундта, М. Гехта, О. Гея и др. Заканчивается этот раздел анализом лингвофилософии А. Марти.

Основными тенденциями развития лингвистики XX в. К. Балдингер считает перенесение основного внимания исследователей со звука на целое слово (создание лингвистических атласов Ж. Жильерона, Э. Венкера и т. д.) и с отдельного явления на всю структуру (учение Ф. де Соссюра, создание научной лексикографии). В связи с этим К. Балдингер выдвигает положение о замене прежнего одномерно-линеарного метода изучения языка двухмерно-структурным и трехмерно-историческим методами.

Переходя к анализу современного состояния семасиологии, автор характеризует язык как совокупность конвенциональных знаков, имманентных в языке и актуализированных в речи, полностью присоединяясь к учению о знаковой сущности языка. Новое в языке и речи, по мнению К. Балдингера, имеет своим источником лишь творчество отдельного индивидуума. Каждый языковой знак опирается на три основных компонента: 1) слово, 2) понятие, т. е. «рефлекс вещи на плоскость мышления», 3) обозначаемый предмет.

Наиболее важным явлением в современной семасиологии автор считает конец атомистической семасиологии, переход к системному изучению семантических изменений. Этот переход, как утверждает К. Балдингер, открывает путь к двойному — семантико-формальному — изучению ассоциаций, связанных с отдельным словом. Поэтому семасиологию он понимает как учение о закономерностях языка в отличие от стилистики, изучающей индивидуальные проявления речи. «Стилистика есть как бы „семасиология" на плоскости речи», говорит он. Соответственно этому автономность слова на плоскости я з ы к а К. Балдингер считает относительной.

В языке, согласно Балдингеру, различаются три категории слов: 1) непосредственно мотивированные (ономатопоэтические); 2) опосредствованно мотивированные, разделяющиеся на слова с морфологической мотивацией (например, слово *Singer*, обусловленное корнем *sing-* и суффиксом *-er*) и слова с семантической мотивацией (слово *осел* в значении «дурак»); 3) немотивированные слова, составляющие бо́льшую часть словарного состава языка и наиболее сложные для изучения.

Полисемию слов последней категории К. Балдингер считает экономией мысли — выражением малыми средствами большого лексического содержания. Однако, по его мнению, подобная многозначность может привести к «патологической» ситуации, в результате которой произойдет смещение всей выразительной системы языка.

В заключение К. Балдингер останавливается на причинах семантических изменений. Эти причины он разделяет на пять родов: лингвистические, исторические, социальные, психические и физиологические. Какие-либо «закономерности» в семантических изменениях К. Балдингер полностью отрицает, считая каждую лексико-семантическую инновацию продуктом индивидуального творческого акта.

Как уже говорилось выше, к книге прилагаются две таблицы. Первая из них — «Структура языкознания» — представляет собой попытку последовательного разграничения двух видов языкознания — науки о языке и науки о речи. Соответственно этому К. Балдингер, выделяя явления языка и речи, находит им аналогичные параллели в указанных двух науках. И в языке, и в речи автор видит три стороны: физическую, семантическую и синтаксическую. Согласно с этим звук (физическая сторона речи) изучается фонетикой (частью науки о речи), фонема — фонологией (частью науки о языке). Слово как явление речи относится к лексической стилистике, изучающей индивидуальное словообразование и словоупотребление, а слово как явление языка

---

[1] S. U l l m a n n, Précis de sémantique française, Berne, 1952; е г о ж е, Quelques principes de sémantique générale, «Orbis», t. I, № 1, 1952; H. K r o n a s s e r, Handbuch der Semasiologie, Heidelberg, 1952.

относится к лексикологии, подразделяемой на морфологию (учение о словообразовании) и семасиологию.

Соответственно этому и синтаксическая единица — синтагма — изучается синтаксической стилистикой (рассматривающей индивидуальные конструкции и формы словоизменения) и частью науки о языке — синтаксисом, в котором К. Балдингер выделяет синтаксическую морфологию (науку о формах словоизменения) и синтаксическую семасиологию.

Однако, несмотря на ряд интересных построений, некоторые положения, выдвинутые К. Балдингером, вызывают замечания. Прежде всего, это взгляд автора на индивидуальное происхождение всякой языковой инновации, выработавшийся под непосредственным воздействием идей К. Фосслера. Трудно также согласиться и с неогумбольдтианским взглядом на язык как на своеобразный национальный аспект миропонимания; подобной точки зрения, вслед за Л. Вейсгербером, придерживается и К. Балдингер.

Несколько искусственной кажется и таблица «Структура языкознания», где, на наш взгляд, преувеличенное значение придается науке о речи, в частности индивидуальной морфологии и синтаксису, выделенным как самостоятельные лингвистические дисциплины. Некоторые возражения вызывает «Синоптическая таблица развития языкознания...». В ней почти нет указаний на работы многих ученых, в частности полностью отсутствуют сведения о современных работах по компаративистике. Она слишком кратка для того, чтобы представить хотя бы в сжатом виде историю языкознания, и излишне подробна для истории семасиологии.

Этот недостаток характерен для всей книги, которая, как нам кажется, мало специализирована. Несмотря на то, что автор подробно говорит о смежных дисциплинах — лингвофилософии, психологии и логике, в книге мало анализируются чисто семасиологические труды — Й. Трира, Х. Шпербера, Э. Дорнзейфа, Г. Стерна и многих других. Однако в целом «Семасиология» К. Балдингера представляет несомненный интерес как попытка сжатого изложения достижений современной семасиологии.

Т. М. Николаева

Harry H. Josselson. **The Russian word count and frequency analysis of grammatical categories of standard literary Russian.** — Detroit, Wayne univ. press, 1953. 274 стр.

После незаслуженно забытой работы В. Ф. Чистякова и Б. К. Крамаренко [1] книга Гарри Йосселсона является новой попыткой систематического обследования лексики современного русского литературного языка при помощи лингвистической статистики. Задачи исследования состоят в том, чтобы, с одной стороны, составить частотный словарь наиболее употребительных русских слов (вторая часть книги), а с другой, проанализировать употребительность различных грамматических категорий (первая часть книги).

Расчеты проводились при помощи счетной машины. В связи с этим каждое словоупотребление зашифровывалось на особой карточке. При достаточной экономности (до 22 знаков) кодовое число передает основные характеристики слова. Оно указывает на текст, из которого взято слово, на его место в словаре Ушакова, на жанрово-стилистические и хронологические приметы слова и, наконец, на его грамматические характеристики (от 2 до 7). Такой метод кодирования дает возможность пользоваться картотекой Йосселсона и при машинном переводе русских текстов. Всего подсчитано 506 044 словоупотреблений, охватывающих 41 115 разных слов, из которых в частотный словарь внесено 5230 слов, размещенных по мере убывания частотности в 6 списках.

Таким образом, по объему обследованного материала словарь Йосселсона уступает словарям Кединга (11 млн. словоупотреблений) и Вандер-Беке (1200 тыс. словоупотреблений) [2], приближаясь к словарям Хенмона, Оса и Брауна, опирающимся на 400—500 тыс. словоупотреблений [3]. Словарь Йосселсона охватывает разные хронологические этапы, а также стили и жанрово-тематические слои русского литературного языка. В списках II—VI частотность каждого слова дается относительно трех периодов (XIX в., 1900—

---

[1] В. Ф. Чистяков и Б. К. Крамаренко, Опыт приложения статистического метода к языкознанию, вып. I, Краснодар, 1929.

[2] F. W. Kaeding, Häufigkeitswörterbuch der deutschen Sprache, Steglitz, 1897—1898; G. E. Vander Beke, French word book, New York, 1929.

[3] V. A. C. Henmon, A french word book, based on a count of 400 000 running words, Univ. of Wisconsin, 1924; V. G. Hoz, Vocabulario usual, vocabulario comûn y vocabulario fundamental, Madrid, 1953; Ch. B. Brown, W. M. Carr and M. L. Shane, A graded work book of Brazilian Portuguese, New York, 1945.

1918 гг., с 1918 г. до наших дней), двух форм речи (диалогической и монологической) и трех жанровых типов литературного языка (язык публицистики, язык художественной литературы, научно-деловая речь). Несомненно, указанная схема заслуживает внимания, поскольку она позволяет проследить статистическое поведение слова в разных стилях (жанрах) и в различные периоды истории литературного языка. Однако из-за недостаточного объема статистического материала автор вынужден пользоваться здесь небольшими величинами [1], что противоречит основному постулату статистики, находящему свое выражение в законе больших чисел (теорема Бернулли—Чебышева), и, таким образом, в значительной степени снижает ценность наблюдений автора.

Стремясь к возможно более широкому охвату лексики русского литературного языка, Йосселсон обращается к выборочной обработке материала. С одной стороны, из 148 обследованных текстов, длиной в 1 млн. словоупотреблений, статистическому анализу были подвергнуты лишь отдельные отрывки, составляющие около половины общего объема этих текстов (ср. выше). С другой стороны, практиковался метод исключения слов из дальнейшего подсчета в тех случаях, когда эти слова набирали, по мнению автора, достаточное для включения их в ту или иную группу количество словоупотреблений (ср. стр. 41). При этом число, указывающее на количество текстов, в которых была подвергнута подсчету частотность (F) слова, определяется автором как ранг слова. Такое определение ранга (R) слова вряд ли можно признать удачным, поскольку в этом случае величина R не соотнесена с величиной F (ср. функциональную зависимость R и F в системах Ципфа и Гиро). Что касается выборочности подсчетов, то прием этот неприемлем с точки зрения основных принципов лингвостатистики. Ведь связный текст образует единую систему информации, которая может быть вскрыта только путем сплошного подсчета входящих в него слов[2].

Нельзя полностью согласиться с выбором, а иногда и использованием анализируемых текстов. Во-первых, не до конца продуманы жанрово-тематические и хронологические принципы их отбора. Внешне дело обстоит как будто вполне благополучно: 25% текстов падает на XIX в., 25% — на начало XX в., 50% текстов охватывает литературу советского периода (после 1917 г.). В действительности среди писателей XX в. слишком большой удельный вес занимают авторы, для языка которых характерно подчеркнутое стилистическое новаторство, выражающееся то ли в словотворчестве, то ли в необычном словупотреблении, то ли в использовании архаизмов, просторечных и диалектных слов (например, Андреев, Белый, Зощенко, Леонов, Пильняк, Панферов, Шишков). Более точную картину частотной структуры русской лексики дает преимущественный анализ языка таких авторов, как Лермонтов, Чехов, Куприн, Павленко, В. Некрасов (произведения последних двух авторов вообще не использованы при составлении словаря).

В словаре слабо отражена советская драматургия, которая служит автору основным источником для знакомства с современным разговорным языком. Отсутствуют поэтические тексты, между тем как статистический анализ стихов таких авторов, как Некрасов, Симонов, Сурков, Антокольский, ориентирующихся на литературно-разговорную речь, был бы в такой работе вполне уместен.

Во-вторых, случается, что шкала частотности выводится на основании статистического анализа малого количества текстов — так, например, 1-й список (204 наиболее употребительных слова) составлен в результате анализа всего лишь 10 произведений.

Указанные недостатки в лингвистической и статистической методике отразились, по нашему мнению, в следующих погрешностях словаря:

1. Ожидаемая и реальная частотность многих слов дает расхождения, значительно превышающие допустимые в лингвостатистике отклонения. На это указывает сам автор (ср. его цифровые данные на стр. 28—29).

2. В частотном словаре Йосселсона немало таких слов, которые трудно отнести в разряд «ходовых слов русского литературного языка». Ср. *господин*, *сей* (2-й список, включающий слова с наибольшей частотностью), *мужик*, *царь* (3-й список), *верста*,

---

[1] Ср., например, частотную характеристику некоторых слов в списке VI:

Слово	Общая частотность	Хронология			Жанры					
		1830—1900	1900—1918	1918	Публицистика		Художеств. литература		Научно-деловые тексты	
					разг.	неразг.	разг.	неразг.	разг.	неразг.
воск	14	3	5	6	1		1	11		1
впадать	13	5	2	6	1	1	2	6		3

[2] Ср. B. Mandelbrot, Structure formelle des textes et communication, «Word», vol. 10, № 1, 1954.

господи! (4-й список), *ежели*, *купец* (5-й список), *башмак*, *жалование*, *ихний*, *побрать* (6-й список) и т. д., всего мы насчитали около 200 слов этого типа. Вместе с тем в словаре отсутствуют такие действительно ходовые русские слова, как *атака*, *ботинки*, *ввиду*, *величина*, *включать*, *всемирный*, *зарплата*, *сантиметр* и т. д.

Хотя при анализе употребительности грамматических категорий Йосселсон шел по пути, намеченному его предшественниками — Чистяковым и Крамаренко,— проведенная статистическая систематизация позволила ему сделать ряд наблюдений, которые представляют интерес для грамматической стилистики русского языка. Ср. следующие жанровые соотношения в употреблении некоторых грамматических категорий [1].

Грамматическая категория	Разговорная (диалогическая речь)	Неразговорная (монологическая речь)
Именные формы глагола	1.5	6.0
Частицы	18.3	4.5
Сравнительная и превосходная степени прилагательных	4.9	2.1
Глаголы в настоящем времени	68.2	33.6
Глаголы в прошедшем времени (соверш. вид)	56.6	91.7
Глаголы в будущем времени (соверш. вид)	43.4	8.3

Несомненно, что в тех случаях, когда подобный статистико-стилистический анализ [2] проводится на значительном по объему и тщательно отобранном языковом материале, представляется возможным выявить твердые критерии как для стилистической квалификации отдельных языковых единиц, так и для определений границ речевых и языковых стилей, в которых так нуждается стилистика [3].

Интересен математический анализ распределения плотности слов, обладающих малой частотностью в «Капитанской дочке». Для слов с частотностью 3 функция плотности монотонно возрастает в начале и в конце текста, причем перегиб кривой (наименьшая плотность) происходит на средних участках текста. Напротив, плотность слов с частотностью 4 и 5 постепенно убывает к концу текста. Эти факты в определенной степени перекликаются с характерными для стиля и композиции Пушкина статистическими закономерностями, которые были обнаружены Д. Благим [4].

В заключение следует отметить, что, несмотря на имеющиеся недостатки, работа Г. Йосселсона несомненно привлечет внимание историков русского литературного языка, а также специалистов в области машинного перевода, стилистики и методики преподавания. Вместе с тем она является стимулом к дальнейшему статистическому исследованию русского языка.

Л. А. Новак и *Р. Г. Пиотровский*

---

[1] Приведенные цифры являются процентными величинами. Они заимствованы из разных таблиц и поэтому соотносятся лишь по горизонтали. Последние два ряда соотнесены также и по вертикали.

[2] О методах стило-статистики см. G. Herdan, Language as choice and chance, Groningen, 1956, стр. 12 и сл.; ср. также: P. Guiraud, Les caractères statistique du vocabulaire, Paris, 1954; W. Fucks, Mathematische Analyse von Sprachelementen, Sprachstil und Sprachen, Köln, 1955.

[3] В. В. Виноградов, Итоги обсуждения вопросов стилистики, ВЯ, 1955, № 1, стр. 72—82; ср. также его рецензию на книгу А. Н. Гвоздева «Очерки по стилистике русского языка» (ВЯ, 1952, № 6, стр. 142).

[4] Д. Благой, Мастерство Пушкина, М., 1955, стр. 247—266.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1958

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

КОМИТЕТ ПО ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

При Секции по исследованию речи Комиссии по акустике АН СССР согласно решению совещания по статистике речи создан рабочий Комитет по прикладной лингвистике. В состав комитета входят Н. Д. Андреев (Экспериментальная лаборатория машинного перевода ЛГУ), Ю. С. Быков, Л. А. Варшавский (НИИ Гос. к-та по радиоэлектронике при Совете Министров СССР), С. С. Высотский (Институт русского языка), Р. Л. Добрушин (механико-математический факультет МГУ), Н. И. Жинкин (Институт психологии Академии педагогических наук РСФСР), Л. Р. Зиндер (филологический факультет ЛГУ), В. В. Иванов (филологический факультет МГУ), А. Р. Лурия (Институт дефектологии Академии педагогических наук РСФСР), В. И. Медведев (Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова), Н. Б. Покровский (Военно-инженерн. академия связи), А. А. Реформатский (Институт языкознания АН СССР), В. А. Успенский (механико-математический факультет МГУ и Отдел математической логики и математической лингвистики Лаборатории электромоделирования Всесоюзн. ин-та научной и технической информации Государственного научно-технического комитета при Совете Министров СССР и АН СССР). Председателем комитета является доктор филологических наук профессор Л. Р. Зиндер.

Первое заседание комитета, состоявшееся в Ленинграде 24 января 1958 г., было посвящено обсуждению проблематики прикладной лингвистики. Деятельность комитета будет сосредоточена вокруг следующих семи проблем, которые приобрели особое значение в связи с современным развитием науки и техники: 1) математические методы в прикладной лингвистике, 2) лингвистическая статистика, 3) разработка алгоритмов машинного перевода, 4) экспериментальная фонетика, 5) физиологические и психологические методы в прикладной лингвистике, 6) транскрипция, транслитерация и экспериментальная орфография, 7) искусственные языки и коды. По каждой из этих проблем комитетом разработан перечень конкретных тем, которые являются наиболее актуальными в настоящее время.

В области применения математических методов в прикладной лингвистике первоочередной задачей является развитие теоретико-множественных и логико-математических приемов описания языковой системы, разработка которых начата как советскими учеными (см. «Бюлл. Объединения по машинному переводу», М., 1957, № 1, 3, 5), так и зарубежными специалистами по математической лингвистике и машинному переводу (см., например, из новейших работ статью: F. Harary and H. H. Paper, Toward a general calculus of phonemic distribution, «Language», vol. 33, № 2, 1957, стр. 143—169). Существенное значение имеет проблема использования математических методов при решении грамматических вопросов.

В области лингвистической статистики выдвигаются задачи составления частотных словарей общей лексики русского языка и других языков и лексики отдельных отраслей знания, исследования частот классов слов и грамматических форм, а также вопросы фонетической статистики, к которым относится исследование статистической структуры слова и слога в русском языке, статистика величины изменения и скорости изменения основного тона, статистика скорости нарастания интенсивности различных звуков.

В области машинного перевода основной задачей является составление правил синтаксического анализа. Все исследования по машинному переводу, ведущиеся в настоящее время в Москве и Ленинграде (и начинающиеся в ряде других научных центров страны), связаны с переводом на русский язык или с русского языка; поэтому особое значение имеет составление стандартных правил анализа и синтеза русских предложений. В связи с этим поставлен ряд специальных вопросов (кодификация и алгоритмическое описание правильных трехсловных, четырехсловных и т. д. предложений в русском языке, проблема стандартизованного русского языка). На первый план выдвигается также поставленная проф. А. А. Ляпуновым проблема алгоритмизации правил составления алгоритмов машинного перевода. Специально выделена группа во-

просов, относящихся к исследованию грамматики и фонетики разговорной речи (морфологическая омонимия в разговорной речи, перечень служебных морфем разговорной речи на материале русского и других языков, проблема «фонетического слова»).

В области акустической фонетики комитетом разработана тематика исследований по следующим вопросам: 1) анализ существующих методов определения спектральной и временной структуры элементов речи и разработка требований к основным видам аппаратуры: а) спектральный анализ (ширина полосы, анализируемая величина—мощность, амплитуда, динамический диапазон и т. д.), б) временной анализ—требования к постоянным времени, динамическому диапазону и т. д., в) требования к записывающей и воспроизводящей аппаратуре; 2) рекомендации по составу дикторов для основных видов измерений (статистических, типовых и т. п.); 3) разработка системы акустических признаков фонем: а) разработка рекомендаций определения числа, частот, ширины и интенсивности формант по спектральным картинам, б) разработка системы объективных акустических признаков для всех основных фонетических групп звуков речи, в) восприятие спектральной информации в звуках речи (относительное и абсолютное положение формант, изучение структуры формант с точки зрения ее влияния на восприятие, исследование взаимного влияния областей концентрации энергии спектра на восприятие звуков речи), г) определение типовых спектров звуков русского и др. языков; 4) определение ключевых звуков (т. е. звуков, остающихся после выделения избыточных элементов речи) русского и других языков: а) классификация фонем в зависимости от стиля произношения, б) степень изменения звуков в беглой речи и связь их с фонемами, в) группы фонем по степени их стабильности; 5) акустическая классификация гласных и согласных; 6) связь между акустическими и артикуляционными характеристиками; 7) определение перечня главных вариантов (оттенков) фонем русского и других языков; 8) исследование признаков, определяющих естественность речи (значение интонационных, смысловых, громкостных и других соотношений для оценки естественности); 9) исследование характера и значимости переходных явлений в связной речи в разных стилях; 10) слогоделение и структура слога в русском и других языках; 11) структура односложного слова в русском языке; 12) составление русского словаря новых терминов, применяемых в акустической фонетике.

В области применения психологических и физиологических методов в прикладной лингвистике выдвигаются указанные выше проблемы исследования восприятия спектральной информации в звуках речи. В качестве особенно актуальной проблемы комитетом была отмечена задача применения объективных физиологических и психологических методов обнаружения и измерения семантических связей между словами [1].

В области транскрипции, транслитерации и экспериментальной орфографии выдвинуты задачи исследования принципов создания электрочитающих устройств, практической транслитерации русских слов и т. д.

В области создания искусственных языков и кодов поставлены задачи построения абстрактной системы записи научной и технической информации для информационных машин, задача построения языка-посредника для машинного перевода как системы индексов, указывающей на соответствия между языками (такой язык-посредник разрабатывается в настоящее время И. А. Мельчуком). Кроме того, намечается исследование проблемы сопоставительной грамматики искусственных языков, разработка принципов международного терминологического кода, вопросов оптимального кодирования слов и предложений с учетом лингвистических отношений, записи логического содержания предложений.

Составленный комитетом перечень тем, разработка которых намечается на 1958—1959 гг., будет разослан всем заинтересованным учреждениям для получения замечаний, дополнительных предложений, отчетов и планов работы, на основании которых комитет должен составить общесоюзный план координации исследований в области прикладной лингвистики. Письма, планы и отчеты, предназначаемые для комитета, следует направлять по адресу: Ленинград, Университетская набережная, д. 11, ЛГУ, Лаборатория экспериментальной фонетики, председателю Комитета по прикладной лингвистике проф. Л. Р. Зиндеру. Комитет в дальнейшем наряду с разработкой тематических рекомендаций и работой по координации предполагает также организовывать совещания по прикладной лингвистике и публиковать соответствующие сборники. Первая общесоюзная конференция по машинному переводу созывается МГПИИЯ в мае 1958 г. при участии комитета.

В. В. Иванов

---

[1] Работа о новой методике объективного исследования динамики смысловых связей подготовлена проф. А. Р. Лурия и О. С. Виноградовой.

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ РАБОТА НА МЕСТАХ

В ответ на обращение редакции журнала от языковедческих кафедр пяти университетов и от секторов языка девяти периферийных институтов поступили (в течение июля — октября 1957 г.) краткие информации о характере и содержании ведущейся на местах в настоящее время научно-исследовательской работы. Эти информации и послужили материалом для настоящего обзора.

Киргизский государственный университет (г. Фрунзе)[1]. На кафедре *русского языка* по вопросам диалектологии: 1) проводятся экспедиции по изучению говоров старых русских переселенцев в Киргизии (Г. И. Хоролец); 2) начато изучение украинских переселенческих говоров. В области грамматики и лексикологии ведется работа: 1) по сопоставительной грамматике русского и киргизского языков (Н. А. Альпиев); 2) по изучению среднеазиатской лексики в русском, украинском, чешском языках (А. Е. Супрун)[2]; 3) по русскому словообразованию и лексикологии (Г. С. Зенков, А. И. Васильев)[3]; 4) по изучению русских слов в дунганском языке (Х. Бугазов); 5) по разработке темы «Числительные в восточнославянских языках» (А. Е. Супрун); 6) подготовлено пособие для студентов «О русских числительных».

По общему языкознанию (на той же кафедре) прочитаны доклады: а) на конференции —«К проблеме знаковости языка» (А. Брудный) и «К применению в языкознании статистических приемов» (А. Е. Супрун); б) на кафедре — «О некоторых приемах структурализма» (А. Е. Супрун). На кафедре *киргизского языка* по диалектологии: 1) проводятся ежегодные экспедиции, особое внимание уделяется изучению говоров южной Киргизии (Ж. Мукамбаев[4]); 2) готовится к изданию курс киргизской диалектологии (Б. М. Юнусалиев); по грамматике: 1) изучается синтаксис киргизского языка (К. К. Сартбаев[5]) и морфология (Б. Уметалиева, С. Давлетов[6]); 2) начато составление вузовского курса современного киргизского языка; по лексикологии и лексикографии: 1) издается курс лексикологии киргизского языка (Б. М. Юнусалиев); 2) подготавливается русско-киргизский фразеологический словарь; 3) готовится переиздание «Киргизско-русского словаря» (К. К. Юдахин). На кафедрах *иностранных языков* ведется работа по сопоставительной грамматике киргизского, немецкого и английского языков; готовится издание французско-киргизского и англо-киргизского словарей.

На конференции, посвященной 40-летию Октября, были прочитаны доклады об изучении в годы советской власти киргизского, дунганского и славянских языков (К. К. Сартбаев, Х. Б. Бугазов, А. Е. Супрун)[7].

В связи с предстоящим в Москве IV Международным съездом славистов на факультете создана комиссия славистов: готовится библиография славистических работ в Киргизии и в Средней Азии, составляется специальный сборник статей, установлены научные связи с Узбекским гос. ун-том (Самарканд), Карловым ун-том (Прага), Лодзинским научным обществом.

Латвийский государственный университет (Рига)[8]. На кафедре *русского языка* опубликованы по диалектологии: статьи М. Ф. Семеновой по русским говорам и топонимике Латгале; по русско-латышской сопоставительной грамматике: статьи В. А. Юрика и М. Ф. Семеновой; ведется работа над диссертацией В. Н. Брусочкиной и закончена диссертация С. Г. Бажановой; по изучению языка и

---

[1] Информация получена от канд. филол. наук А. Е. Супруна.

[2] А. Е. Супрун, К вопросу о среднеазиатской лексике в украинском языке, «Уч. зап. филол. фак-та Киргизского гос. ун-та», вып 3, Фрунзе, 1957.

[3] См. «Тезисы докладов 6-й научной конференции профессорско-преподавательского состава Киргизского гос. ун-та. Секция русской филологии», Фрунзе, 1957.

[4] Ж. Мукамбаев, Баткендиктерден жазылып алынган материалдар боюнча кабар («Сообщение о материалах, записанных у баткенцев»), «Уч. зап. филол. фак-та Киргизского гос. ун-та», вып. 3, Фрунзе, 1957.

[5] К. К. Сартбаев, Кыргыз тилиндеги кошмо сүйлөмдүн синтаксиси («Синтаксис сложного предложения в киргизском языке»), Фрунзе, 1957.

[6] С. Давлетов, Тактооч («Наречие»), «Мугалимдерге жардам», № 6; Фрунзе, 1957; Б. Уметалиева, Степени сравнения прилагательных в киргизском языке, «Уч. зап. филол. фак-та Киргизского гос. ун-та», вып. 3, Фрунзе, 1957.

[7] См. «Тезисы докладов научной конференции профессорско-преподавательского состава филологического фак-та Киргизского ун-та, посвященной 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции», Фрунзе, 1957.

[8] По информации, полученной от канд. филол. наук Э. Сойда.

стиля писателей: пишется диссертация Н. И. Раздоровой (по языку Паустовского), закончена диссертация и опубликованы статьи Т. И. Пабауской (по языку Чехова); по созданию пособий: составлен конспект по древнерусскому языку (М. Ф. Семенова и В. Н. Брусочкина); по методике преподавания русского языка латышам: опубликованы статьи и закончена диссертация Г. И. Румянцевой. На кафедре *латышского языка* ведется работа по синтаксису: закончена докторская диссертация «Синтаксис латышских классических народных песен» (А. Озол), написаны две статьи (того же автора) — по синтаксису словосочетаний и по вопросам стилистики[1], заканчивается кандидатская диссертация по вопросам управления — значения и употребления зависимых падежей в публицистике представителей «нового течения» (Бояте); по созданию учебных пособий: составлен конспект курса латышской диалектологии (М. Рудзите), составляется (тем же автором) конспект по исторической грамматике латышского языка, разрабатываются конспекты по курсу современного латышского языка— фонетики и лексики (А. Лау), морфологии (Э. Сойда) и синтаксиса (Ю. Карклинь). Члены кафедры участвуют в создании нового стабильного учебника латышского языка для средней школы, а также в разработке вопросов латышской орфографии.

На кафедре *иностранных языков* и *классической филологии* ведется работа: 1) по составлению немецкого фразеологического словаря по произведениям антифашистских писателей Германии с пояснениями к каждому фразеологизму на немецком и переводом на латышский и русский языки; 2) над двумя диссертациями — по фразеологическим сращениям в английском языке и их эквивалентам в латышском (А. Гринблат) и о переводах Шекспира на латышский язык (В. Бейтане).

Петрозаводский государственный университет (Петрозаводск)[2]. На кафедре *русского языка* по диалектологии и истории русского языка: 1) проводятся диалектологические экспедиции; 2) пишутся две диссертации: одна по морфологии русских говоров Заонежского района Карельской АССР (Н. И. Скуратова)[3], другая по синтаксису тех же говоров (Т. Г. Доля[4]); 3) по категории сказуемого в древнерусском языке пишется докторская диссертация (М. И. Пигин)[5]; по изучению языка и стиля писателя: 1) пишется монография по языку Н. В. Гоголя (М. А. Пустынникова); три раздела монографии подготовлены и обсуждены на кафедре[6]; 2) ведется работа по языку и стилю А. М. Горького (М. Я. Кривенкина)[7]; 3) пишется кандидатская диссертация по синтаксису рассказов А. П. Чехова (Е. Н. Савина).

Ростовский государственный университет (Ростов-на-Дону)[8]. На кафедре *русского и общего языкознания* по диалектологии написаны: кандидатская диссертация «Говор станицы Старочеркасской Ростовской обл. в его истории и современном состоянии» (В. А. Магин) и статья «Взаимодействие русских и украинских говоров на Дону» (К. К. Удовкина). Ведется работа над кандидатской диссертацией о лексике донского фольклора (О. К. Сердюкова). По истории русского языка (на материале сборников «Донские дела») написана статья «Определенно-личные предложения в языке памятников XVII века» (А. А. Дибров); пишутся монография «Структура сложноподчиненного предложения в русском литературном языке XVII века» (В. С. Овчинникова) и статья «Категория наклонения глагола в русском языке первой половины XVII века» (З. В. Донскова). По грамматике: заканчивается докторская диссертация «Прямая и косвенная речь в русской художественной прозе» (М. К. Милых); готовится статья о факторах, обусловливающих порядок слов в предложении (Н. В. Текучева). По языку и стилю писателей написаны статьи: 1) «Стилистическая роль пословиц и поговорок в публицистике

---

[1] См. «Ученые записки [Латв. гос. ун-та]», т. XI, 1956.

[2] По информации канд. филол. наук М. И. Пигина.

[3] Один из разделов диссертации Н. И. Скуратовой (об особенностях в склонении существительных) опубликован в «Ученых записках... университета» (т. V, вып. 1, 1955).

[4] Глава о безличных предложениях находится в печати.

[5] Отдельные главы были опубликованы в «Ученых записках... университета» в 1954—1956 гг.

[6] См. статьи: а) «Н. В. Гоголь — борец за народную основу русского литературного языка» («Уч. зап... ун-та», т. VI, вып. 1, 1956, стр. 146—160); б) «О периодической речи в „Мертвых душах“» (находится в печати); в) «О грамматических особенностях „Миргорода“».

[7] См. статьи: а) «Работа А. М. Горького над лексикой...» в «Ученых записках... университета», т. V, вып. 1, 1955, стр. 148 и сл.; б) «О синонимах в повести А. М. Горького „Мать“» (находится в печати).

[8] По информации канд. филол. наук А. Н. Савченко.

советских писателей» (Л. А. Введенская); 2) «Использование сложных слов в романе М. Горького „Жизнь Клима Самгина“» (И. А. Федосов) и 3) «Сравнения в романе М. Горького „Жизнь Клима Самгина“» (его же). По общему языкознанию: 1) заканчивается докторская диссертация «Категория среднего залога в индоевропейском языке» (А. Н. Савченко) и 2) подготовлена к изданию работа (4 печ. листа) «Части речи и категории мышления» (того же автора).

В августе 1957 г. вышел 52-й том «Ученых записок» университета, содержащий 6 языковедческих статей (по диалектологии и истории русского языка, хеттскому языку, языку писателей); в марте 1958 г. вышел следующий (53-й) том «Ученых записок», включающий 5 языковедческих статей (по синтаксису современного русского языка, по диалектологии и истории языка и по языку писателей).

Черновицкий государственный университет (Черновцы)[1]. На кафедре *русского языка* по изучению современного русского языка представлены статьи: о переходных случаях между сочинением и подчинением (Э. Я. Бобер), об инфинитивных предложениях (Н. П. Арват), о переходе самостоятельных слов в служебные (Ю. Г. Скиба), о структуре присоединительных конструкций (М. В. Карпенко); по языку и стилю писателей: 1) подготовлены к печати три статьи по изучению языка А. М. Горького (В. И. Кузнецов, Э. Я. Бобер, А. Д. Зверев); 2) ведется работа по ономастике в произведениях Н. А. Некрасова (З. В. Николаева); 3) защищена в 1957 г. кандидатская диссертация на тему «Работа А. М. Горького над стилем повести „Фома Гордеев“» (А. Д. Зверев). На кафедре *украинского языка* по диалектологии: 1) проводятся диалектологические экспедиции, собирается материал для диалектологического атласа Украины; 2) составлена программа-вопросник по собиранию материалов к областному словарю буковинских говоров; 3) закончена кандидатская диссертация «Особенности лексики буковинских украинских говоров» (В. А. Прокопенко); 4) закончена диссертация «Русские говоры на Буковине» (В. И. Столбунова); 5) на отчетной конференции университета (февраль 1957 г.) заслушаны отчетные доклады по морфологии, лексике и синтаксису буковинских говоров (М. В. Леонова, В. С. Лымаренко, Л. М. Лосева и др.)[2]; 6) на межобластном диалектологическом совещании (апрель 1957 г.) зачитаны авторами доклады по темам их диссертаций: В. И. Столбуновой (см. выше) и К. М. Лукьянюка («Словообразование в буковинских украинских говорах»). По истории украинского языка: 1) на материалах защищенной автором в 1956 г. кандидатской диссертации подготовлен к печати ряд статей об истории количественных числительных в украинском языке (Ю. А. Карпенко); 2) представлена в «Ученые записки» университета статья «К истории творительного предикативного в украинском языке» (И. И. Слынько); 3) продолжается работа по историческому синтаксису украинского языка по памятникам XIV—XVIII вв. (И. И. Слынько); 4) составлено пособие по старославянскому языку на украинском и молдавском языках (М. Ф. Станивский)[3]. По современному украинскому языку: 1) заканчивается кандидатская диссертация «Придаточные с союзом и союзным словом *як* в украинском языке» (М. И. Выхристюк); 2) на сравнительном материале ведется работа над докторской диссертацией «Сравнительный синтаксис сложноподчиненного предложения в современных восточнославянских языках» (И. Г. Чередниченко). По изучению языка и стиля писателей Западной Украины: 1) опубликованы две статьи о синтаксических особенностях языка произведений И. Я. Франко (И. Г. Чередниченко)[4]; закончена (и защищена в 1957 г.) кандидатская диссертация «Борьба за создание украинского литературного языка на Буковине в первой половине XIX в.» (М. Ф. Станивский)[5]; написан ряд статей по языку произведений О. Кобылянской (М. Ф. Станивский, В. А. Прокопенко, Ю. Г. Скиба, Э. Я. Бобер, Л. М. Лосева и др.). По методике преподавания: 1) составлена и утверждена новая программа по современному украинскому языку (И. Г. Чередниченко); 2) напечатана «Методика преподавания русского языка в школах с украинским языком обучения» (того же автора)[6]. На кафедре *общего языкознания* разрабатыва-

---

[1] По информации канд. филол. наук И. Г. Чередниченко.

[2] См. «Тезисы докладов», изд. Черновицким ун-том, Черновцы, 1957.

[3] Первая часть пособия на украинском языке издана университетом на правах рукописи; на молдавском языке оно подготовлено к печати.

[4] См. «Наук. зап. [Чернівец. ун-ту]», т. 20, вып. 3, 1956 и журнал «Українська мова в школі», Киев.

[5] См. его статью на ту же тему в журнале «Українська мова в школі», 1957, № 1. стр. 14 и сл.

[6] Изд-во «Радяньска школа», Киев, 1957.

ются темы —«Гидронимика Буковины» (О. С. Широков), «Особенности морфологии существительных балканской латыни» (А. В. Широкова), в качестве кандидатской диссертации —«Общественно-политическая лексика современного польского языка» (В. Е. Федорищев).

Сектор языка Института истории, языка и литературы Башкирского филиала АН СССР (Уфа)[1]. По диалектологии завершаются кандидатские диссертации: «Говор демских башкир» (У. М. Каюмова) и «Говор башкир долины реки Ай» (Н. Х. Баева). По грамматике: 1) выходит из печати «Синтаксис простого предложения» (К. З. Ахмеров), 2) сдан в издательство сборник статей «Вопросы башкирской филологии», посвященный памяти Н. К. Дмитриева, 3) проведено координационное совещание по проблемам залога и простого предложения. По лексикологии и лексикографии: 1) опубликована работа «Русские заимствования в башкирском языке» (Р. Н. Терегулова)[2], 2) выходит из печати «Башкирско-русский словарь» (60 авт. листов), 3) заканчивается составление большого «Русско-башкирского словаря» (150 авт. листов). По созданию новой орфографии башкирского языка работает Республиканская комиссия под председательством директора Института истории, языка и литературы А. И. Харисова с участием научных сотрудников института К. З. Ахмерова, Т. М. Гарипова и А. Н. Киреева.

Кроме того, ведется подготовка к предстоящей осенью 1958 года 3-й республиканской научной конференции по башкирскому литературному языку, на которой будут прочитаны доклады: «Формирование башкирского национального языка» (А. А. Юлдашев), «О частях речи в башкирском языке» (Н. Х. Ишбулатов), «О формообразовании в башкирском языке» (Т. М. Гарипов) и др.

Сектор языка и письменности Бурят-Монгольского научно-исследовательского института культуры (Улан-Удэ)[3]. По диалектологии: 1) проводятся диалектологические экспедиции и издано (1957 г.) «Руководство для сбора материалов по говорам бурят-монгольского языка» (Ц. Б. Цыдендамбаев); 2) составляется словарь мухоршибирского говора (У. Ш. Дондуков); 3) изучается цонгольский говор (Э. Р. Раднаев). По грамматике и лексике: 1) начатая в 1954 г. коллективная работа по составлению научно-описательной грамматики бурят-монгольского языка (редакция — Г. Д. Санжеев, Т. А. Бертагаев и Ц. Б. Цыдендамбаев) выполнялась по этапам: в 1956 г.— 1-я часть (фонетика и морфология), в 1957 г. — 2-я часть (синтаксис); 2) ведется работа над темой «Звуковой состав бурят-монгольского языка» (И. Д. Бураев); 3) ведется исследование словообразования глаголов (У. Ш. Дондуков); 4) проводится изучение лексических параллелей «Сокровенного сказания» и современного бурят-монгольского языка (М. П. Хомонов). По орфографии: составляется свод орфографических правил бурят-монгольского языка. В связи с 35-летием Института готовится специальный сборник, включающий и обзорные статьи по языкознанию в Бурят-Монголии.

Сектор языка Института истории, языка и литературы им. Гамзата Цадаса Дагестанского филиала АН СССР (Махачкала)[4]. Ведется работа по исследованию диалектов и говоров: 1) аварского языка в сравнительно-историческом плане (Ш. И. Микаилов), 2) лезгинского и даргинского языков (У. А. Мейланова и С. М. Гасанова); по грамматике: разрабатывается синтаксис лакского языка (в 1957 г.— простого предложения); по лексикографии: составляются два словаря — аварско-русский (М. С. Саидов) и лезгинско-русский (М. М. Гаджиев)[5].

Сектор языка Института языка, литературы и истории Казанского филиала АН СССР (Казань)[6]. По диалектологии и истории языка: 1) готовится к печати докторская диссертация «Средний диалект татарского языка» (Л. З. Заляй);

[1] По информации канд. филол. наук Т. М. Гарипова.
[2] Уфа, 1957.
[3] По информации зам. директора Института А. К. Золотоева.
[4] По информации зав. сектором доктора филол. наук Г. Б. Муркелинского.
[5] Обратные словари: русско-аварский и русско-лезгинский, а также русско-даргинский и русско-лакский были выпущены в 1951—1953 гг.
[6] По информации канд. филол. наук Х. Р. Курбатова.

2) проводятся диалектологические экспедиции и на основе собранного материала ведется подготовка к составлению диалектологического атласа татарского языка; 3) сдана в печать третья часть «Диалектологического словаря»[1] (Н. Б. Бурганова, Л. Т. Махмутова); 4) готовится к печати «Историческая грамматика татарского языка» (Л. З. Заляй). По грамматическому строю татарского языка: 1) ведется работа по созданию (к 1960 г.) вузовского учебника по современному татарскому языку; 2) подготовлена и сдана в печать «Грамматика татарского языка»—исследования по морфологии и синтаксису (В. Н. Хангильдин)[2]; начато исследование по грамматической стилистике татарского языка (Х. Р. Курбатов). По лексикографии: 1) вышла (1957) «Татарская фразеология, пословицы и поговорки» (Л. З. Заляй, Н. Б. Бурганова, Л. Т. Махмутова); 2) начато составление нового татарско-русского словаря (до 60 тыс. слов); 3) ведется подготовка к созданию полного толкового словаря татарского языка; 4) печатается третий том «Русско-татарского словаря»[3] (четвертый том намечен выпуском на 1958 г.). По истории письменности: готовятся к печати «Очерки по истории письменности татарского языка» (Х. Р. Курбатов).

Институт языка и литературы АН Казахской ССР (Алма-Ата)[4]. По диалектологии и истории языка: 1) начата работа по изучению становления и развития казахского литературного языка (составлена библиография и собрана часть материала); 2) ведется работа над темой (в плане пятилетки) «Фонетические, лексические и грамматические особенности говоров казахского языка» (руководитель Н. Т. Сауранбаев); 3) сдан в печать сборник «Вопросы истории и диалектологии казахского языка» (вып. 1). По грамматике: 1) начата в плане трех лет работа по «Сопоставительной грамматике русского и казахского языков» (руководитель Х. Х. Махмудов); 2) изданы в 1957 г. «Основные типы словосочетаний в казахском языке» (М. Б. Балакаев), «Производные глагольные основы казахского языка с аффиксом *-ла/-ле*» (А. Хасенова) и «Служебные имена и послелоги в казахском языке» (В. А. Исенгалиева); 3) готовится второе издание (увеличенное в 2 раза) библиографического указателя по казахскому языкознанию; 4) заканчивается редактирование подготовленного языковедами института и вузов (на русском языке) «Систематического курса современного казахского языка» (руководитель М. Б. Балакаев). По лексикологии и лексикографии: 1) созданным в 1957 г. новым терминологическим отделом (руководитель С. А. Аманжолов) завершено составление русско-казахских словарей терминов по физике, математике, делопроизводству, астрономии, географии, горному делу и металлургии (издание подготовленных выпусков «Терминологического словаря» планируется в 1958 г.); 2) завершается подготовка к сдаче в печать первого тома толкового словаря казахского языка и большого казахско-русского словаря (руководители С. К. Кенесбаев и Г. Г. Мусабаев); 3) ведется работа (завершение в 1958 г.) над темой «Очерки сравнительной лексикологии в тюркском и монгольском языках» (Ц. Д. Номинханов); 4) утвержден представленный институтом и Министерством просвещения орфографический проект; 5) готовится к изданию в 1959 г. большой орфографический словарь.

Сектор языкознания Института языка, литературы и истории Карельского филиала АН СССР (Петрозаводск)[5]. Диалектологическая работа проводится в основном по бесписьменным языкам — карельскому, вепсскому и саамскому: 1) по собственно-карельскому диалекту собран лексический материал разных говоров в четырех пунктах по 15 тысяч слов и более. Начато составление карельско-русского словаря собственно-карельских говоров (60—70 авт. листов). Начат сбор топонимики; 2) составлен и находится в Издательстве АН СССР «Диалектологический атлас карельского языка» (т. I). С 1957 г. начат сбор материала по языку калининских карел (для второго тома «Диалектологического атласа карельского языка»)—руководитель Г. Н. Макаров; 3) начат сбор диалектного материала для атласа вепсского языка (Н. И. Богданов и М. М. Хямяляйнен); 4) ведется работа по саамским диалектам (Г. М. Керт). В сборе диалектных материалов участвуют студенты Петрозаводского университета и пединститута, Ленинградского пединститута им. Герцена. Лексикографическая и грамматическая работа ведется по финскому языку: 1) заканчивается составление «Русско-финского словаря» (до 150 авт.

---

[1] Первая и вторая части изданы в 1948—1953 гг.

[2] См. также «Грамматику татарского языка (очерки по морфологии)» В. Н. Хангильдина (Казань, 1954).

[3] Первый и второй тома вышли в 1955 и 1956 гг.

[4] По информации научного сотрудника Ин-та Е. Н. Жанпеисова.

[5] По информации канд. филол. наук А. А. Белякова.

листов) на 70—75 тысяч слов (редакторы М. Э. Куусинен и В. М. Оллыкайнен, составители Х. И. Лехмус, А. И. Флинкман и др.); 2) составлена и находится в печати «Грамматика современного финского языка». В печати находится сборник «Труды» Карельского филиала АН СССР, в который вошли статьи по всем изучаемым сектором языкам.

Институт литовского языка и литературы АН Литовской ССР (Вильнюс)[1]. В Секторе диалектологии и истории языка: 1) продолжаются описания отдельных литовских говоров[2] и сбор (совместно с университетом и пединститутом) материала для «Атласа литовского языка»; 2) проводится расшифровка литовского перевода библии Й. Бреткунаса (XVI в.); 3) начата подготовка к переизданию первого словаря литовского языка «Dictionarium trium linguarum» К. Ширвидаса (1629 г.); 4) подготовлено и выпущено в 1957 г. новое издание первой грамматики литовского языка «Grammatica Litvanica» Д. Клейна (1653 г.). В Секторе современного литературного языка и словарей ведется работа по грамматике: 1) совместно с кафедрой литовского языка Вильнюсского университета готовится научная грамматика современного литовского языка; выполняются 3 темы: «Гласные современного литовского литературного языка», «Имя прилагательное», «Глагол»; 2) опубликована монография «Употребление местоименных форм имени прилагательного в современном литовском языке» (А. Валяцкене); 3) сдана в печать работа — «Функции глагольных приставок в современном литовском языке» (Й. Паулаускас); 4) выполнена в фонетической лаборатории Ленинградского ун-та (под руководством Л. Р. Зиндера) работа «Согласные современного литовского литературного языка» (В. Вайткевичюте); 5) проведены совещания работников института с языковедами университета и пединститутов по вопросам создания научной грамматики литовского языка и по вопросам литовской орфографии. По лексикографии: 1) продолжается работа по созданию большого академического словаря литовского языка: в настоящее время сдан в печать V том, редактируется VI том и составляется VII том (Ю. Бальчиконис, Б. Восилите, Й. Круопас, К. Ульвидас, А. Кучинскайте, З. Йоникайте и др.); при составлении словаря используется словарная картотека института, имеющая свыше 2,5 миллиона карточек; 2) с участием других институтов АН Литовской ССР в Терминологической комиссии сектора обсуждаются термины различных отраслей науки.

Институт языка и литературы АН Таджикской ССР (Сталинабад)[3]. По диалектологии и истории таджикского языка: 1) разработаны темы: а) «Очерк по истории таджикского языка периода VIII—начала IX веков» (В. А. Лившиц) и б) «Сложноподчиненное предложение с придаточными обстоятельственными по памятникам X—XII веков» (Л. П. Смирнова); 2) продолжалась расшифровка парфянского архива из древней Нисы (И. М. Дьяконов и В. А. Лившиц): а) обработан архив в количестве 2300 текстов, составлены сводные таблицы по отдельным сериям парфянских документов, а также таблицы по титулатуре, административно-территориальному делению и именам собственным, встречающимся в текстах архива; б) опубликована статья «О языке документов из древней Нисы» в журнале «Вестник древней истории» (1957, № 1); в) сделан доклад на первой Всесоюзной конференции востоковедов на тему «Материалы парфянского архива Нисы»; 3) сдана в печать статья «Парфянская канцелярия I века до нашей эры»; д) написан лингвистический комментарий к основным сериям документов архива. В 1958 году намечается завершение монографии (до 40 печ. листов), посвященной архиву из Нисы; 4) завершена работа «Матчинские говоры таджикского языка» (А. Л. Хромов) объемом 15 печ. листов.

По грамматике, стилистике и орфографии: 1) разработаны темы: сложноподчиненные предложения (Ш. Ниязи), основные типы простого предложения (Б. Ниязмухамедов), обстоятельства в таджикском языке (М. Ф. Фазылов); 2) проведено организованное Институтом совещание с редакторами газет, журналов, работниками печати, радиовещания и ТАСС по вопросам стиля, языка и правописания. По лексикографии: начато составление толкового словаря таджикского языка и одновременно продолжается подбор лексического и фразеологического материала из произведений классической таджикской литературы XI—XIX вв.

---

[1] По информации уч. секретаря Института Ю. Ю. Лебенки.

[2] Уже обследовано около половины территории республики (свыше 300 населенных пунктов).

[3] По информации канд. исторических наук А. П. Колпакова.

Сектор языкознания Удмуртского научно-исследовательского института истории, экономики, языка и литературы при Совете Министров Удм. АССР (Ижевск)[1]. По диалектологии: 1) ведется работа над программой изучения диалектов; 2) проведены экспедиции по изучению бесермянского диалекта» (Г. А. Архипов); 3) опубликована статья «Фонетическая характеристика тыловайского диалекта» (Т. И. Тепляшина); 4) готовятся к печати статьи — «Некоторые особенности глазовского диалекта удмуртского языка» (В. И. Лыткин, Т. И. Тепляшина) и «О говорах северных диалектов удмуртского языка» (В. М. Вахрушев).

По грамматике: 1) опубликованы (1957 г.) 3 статьи—«Притяжательные формы связи имен в определительных словосочетаниях удмуртского языка» (П. Н. Перевощиков), «Понудительный залог в пермских языках» (В. И. Лыткин) и «Качественные имена на *-лы* в удмуртском языке» (В. И. Алатырев); 2) подготовлены к печати: а) монография «Деепричастия и деепричастные конструкции в удмуртском языке» (П. Н. Перевощиков) и б) статьи — «О действительном количестве глагольных времен в удмуртском языке» (Б. А. Серебренников) и «Глаголы притворного действия в удмуртском языке» (В. И. Алатырев); 3) производится сбор материала для составления запланированной описательной грамматики удмуртского языка. По лексикологии и лексикографии: 1) подготовлена к печати статья «Некоторые вопросы развития лексики удмуртского языка» (В. М. Вахрушев); 2) вышли из печати на удмуртском и русском языках правила удмуртской орфографии и пунктуации; 3) готовится к печати «Орфографический словарь удмуртского языка» (А. С. Белов, И. В. Тараканов).

ОБСУЖДЕНИЕ МАКЕТА ТОЛКОВОГО СЛОВАРЯ СОВРЕМЕННОГО ЛАТЫШСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

За последние два года в Секторе словарей Института языка и литературы АН Латвийской ССР заметно расширилась и усилилась подготовительная работа над Толковым словарем современного латышского литературного языка. В настоящее время переработана инструкция по составлению словаря, значительно пополнена картотека, оформлено несколько тысяч пробных словарных статей, создан макет с довольно подробным введением, в котором описывается профиль будущего словаря и раскрываются принципы построения и приемы графического оформления макета. В макете в алфавитном порядке представлено 126 заглавных слов из всех частей речи с обширным иллюстративным материалом.

18 и 19 февраля текущего года в Риге состоялось расширенное открытое заседание Ученого совета Института языка и литературы, посвященное обсуждению макета рассматриваемого словаря. Дискуссия вызвала интерес в Латвии не только среди языковедов и преподавателей латышского языка, но привлекла внимание широких кругов общественности, серьезно интересующихся вопросами дальнейшего развития латышского языка и культуры речи.

В вводном докладе зам. заведующего Сектором словарей М. Пуке рассказала о том, как создавался макет, и познакомила участников заседания с принципами его построения. В дискуссии приняли активное участие доценты кафедр латышского языка Латвийского университета А. Озол и Л. Карклинь, представители кафедр латышского языка Рижского и Даугавпилсского педагогических институтов, доцент К. Гайлумс и ст. преп. А. Черпаковская, руководитель Сектора словарей Института литовского языка и литературы АН Литовской ССР К. Ульвидас, зав. словарной редакцией Латгосиздата А. Фельдгуни другие редакторы, зам. редактора ведущей республиканской газеты «Cīņa» («Циня») Г. Бендик, проф. Я. В. Лоя, научные сотрудники Института АН Латвийской ССР и др.

Подробно охарактеризовал достоинства и недостатки макета К. Ульвидас, имеющий большой опыт в работе над словарями литовского литературного языка. Отметив, что, как показывает ознакомление с макетом, для словаря накоплен обширный материал, почерпнутый из письменных источников второй половины XIX в. и начала XX в., а также из художественной, научной и общественно-политической литературы советской эпохи, К. Ульвидас выразил уверенность, что имеющаяся картотека, в которой насчитывается более четырехсот тысяч отобранных карточек [2], является надежной базой для начала работы над шеститомным словарем. Он рекомендовал при этом пополнить картотеку словаря за счет лексики фольклора и живой народной

[1] По информации и. о. директора Института Р. Филимоновой.

[2] Картотеку Толкового словаря намечено дополнить также за счет вырезок из шеститомного словаря латышского языка, составителями которого являются К. Мюленбах и Я. Эндзелин.

разговорной речи, являющейся неиссякаемым источником для обогащения и развития литературного языка. Большим достоинством макета К. Ульвидас считает то, что очень серьезное внимание уделено в нем подаче фразеологического материала, четко отграничены и правильно истолкованы отдельные типы фразеологических сочетаний. Макет словаря радует ясностью, четкостью и краткостью словарных статей. Употребляемые в макете геометрические знаки помогают быстрее разобраться в словарной статье, особенно в случаях полисемии заглавного слова; ценны также детальные (вплоть до страниц) указания на источники цитат при помощи системы кратких и точных шифров. В заключение К. Ульвидас указал на ряд пробелов и недостатков в разработке словарных статей с точки зрения грамматических характеристик и семантического толкования слов. В частности, представляется необходимым введение сокращений для часто встречающихся слишком длинных указаний на перфективность, имперфективность, транзитивность и интранзитивность глаголов.

В критической части выступлений других участников обсуждения отмечалось, что в выборе литературных цитат необходимо соблюдать большую осмотрительность, давая лишь такие примеры, которые являются образцами хорошего литературного языка и слога; следует избегать помещения цитат, ничего не дающих для выявления значения толкуемых слов. Отмечалось также,что в макете недостаточно представлена современная общественно-политическая лексика и фразеология. Недостатком было признано и то обстоятельство, что в подготовляемом словаре не предусмотрено обозначение интонационных отличий, бытующих в литературном языке. Рекомендовалось также указывать произношение открытого и закрытого ę̆, ę̑ и вообще увеличить количество орфоэпических указаний. Следует также еще более уточнить и упорядочить систему стилистических помет. Участники дискуссии предлагали соблюдать разумную умеренность в отношении подачи омонимов, не умножая их без достаточного основания за счет полисемии.

С большим интересом и одобрением было встречено предложение издать сперва однотомный толковый словарь, так как издание шеститомного словаря при теперешнем числе научных сотрудников неизбежно затянется. Участники обсуждения отметили большую положительную работу, которую проделали составители словаря, и признали построение и структуру макета в основном правильными; после восполнения отмеченных пробелов и устранения недостатков макетом можно будет успешно пользоваться при подготовке самого словаря.

П. Дале

ОБ ИНСТИТУТЕ РОМАНСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ В ЛИОНЕ

Институт романского языкознания был основан в 1941 г. Ж. Гишаром при Лионском университете. Ж. Гишар известен в связи с публикацией им многотомного комментированного издания хартий области Форе до XIV в. («Chartes du Forez antérieures au XIV-ème siècle»). Он начал готовить это издание еще в 1933 г. вместе с диалектологом Нёбуром. XIV том вышел в 1955 г. После смерти Гишара (в 1955 г.) публикации хартий продолжаются Нёбуром и двумя сотрудниками института — М. Гонон и Э. Перруа. Основанный Гишаром институт является одним из центров диалектологической работы во Франции, объединяющим большое количество исследователей в связи с работой над региональными атласами французского языка [1].

Необходимость в создании региональных атласов французских диалектов диктуется тем, что в известном «Лингвистическом атласе Франции» Ж. Жильерона и Э. Эдмона сеть обследованных пунктов очень редкая, вопросник сравнительно небольшой (всего 2 тыс. вопросов) и к тому же единый для всех областей Франции. Это дает хотя и правильное, но слишком общее представление о французских диалектах. Авторы региональных атласов путем разработки более специализированного вопросника, отражающего особенности данной местности, путем опроса во время составления анкет людей только пожилого возраста стремятся выявить наиболее древние слои французских диалектов. Региональные атласы, которые все в совокупности обычно называют «Новым атласом Франции», призваны не переделать или изменить атлас Жильерона, а только дополнить его.

В настоящее время выходят атласы четырех областей — Валлонии, Гаскони, Центрального Массива, Лионэ. Работа над последними двумя атласами сосредоточена в Институте романского языкознания в Лионе. Сотрудники института работают сейчас над окончанием атласа Лионской области, 4-й и последний том которого должен вскоре увидеть свет. В этой работе, которой руководит П. Гардетт, принимают участие П. Дюрдийи, С. Эскофье, Г. Жироде и М. Гонон. Одновременно сотрудник института

---

[1] Аналогичные институты романского языкознания имеются и при других университетах: в Париже, в Страсбурге, в Тулузе, в Клермон-Ферране.

П. Нотон [1] ведет большую работу по составлению атласа области Центрального Массива (первый том уже напечатан). Нотон один составляет этот атлас, вопросник которого значительно превышает вопросник Лионского атласа (3800 вопросов вместо 2000), но количество обследованных точек несколько меньше, потому что диалекты Центрального Массива хотя и сохранились значительно лучше, чем диалекты Лионской области, однако они более унифицированы. В 1956 г. Г. Тюайон начал сбор полевого материала для создания атласа центральной и южной части франко-провансальских говоров (Савойя, департамент Эн).

Помимо полевой диалектологической работы, сотрудники института, как уже указывалось, издают тексты, а также отдельные монографические исследования. Так, в 1956 г. вышла монография Chanoine Ratel «Le patois de Saint-Martin-la-Porte (Savoie)». Кроме того, сотрудники собирают материал для топографического словаря департамента Роны. Ряд сотрудников готовит диссертации, избирая для этого в основном диалектологические темы. Так, С. Эскофье защитила диссертацию о фонетических границах между франко-провансальскими говорами и французским провансальским языками[2].

При посещении мною Института романского языкознания (во время туристской поездки по Франции) мне была предоставлена возможность ближе познакомиться с плодотворными трудами лионских диалектологов, а также более подробно рассказать о своей работе по французской диалектологии (в частности, о начатой мною работе над лотарингскими говорами).

В настоящее время институтом руководит П. Гардетт. Он ведет большую научно-исследовательскую работу — является автором первого регионального атласа Франции, нескольких книг по диалектологии и многочисленных статей. Работы П. Гардетта посвящены в основном изучению говоров области Форе (к западу от Лиона) [3]. Он же является секретарем Международного общества романистов (Société de linguistique romane) и секретарем журнала, выпускаемого этим обществом,— «Revue de linguistique romane». В декабре 1957 г. П. Гардетт избран членом-корреспондентом Французской Академии. Международное общество романистов организовано было в 1924 г. А. Терраше и О. Блоком. С этого же года общество стало выпускать журнал, где напечатан ряд интересных исследований Ш. Брюно, П. Гардетта, Ж. Страка, Г. Рольфса, Г. Боттильони и других романистов. В ближайших номерах «Вопросов языкознания» мы постараемся дать краткий обзор послевоенных номеров этого интересного журнала.

М. А. Бородина

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

8 и 9 января 1958 г. в Варшаве состоялось третье заседание Международного комитета славистов. На повестке дня стояли вопросы подготовки к IV Международному съезду славистов в Москве в сентябре 1958 г. В заседании приняли участие представители славистов Австрии (проф. Р. Ягодич), Бельгии (проф. К. Баквис), Болгарии (проф. В. Георгиев, проф. П. Динеков), Великобритании (проф. Э. Хилл, доктор Р. Оти), Германской Демократической Республики (проф. Г. Бильфельдт), Германской Федеративной Республики (проф. М. Фасмер), Голландии (проф. К. Г. Ван-Схонефельдт), Дании (проф. А. Стендер-Петерсен). Италии (проф. Дж. Мавер), Польши (проф. Т. Лер-Сплавинский, проф. В. Дорошевский, проф. П. Зволинский), Румынии (проф. Э. Петрович), Соединенных Штатов Америки (проф. Р. Якобсон), Советского Союза (проф. В. В. Виноградов, проф. В. И. Борковский, проф. М. П. Алексеев, проф. Р. И. Аванесов, проф. М. Б. Храпченко), Франции (проф. А. Мазон), Чехословакии (проф. Б. Гавранек, проф. Ю. Доланский, доктора С. Вольман и Ф. Мареш), Швеции (проф. Г. Гуннарсон), Югославии (проф. А. Белич, проф. И. Бадалич).

Заседание открыл проф. Т. Лер-Сплавинский. С приветственным словом к участникам заседания обратился от имени Президиума Польской Академии наук проф.

---

[1] П. Нотон — автор следующей работы: P. Nauton, Le patois de Saugues (Haute-Loire), Clermont-Ferrand, 1948; см. также его большое топонимическое исследование «Fabrĭca et ŷca en galloroman, d'après les toponymes Faurie, Haurie, Fabrie, Favrie» («Revue de linguistique romane», t. XVIII, № 71—72, 1954).

[2] S. Escoffier, Les frontières phonétiques de la langue d'oïl, de la langue d'oc et du francoprovençal.—«Bulletin de l'Institut de linguistique romane de Lyon», I, 1953.

[3] P. Gardette, Géographie phonétique du Forez, Mâcon, 1941; его же, Études de géographie morphologique sur les patois du Forez, Mâcon, 1941; его же, Deux itinéraires des invasions linguistiques dans le domaine provençal, «Revue de linguistique romane», t. XIX, № 75—76, 1955, и др.

Ст. Арнольд. Затем заседания проходили под председательством проф. В. В. Виноградова.

Порядок дня включал следующие пункты: 1) доклад проф. В. В. Виноградова; 2) отчеты национальных комитетов славистов; 3) вопрос об установлении типов докладов, их распределении и группировке; 4) вопрос о комиссиях съезда; 5) вопрос о выставке литературы по славяноведению; 6) вопрос о публикации докладов к съезду; 7) вопрос об участниках съезда; 8) вопрос о программе пребывания гостей АН СССР в Советском Союзе; 9) другие вопросы.

Акад. В. В. Виноградов суммировал работу Международного комитета славистов и результаты подготовки, проведенной Советским комитетом славистов. Он рассказал о содержании сданных в печать трех славяноведческих сборников и двух выпусков ответов на вопросы, отметив, что в тех и других участвуют ученые разных стран; о тематике докладов советских ученых и их публикации, о количестве заявленных докладов по каждой отдельной стране и по каждой секции и подсекции; о подготовке выставки славяноведческой литературы к съезду; о возможном количестве участников съезда, которые могут быть приглашены в качестве гостей Академии наук СССР. Были заслушаны также доклады председателей национальных комитетов славистов о подготовке к съезду в их странах.

Заседание протекало в деловой и дружественной атмосфере. Стоявшие в повестке вопросы были тщательно обсуждены и соответствующие решения были приняты единогласно.

Было решено, что все доклады будут напечатаны до съезда и разосланы его участникам как основа для дискуссии. В связи с большим количеством заявок на доклады было решено произвести их разделение на основные доклады, сообщения и выступления по докладам, причем доклады не должны продолжаться более 20—30 минут, а сообщения и выступления в дискуссии — более 10—15 минут. Решено, что часть сообщений, касающихся особенно специальных вопросов, может читаться на утренних заседаниях до начала работы съезда. Ряд решений принят по вопросу об организации выставки литературы по славяноведению, о характере выставляемой литературы, о возможностях ее комплектования. Делегаты отдельных национальных комитетов подтвердили свою готовность прислать на выставку книги и брошюры по славяноведению.

В оживленной, но согласной атмосфере протекало обсуждение вопроса о материальных условиях осуществления поездки иностранных славистов на съезд. Акад. В. В. Виноградов заявил о желании Президиума АН СССР пригласить в качестве своих гостей многих крупнейших славистов разных стран. Было признано желательным, чтобы Академия наук СССР обратилась с предложением к научным учреждениям и университетам разных стран командировать своих представителей для участия в съезде.

Были приняты также некоторые решения организационного характера. В частности, проф. А. Стендер-Петерсен (Дания) представил Международному комитету славистов решение Скандинавского комитета славистов о создании отдельных комитетов: Датского, Норвежского, Шведского и Финляндского. Участники третьего заседания Международного комитета славистов единогласно избрали членами Международного комитета славистов представителей Норвежского комитета славистов — проф. Х. Станга, Шведского комитета славистов —проф. Г. Гуннарсона и Финляндского комитета славистов — проф. Э. Ниэминена.

Польские филологи приурочили ко времени работы Международного комитета славистов проведение некоторых мероприятий Польской Академии наук, а именно обсуждение словаря польского литературного языка XVI в. и юбилейную сессию Комитета языкознания Польской Академии (в связи с 40-летием Октября), посвященную достижениям советского языкознания за 40 лет. В этих заседаниях приняли участие члены советской делегации.

Советские ученые выступили также с докладами в Варшавском университете: акад. В. В. Виноградов прочитал доклад «Стиль и идеология», собравший большую аудиторию как лингвистов, так и литературоведов; проф. Р. И. Аванесов сделал доклад на тему «О типах лингвистических атласов (атласы частные, региональные, национальные, атласы групп языков, родственных и неродственных)».

Член-корр. АН СССР М. П. Алексеев и проф. М. Б. Храпченко посетили Институт литературных исследований Польской Академии наук и познакомились с его работой.

---

21 и 22 февраля с. г. в Риге, в конференц-зале Академии наук Латвийской ССР, проходила научная сессия, посвященная 85-летию со дня рождения и 65-летию научной и педагогической деятельности крупнейшего специалиста в области балтийского языкознания академика АН Латвийской ССР и члена-корр. АН СССР Яна Марцевича Эндзелина. На сессии были заслушаны следующие доклады: Г. С. Ахвледиани «К вопросу о знаковости в языке», В. В. Иванова «Вклад Я. М. Эндзелина в балтийскую акцентологию», А. Сабаляускаса «Заслуги Я. М. Эндзелина в литуанистике», А. Я. Озола «Типы глагольных предикативных

отношений в латышских классических народных песнях», В. Ф. Дамбе «Топонимика Блидиенес — свидетель прошлого», П. А. Аристэ «Об исчезновении нижненемецкого языка в Эстонии», Б. А. Серебренникова «О некоторых возможных причинах происхождения иллативного значения у латышского локатива», В. Н. Топорова «Из истории балтийской топонимики (I. О южной границе ятвягов. II. Балтийские топонимические названия с корнем *akmen-*)», А. С. Львова «История слова *сапог*».

Вечером 22 февраля в актовом зале Латвийского государственного университета состоялось торжественное чествование Я. М. Эндзелина. С приветствиями юбиляру выступили руководители партийных и государственных органов Советской Латвии, представители научной общественности Риги, Лиепаи, Таллина, Тарту, Вильнюса, Москвы, Ленинграда, Тбилиси и других городов. Были оглашены многочисленные телеграммы Я. М. Эндзелину от крупнейших советских и зарубежных языковедов, не имевших возможности лично принять участие в его чествовании. Президиум Верховного Совета Латвийской ССР устроил в связи с юбилеем Я. М. Эндзелина большой прием.

Организованная при Отделении литературы и языка АН СССР под председательством акад. В. В. Виноградова Комиссия общего языкознания провела 17 февраля 1958 г. первое пленарное заседание. На этом заседании было избрано Бюро комиссии в составе В. В. Виноградова (председатель), Б. А. Серебренникова (зам. председателя), В. М. Жирмунского (зам. председателя), Б. В. Горнунга (ученый секретарь), В. А. Аврорина, Р. А. Будагова, М. М. Гухман, А. В. Десницкой и И. М. Ошанина. Комиссия рассмотрела проект плана своей работы на 1958—1959 гг. и участия в намеченном Отделением сводном перспективном проблемном плане на 1959—1965 гг., а также основные положения для составления проблемной записки по общему языкознанию.

Основной задачей комиссии является координация ведущихся в академических институтах и на кафедрах вузов исследований по общему и отчасти по прикладному языкознанию, стимулирование работ этого рода и обобщение их результатов, а также теоретическое обобщение результатов конкретных историко-лингвистических, описательных и описательно-нормативных работ. В плане выполнения этой последней задачи на 1958—1960 гг. намечено проведение научных сессий, посвященных следующим комплексам актуальных и дискуссионных вопросов: 1) проблема историзма в языкознании, проблема закономерностей исторического развития языков и проблема периодизации истории языка; 2) основные вопросы теории словообразования и проблема структуры слова в языках разных типов; 3) проблема соотношения литературного языка и языка художественной литературы и соотношения языкознания и поэтики; 4) место языкознания в системе наук, применение в нем методов других наук; взаимоотношение и размежевание языкознания и филологии.

В перспективный план развития общего языкознания комиссия предложила внести подготовку следующих коллективных научных трудов: 1) Методы описания и анализа языка; 2) Закономерности исторического развития языков; 3) Язык и общество.

---

17 декабря 1957 г. на заседании Секции общего и сравнительно-исторического языкознания Ученого совета Института языкознания АН СССР состоялось обсуждение книги А. В. Десницкой «Вопросы изучения родства индоевропейских языков» (М.—Л., 1955) и сборника «Вопросы методики сравнительно-исторического изучения индоевропейских языков» (М., 1956) [1]. С докладами выступили И. М. Тронский (Ленинград) и А. А. Белецкий (Киев).

И. М. Тронский отметил, что обе книги имеют общие цели — изучение индоевропейских языков, но они не повторяют, а дополняют друг друга. В книге А. В. Десницкой излагается история основных этапов изучения индоевропейских языков от Боппа до наших дней и дается методологическая критика ряда языковедческих теорий — Шмидта, Шухардта, итальянских неолингвистов. И. М. Тронский считает, однако, что следовало бы более критично отнестись и к взглядам Бенвениста, Куриловича и некоторых других зарубежных лингвистов.

В отличие от исследования А. В. Десницкой, написанного в свободном научном жанре, сборник имеет строго систематический характер. Основные возражения вызывает общая часть книги, которая создает преувеличенное представление о возможностях сравнительно-исторического исследования и придает особое значение общеиндоевропейскому языку-основе. Несмотря на эти недостатки, сборник является нужным и ценным.

А. А. Белецкий, присоединившийся к мнению предыдущего докладчика, в своем выступлении сказал, что считает уместным обновление книг, пополнение их

---

[1] Составители В. И. Абаев, Б. В. Горнунг, М. М. Гухман, П. С. Кузнецов.

новым материалом. Необходимо также создание нового пособия по сравнительной грамматике.

В прениях участвовали С. Д. Кацнельсон, А. А. Реформатский, а также составители сборника Б. В. Горнунг и М. М. Гухман. Выступавшие указывали, что через несколько лет сборник следует заменить новым пособием, которому должен предшествовать ряд конкретных исследований в области сравнительной грамматики индоевропейских языков. Секция в итоге обсуждения признала целесообразность переработанного издания книги А. В. Десницкой и необходимость замены сборника более современным и цельным по своему внутреннему содержанию пособием, дополненным рядом новейших исследований.

---

11 февраля 1958 г. на объединенном заседании Секции общего и сравнительно-исторического языкознания и Секции русского языка Ученого совета Института языкознания АН СССР был заслушан доклад И. А. Мельчука «Модель языка-посредника для машинного перевода».

В качестве одного из возможных решений проблемы машинного перевода со многих языков на многие докладчик предлагает следующий путь. Для каждого языка разрабатываются две группы правил: 1) правила анализа, которые при помощи соответствующих словарей и таблиц переводят реальный текст в условный цифровой код так, что каждому слову в данной форме и данной синтаксической функции однозначно сопоставляется цепочка цифр, называемая информацией к слову. Затем текст разбивается на парные типовые словосочетания — конфигурации и определяются номера этих конфигураций; 2) правила синтеза, при помощи которых можно переходить от цифрового кода к реальному тексту (т. е. это операция, обратная анализу). И анализ, и синтез проводятся совершенно независимо от перевода. Кроме того, имеется система правил и таблиц, устанавливающая соответствия (не обязательно однозначные) между условным цифровым кодом различных языков. Таким образом, перевод распадается на три этапа: анализ — переход от текста на переводимом языке к последовательности конфигураций (определенным образом сгруппированным цифровым цепочкам — информациям); перевод — переход от последовательности конфигураций переводимого языка к последовательности конфигураций переводящего языка; синтез — переход от последовательности конфигураций переводящего языка к реальному тексту на нем.

В основе перевода лежит синтаксический анализ: выявление отношений между словами в переводимом языке, т. е. типовых словосочетаний, и выражение этих отношений наиболее подходящими средствами переводящего языка. Морфологические данные используются как вспомогательные. Название «язык-посредник» является здесь в известном смысле условным, так как этот язык-посредник существует не в виде какого-либо реального или искусственного языка, а только в виде абстрактной системы соответствий, т. е. представляет собой своеобразное исчисление.

Разрабатываемая действующая модель языка-посредника для машинного перевода пока включает русский, французский и венгерский языки. Ее цель — выработать систему строения правил и наилучшие способы записи и расположения материала. В дальнейшем она будет расширяться и уточняться. Привлекаются другие языки, в первую очередь — английский и китайский. Намечено увеличить объем обследуемых текстов.

Выступивший в прениях Н. Д. Андреев (Ленинград) поддержал идею И. А. Мельчука, назвав самую модель «всеобщей экспериментальной грамматикой», которую необходимо, однако, строить на базе не трех (как это было сделано), а по крайней мере двенадцати наиболее распространенных языков. С положительной оценкой освещенной в докладе работы выступили А. А. Ляпунов и Е. А. Бокарев (Москва). В. А. Успенский (Москва) отметил, что язык-посредник необходим также и для информационной машины. В итоге обсуждения было признано, что коллективом, от имени которого выступал И. А. Мельчук, проделана большая и полезная работа, и ее целесообразно продолжать.

---

21 января с. г. состоялось первое заседание методологического семинара сотрудников Института языкознания АН СССР. На заседании с докладом «Стихийное и сознательное в развитии языка» выступил доктор филол. наук Е. А. Бокарев. По мнению докладчика, ограниченность возможностей сознательного воздействия на язык объясняется тем, что язык находится еще на относительно ранних ступенях своего развития. Принципиально возможны самые радикальные реформы в языке, но в современных общественно-исторических условиях осуществить их чрезвычайно трудно или вообще невозможно. Максимальное применение принцип сознательного воздействия на язык найдет только в языке будущего, когда, по словам К. Маркса, «индивиды целиком возьмут под свой контроль и этот продукт рода». Пока же сознательная деятельность че-

ловека в этом отношении проявляется главным образом в области «языкового строительства» и «культуры речи», особенно — в создании специальной терминологии и искусственных международных языков. Е. А. Бокарев иллюстрировал положения доклада большим количеством примеров из различных языков.

Доклад вызвал большой интерес и собрал обширную аудиторию. Выступавшие в прениях отметили важное значение, которое имеет исследование всех аспектов проблемы сознательного воздействия на развитие языка, и высказали ряд критических замечаний. Так, по мнению В. Н. Сидорова, в докладе в основном речь шла о сознательном усвоении языка, а не о воздействии на его развитие. Напомнив мысль А. М. Пешковского о том, что идеал языка лежит не в будущем, а в прошлом, В. Н. Сидоров развивал тезис о сознательном воздействии на язык как о силе консервативной, стремящейся остановить стихийную эволюцию языка. В. Н. Сидорова поддержал В. Д. Левин, отметивший, что сознательные новаторские тенденции дают результаты лишь в тот период, пока нормы национального литературного языка находятся в процессе становления. После же того, как нормы сложились, начинают действовать консервативные, сохранительные тенденции. К точке зрения В. Н. Сидорова присоединился и Т. А. Бертагаев. В. И. Абаев, напротив, считает, что сознательное воздействие на язык заключается прежде всего в выборе одной из существующих возможностей развития того или иного языкового явления. Такого рода сознательное воздействие было на всех этапах развития языка, а понятие нормы свойственно не только литературному языку, но и мельчайшему говору. Полемизируя с В. Н. Сидоровым, Т. В. Шмелева подчеркнула, что докладчик убедительно показал принципиальную возможность сознательного воздействия на развитие языка, а это является самым важным в обсуждаемой проблеме. М. М. Гухман привела примеры «искусственного» введения некоторых норм в истории немецкого языка (сильное и слабое склонение прилагательного в функции атрибута, рамочная конструкция) и высказала мысль, что различные языки обнаруживают неодинаковые возможности для сознательного воздействия на их развитие в разные периоды. Несомненно также, что морфология значительно менее поддается сознательному воздействию, чем синтаксис. Обсуждение доклада показало, как отметил, закрывая заседание, В. П. Григорьев, необходимость глубокого исследования проблемы детерминированности языкового развития, а также проблем, возникающих в связи с созданием и функционированием искусственных языков.

---

28 февраля 1958 г. на очередном заседании методологического семинара в Институте языкознания АН СССР с докладом на тему «Всегда ли случайно типологическое сходство языков?» выступил доктор филол. наук Л. И. Жирков. Докладчик подробно проанализировал некоторые из работ, авторы которых прослеживали типологические параллели между одним из языков индейцев Южной Америки — кечуа и различными языками мира, в частности тюркскими, территориально значительно от него удаленными. Попытки связать кечуа с тюркскими языками в генетическом плане, как показал докладчик, были неудачны, и, таким образом, до сих пор остается открытым вопрос, о чем же свидетельствует сходство строя языков, никогда территориально и культурно не соприкасавшихся. По мнению Л. И. Жиркова, эта проблема — после продолжительного перерыва — должна вновь привлечь внимание советских языковедов.

Участники семинара, выступавшие в прениях, полностью поддержали тезис докладчика о необходимости углубленных типологических исследований.

А. А. Реформатский указал на целесообразность дальнейшего изучения вопроса о взаимоотношении генеалогической и типологической классификации языков, того, как они — каждая по-своему — помогают проникнуть в сущность языка. М. М. Гухман отметила, что поставленную в докладе проблему необходимо исследовать во всех языковых аспектах. Ответ же на вопрос о том, чем объясняется наличие типологического сходства между различными языками, можно найти только на путях исследования проблемы соотношения языка и мышления, грамматики и логики. Б. А. Серебренников попытался расчленить проблему типологии и, говоря о причинах типологического сходства, наметил следующие возможные случаи его появления в конкретных языках: 1) общность происхождения; 2) территориальное взаимодействие или субстратные явления; 3) «типологические конвергенции», возникающие или вследствие «ограниченных возможностей языкового выражения одного и того же мыслительного содержания» (по формулировке М. М. Гухман), или в результате естественного (ввиду единства человеческого мышления) выбора наиболее целесообразного грамматического способа, или, наконец, в результате влияния других компонентов системы языка. Во всех случаях изучение типологического сходства является полезным и может быть плодотворным.

В заключение выступил председательствовавший на занятии семинара Ю. Д. Дешериев, который, указав на необходимость исторического подхода к вопросам типологии, подчеркнул важность изучения типологического развития.

КНИГИ, ЖУРНАЛЫ И БРОШЮРЫ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ

Известия Казанского филиала [АН СССР]. Серия гуманитарных наук. Вып. 2. Казань, Таткнигоиздат, 1957. 223 стр.

Инструкция для составления «Словаря современного русского литературного языка» (в пятнадцати томах). — М.—Л., Изд-во АН СССР, 1958. 87 стр. (Словарный сектор Ин-та языкознания АН СССР).

Информационный бюллетень ЮНЕСКО, 1958, №№ 17, 18, 19, 20.

Терминологические работы в СССР в области теоретической электротехники и предложения Академии наук СССР по международному электротехническому словарю. (Группа 05— Основные определения). Под общ. ред. А. М. Терпигорева.— М., Изд-во АН СССР, 1957. 96 стр. (Ком-т технич. терминологии АН СССР). — На русск., франц. и англ. яз.

Ученые записки [Моск. обл. пед. ин-та]. Т. XLVIII. Труды кафедры русского языка. Вып 4. — М., 1957. 368 стр.

Ученые записки [Тирасп. гос. ин-та им. Т. Г. Шевченко]. Вып. III. — Кишинев, 1957. 158 стр.

Т. А. Амирова. Фонетико-грамматические чередования в древних германских языках. (На материале готского, древнеисландского, древнеанглийского и древневерхненемецкого языков). Автореф. канд. диссерт. — М., 1957. 12 стр. (I-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков).

Я. В. Закревская. Языковые и стилистические особенности сказок Ивана Франко. Автореф. канд. диссерт. — Львов, 1957. 20 стр. (Отд-ние обществ. наук АН УССР).

Т. Г. Козырева. Безлично-предикативные слова в русском литературном языке II пол. 17—18 веков. Автореф. канд. диссерт.— Л., 1957. 20 стр. (Ленингр. гос. ун-т им. А. А. Жданова).

Д. А. Леонченко. История причастий в белорусском языке. Автореф. канд. диссерт. — Минск., 1957. 20 стр. (Ин-т языкознания АН БССР).

Ф. А. Марканова. Народно-разговорная лексика и фразеология в языке И. С. Тургенева. (Диалектные и просторечно-разговорные элементы).— Ташкент, 1957. 39 стр. («Научное сообщение [Ташкентск. ин-та инженеров железнодор. транспорта]», вып. 1).

Л. И. Ройзензон. Сложноподчиненное предложение с временным придаточным в чешском языке. (В историческом плане). Автореф. канд. диссерт. — Львов, 1957. 20 стр. (Львовск. гос. ун-т им. И. Франко).

Э. В. Севортян. Аффиксальное глаголообразование в азербайджанском литературном языке. Автореф. докт. диссерт. —М., 1957. 53 стр. (Ин-т языкознания АН СССР).

В. В. Сытель. Суффиксальный способ образования прилагательных в древнеанглийском языке. Автореф. канд. диссерт. — М., 1957. 16 стр. (Моск. гор. пед. ин-т им. В. П. Потемкина).

В. Георгиев. Тракийският език.— София, БАН, 1957. 103 стр.

П. Сарафов, С. Хесапчиев. Курс по есперанто и читанка. — София, 1957.

Западные языки и литературы. I (1957), №№ 1—3. [На китайск. яз.; содерж. паралл.— на китайск., русск. и англ. яз.].

Языковедческие исследования. [Сб. статей]. № 1.— Пекин, 1956. 307 стр. — На китайск. яз.

Pravidla českého pravopisu.— Praha. ČSAV, 1957. 478 стр.

Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské university. Ročn. V, č. 3. Řady literárněvědné (D).— Brno, 1956. 160 стр.

Studia slavica Academiae scientiarum hungaricae. T. III. Fasc. 1—4.— Budapest, 1957.

Studies in linguistic analysis.— Oxford, Basil Blackwell, 1957. 205 стр. (Special volume of the Philological society).

R. Jakobson. Shifters, verbal categories, and the Russian verb.— Harvard university, 1957. (Russian language project. Department of Slavic languages and literatures).

V. Machek. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského.— Praha, ČSAW, 1957. 627 стр.

S. Rospond. Dawność mazurzenia w świetle grafiki staropolskiej. — Wrocław, PAN, 1957. 503 стр., 20 илл. («Prace językoznawcze PAN», 15).

František Sverák. Karlovické nářečí. — Praha, 1957. («Sborník vědelkých prací vyšši pedagogické školy v Brně», svazek II).

Lawrence L. Thomas. The linguistic theories of N. Ja. Marr.— Berkeley — Los Angeles, 1957. («Univ. of California publications in linguistics», vol. XIV).

SOMMAIRE

Articles: V. V. Vinogradov (Moscou). Fondements linguistiques de la critique scientifique du texte (fin); I. I. Mestchaninov (Léningrad). Groupes syntactiques; **Discussions:** Matériaux pour le IV Congrès International des slavistes; S. D. Katznelson (Léningrad). Sur l'interprétation phonologique du système des sons en proto-indoeuropéen; **De l'histoire de la linguistique:** Extraits de la correspondence entre A. A. Chakhmatov et F. F. Fortounatov; **Communications et notices:** L. V. Kopetski (Prague). Le dictionnaire bilingue des langues slaves (d'après les matériaux des dictionnaires russe-tchèque et tchèque-russe); G. Koneczna (Varsovie). Assimilation et dissimilation; M. Vey (Saint-Cloud). Hypothèse pour une étymologie du nom de dieu vieux-russe *Стрибогъ*; E. P. Lebedeva (Léningrad). Analyse linguistique des noms des tribus en mandchou; **Critique et bibliographie; Vie scientifique:** V. V. Ivanov (Moscou). Le comité de la linguistique appliquée; Le travail linguistique dans les différentes villes de l'Union Soviétique; P. Dale (Riga). Discussion du projet d'une dictionnaire raisonné de la langue lette littéraire; M. A. Borodina (Léningrad). L'Institut de la linguistique romane à Lyon.

CONTENTS

Articles: V. V. Vinogradov (Moscow). Linguistic principles of the scientific criticism of the text (the end); I. I. Meschaninov (Leningrad). Syntactic groups; **Discussions:** Materials for the IV International Congress of slavists; S. D. Katznelson (Leningrad). On the phonological interpretation of Proto-Indoeuropean sound system; **From the history of linguistics:** From the correspondence between A. A. Shakhmatov and F. F. Fortounatov; **Notes and queries:** L. V. Kopetsky (Prague). A bilingual dictionary of Slavonic languages (based on the materials of Russian-Czech and Czech-Russian dictionaries); G. Koneczna (Warsaw). Assimilation and dissimilation; M. Vey (Saint-Cloud). On the etymology of Old Russian *Стрибогъ*; E. P. Lebedeva (Leningrad). Linguistic analysis of the Manchurian tribe-names; **Critics and bibliography; Scientific life:** V. V. Ivanov (Moscow). The applied linguistics committee; Linguistic work in different towns of the Soviet Union; P. Dale (Riga). Discussion on the draft of the explanatory dictionary of modern literary Lettish; M. A. Borodina (Leningrad). The Institute of Romance linguistics in Lyons.

Т-05715 Подписано к печати 23. V. 1958 г. Тираж 8300 экз. Зак. 279
Формат бумаги $70 \times 108^1/_{16}$ Бум. л. $4^3/_4$ Печ. л. 13 Уч.-изд. л. 14,9

2-я типография Издательства Академии наук СССР. Москва, Шубинский пер., 10

РЕДКОЛЛЕГИЯ

О. С. Ахманова, *Н. А. Баскаков*, *Е. А. Бокарев*, *В. В. Виноградов* (главный редактор), *В. П. Григорьев* (и. о. отв. секретаря редакции), *А. И. Ефимов*, *В. В. Иванов* (и. о. зам. главного редактора), *Н. И. Конрад*, *В. Г. Орлова*, *Г. Д. Санжеев*, *Б. А. Серебренников*, *Н. И. Толстой*, *А. С. Чикобава*, *Н. Ю. Шведова*

Адрес редакции: Москва, К-12, ул. Куйбышева, 8. Тел. Б 1-75-42